ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ • ЗЕЛЁНЫЕ БЕРЕГА

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ

ЗЕЛЁНЫЕ БЕРЕГА

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ

ЗЕЛЁНЫЕ БЕРЕГА

РОМАН

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1990

ББК 84.Р7
А47

Редактор Ф. Г. Кацас

Художник Лев Авидон

А $\frac{4702010201-049}{083(02)-90}$ 5—90

ISBN 5-265-01036-X

ЧЕРЕЗ ЛЕТУ

Талантливый, многими любимый поэт Геннадий Алексеев последние годы своей жизни писал очень странный роман: о любви нашего современника к давно умершей женщине — настолько прекрасной, веселой, очаровательной, настолько любимой нашим героем, что любовь позволяла ему одолевать неодолимое и запросто бывать в начале нашего века, когда женщина эта жила и блистала.

Словно предчувствуя свою близкую кончину, автор учился побеждать самое страшное, что ждет человека, бесстрашно пытался переходить Лету туда и обратно.

И, по крайней мере в романе, это ему удалось. Он вернул нам забытую, потерянную эпоху, которую некоторые называют упаднической, некоторые — декадентской, а некоторые — «нашим серебряным веком». И я вместе с героем и героиней живу т а м, любуясь домами в стиле «модерн», езжу в пролетках и, главное, наслаждаюсь абсолютно реальным, живым духом того прекрасного времени.

Главная тема, которой стоит заниматься настоящей литературе,— это тема исчезновения каждого живущего на земле. Тема эта звучит в романе с какой-то высокой, светлой грустью. Когда герой, вернувшись в наши времена, находит на кладбище склеп, где давно уже лежит его любимая, отчаяние в нашем сознании странным образом сливается с ликованием: какие прекрасные женщины жили на земле!

Геннадий Алексеев тоже шагнул через Лету — но он, как

и герой романа, остался жить и в нашем времени: мудрыми, веселыми стихами-верлибрами, необыкновенными, светящимися картинами, глубокими научными работами по истории архитектуры, своим пронзительным романом и своим лицом на фотографии, посмотрев на которое можно сразу сказать: вот русский интеллигент!

Каждый по-своему преодолевает свой последний рубеж. Автор учит нас преодолевать его в состоянии высоком, достойном человека. Хорошо, если каждому хватит на это сил,— роман «Зеленые берега» помогает в этом.

В. Попов

Искать мост
и верить, что он есть —
как же без моста?

Найти мост
и запрыгать от радости —
вот он, голубчик!

Взойти на мост
и стоять над рекою времени,
изумляясь —
до чего широка!

ВМЕСТО ПРОЛОГА

иновник-то, конечно, он. Да, да, он способен на такое. Он и не на такое способен. Бог знает, на что он способен. Он способен на все.

Это его фокусы.

Он любит сбить с толку, ошарашить, привести в изумление, потрясти до основания, одурачить, околпачить, закружить, завертеть, заморочить голову. Так и ждешь от него подвоха. Так и ждешь, что он выкинет что-нибудь этакое, что-нибудь непонятное, необъяснимое, невероятное, ставящее в тупик и повергающее в изумление.

Я всегда его обожал. Я всегда им восторгался. Я всегда был от него без ума. Но я всегда слегка его побаивался и был настороже. Правда, ему удавалось порой усыпить мою бдительность и обвести меня вокруг пальца. Притворства ему не занимать. Стоило мне только слегка расслабиться, чуть-чуть зазеваться и развесить уши...

О, сколько раз я терялся и блуждал среди его надменных колоннад! Сколько раз меня заманивали в тупики его приветливые с виду аркады! Сколько раз меня зачаровывали его горделивые, высоко вознесшиеся фронтоны — убежища гипсовых, мраморных и бронзовых фигур, взирающих сверху на проходящих пешеходов и проносящиеся автомобили! А каналы! Их изгибы доводили меня до изнеможения, почти до отчаянья (о, как они, однако, красивы!), а их прямизна меня обезоруживала и подавляла (о, как она между тем убедительна!). Порою весь я трясся от неизъяснимой робости, глядя, как плещется мутная вода между безукоризненно прямых, неколебимых гранитных стен, решительно уходящих вдаль — на восток, на запад, на се-

вер, в дождь, в снег, в туман, в ничто. И, замирая от неясных, тревожных предчувствий, я шел по набережной туда — на восток, на запад, на север, и шаги мои грохотали в моих ушах.

А фасады, бесчисленные фасады домов, выстроившиеся вдоль бесконечных улиц, плотно прижавшиеся друг к другу, вроде бы разные, но притом и очень похожие, вроде бы бесстрастные, но притом и беспокойные, вроде бы неподвижные, но притом и непрерывно шевелящиеся — приседающие, подпрыгивающие, наклоняющиеся то вперед, то назад, норовящие стать боком к улице или укрыться в глубине квартала, вроде бы безмолвные, но притом и всегда говорящие что-то, бормочущие что-то, шепчущие что-то, изредка даже кричащие что-то (о нет, я не люблю крика!)!

А темные, бездонные провалы подворотен! А зияющие, беззубые рты парадных! И те и другие интригуют, задают загадки, скрывают какие-то тайны, секреты, вызывают смутные опасения, настораживают, но притом и манят, влекут к себе неудержимо.

А дворы! Сосредоточенные, сумеречные, пустынные, гулкие, будто бы дремлющие, но не спящие десятилетьями, напряженно чего-то ждущие, всегда чем-то недовольные, насупленные, с трудом сдерживающие беспричинное раздражение, почти всегда высокие и нередко страшно узкие, колодцеобразные, трубообразные (поглядишь вверх — там, высоко-высоко, что-то голубеет, кажется небо), иногда же внезапно широкие, с подобием сквера посередке, с несколькими деревцами и кустиками, с площадками для спортивных и неспортивных игр, с будками частновладельческих гаражей, с баками для мусора, с какими-то сарайчиками, а иногда даже с голубятнями (все меньше в городе голубятников, все меньше!).

А брандмауэры! О них я мог бы писать венки сонетов, элегии и эклоги, поэмы, романы в стихах, просто романы и целые эпопеи!

Пожалуй, нет в городе ничего более волнующего, впечатляющего и возвышающего душу, чем эти голые, глухие, совершенно неприступные стены, лишенные выступов, ниш и окон, лишенные всего, на чем можно было бы остановить свой взгляд, превосходящие размерами и суровостью многие грандиознейшие постройки древности и невероятно загадочные в своей непомерной лапидарности и мощи! Их величие, их мужественная,

угрюмая красота не поддаются никакому описанию. Я и не пытаюсь их описывать. Но, завидя брандмауэр, я всегда останавливаюсь и долго пребываю в неподвижности, потрясенный этим чудом цивилизации. Если же брандмауэров несколько, я могу стоять перед ними часами, и это меня нисколько не утомляет. Однажды я проторчал перед тремя великолепными стенами от полудня до заката солнца, следя, как изменялось их освещение, как падали на них тени, как потом эти тени двигались, скользили, разрастались, удлинялись, сливались друг с другом, густели и мрачнели, как загорались и гасли рефлексы, как постепенно тускнели краски. Этих впечатлений мне хватило на неделю. Когда же она миновала, я бросился к другим брандмауэрам. Сам того не замечая, я стал изучать брандмауэры и узнал о них много такого, чего не знает, быть может, никто. У этих каменных гигантов свои повадки, свои радости и тревоги, своя амбиция, свое кирпичное самолюбие. В их жизни случаются трагические минуты. Например, тогда, когда их начинают разрушать вместе с домом, которому они принадлежат, дабы воздвигнуть на освободившемся месте новое сооружение. Соседние брандмауэры пытаются помочь гибнущему собрату, но, увы, их усилия никогда не достигают цели, и обреченная стена все же рушится, падает на землю, раскалывается, разламывается, рассыпается на тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч кирпичных обломков, подымая пыльную тучу, которая взмывает к небесам и после долго оседает на землю, покрывая ее серой, мертвой пеленой, покрывая ее прахом покинувшего мир несчастного брандмауэра. Но случаются у этих удивительных стен и свои праздники. Например, когда их приводят в порядок — чистят пескоструйными аппаратами или красят. После этого они долго щеголяют своей опрятностью, яркостью или изысканностью колера и кажущейся молодостью (увы, все брандмауэры уже в годах, все они старички — современное зодчество обходится без брандмауэров).

А мосты! Мосты через те, беспокоящие меня, каналы, через малые и большие реки, которыми изрезан город, через улицы и железнодорожные пути! Но о мостах этого города написано предостаточно, и я о них умолчу. Скажу только, что стоять на мосту — одно удовольствие. Стоять и смотреть сверху на то, что течет под мостом. Если это вода, то приятно наблюдать за водяными струями, следить, как они сталкиваются, сплетаются

и расплетаются, завиваются в спирали и, покружившись на одном месте, устремляются по течению, унося с собою мусор, а иногда и льдины, а иногда и чаек, покачивающихся на волнах. Приятно также и плюнуть в воду разок-другой. Плюнуть и долго следить, как плевок уплывает в неизвестность. Если это люди, то любопытно рассматривать их шапки, шляпы, кепки, платочки, береты, фуражки, а также и их макушки, по обыкновению прикрытые волосами, но иногда и плешивые. Если же это машины, то забавно разглядывать их крыши и содержимое их открытых кузовов. Иногда в кузовах сидят пассажиры. Они смотрят снизу на мост и приветственно машут тебе рукой.

Когда стоишь на мосту, когда находишься между двух берегов, когда ты не тут и не там, возникает щемящее чувство неопределенности, случайности и необязательности существования, чувство некоей промежуточности. Сзади с тобой уже распрощались. Впереди тебя еще не встречают. Где ты? И есть ли ты вообще? А если и есть, то не для того ли ты создан, чтобы стоять на мосту и плевать с моста в воду? И не есть ли вся жизнь наша лишь мост, переброшенный с берега на берег? Кому достался ручеек (перебежал по гнущимся, пляшущим доскам — и каюк), кому настоящая, но не слишком широкая речка, а кому и широченнейшая река (с середины и берегов не видно).

Воздержусь я высказываться и об известных золоченых шпилях, столь тонких и изящных, что они порою почти незаметны, растворяясь в воздушных потоках. Когда низкие осенние облака почти возлежат на городских крышах, эти высокие иглы исчезают полностью, всякий раз вызывая некоторое опасение у жителей — появятся ли они вновь?

Вне всяких сомнений, это город был виновником случившегося! Это он искушал, соблазнял, испытывал! Это он увлекал меня в дали минувшего! Это он окружил меня призраками и водил вкруг меня хороводы теней!

И однако... тени ли то были? И можно ли, можно ли обвинить город в злом умысле, в расчетливом, холодном коварстве? Какой ему был резон устраивать для меня этот спектакль, это фантастическое действо со многими актерами и статистами, с дорогостоящими декорациями и с уникальным реквизитом? Правда, он всегда любил громоздить немыслимые фантасмагории. Правда, ему всегда нравилось подпустить туману в ясный божий

день. Правда, из этого тумана он умел построить такое, что волосы становились дыбом у людей впечатлительных и нервных. Но правда и то, что он приутих, постарел и остепенился, что нет у него былой прыти.

Нет, город не виноват. Он оказался всего лишь свидетелем и невольным участником необъяснимых событий, причина которых навсегда, вероятно, останется тайной, что, впрочем, и к лучшему.

Все таинственное достойно уважения. Перед тайной нелишне склонить голову. Перед тайной не зазорно постоять на коленях. Приобщение к тайне — удел немногих. Служение тайне — поприще избранных. Пренебрежение тайной чревато бедой.

Пытаюсь вспомнить — было ли предчувствие? Было ли предвестие, предуведомление? Был ли какой-нибудь знак, хоть какой-нибудь тончайший, деликатнейший, еле видимый, еле слышимый, еле осязаемый, почти несуществующий намек? Был ли мне какой-нибудь голос, пусть невразумительный и невнятный? Было ли нечто предшествовавшее, какая-либо прелюдия, увертюра? Был ли, собственно, пролог? Или внезапно, сразу, откуда ни возьмись, как гром среди ясного неба и упало, и обрушилось, и навалилось это на меня?

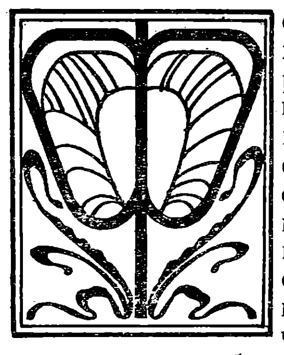
Пытаюсь вспомнить и не могу. Вроде бы за год до этого стало слегка посасывать под ложечкой по вечерам, да и по утрам иногда... Вроде бы сердцебиения случались к тому же необъяснимые... А то и вот так еще было: иду по городу, бесцельно в общем-то, без нужды какой-то там иду, праздношатаюсь, но чудится мне почему-то, что цель у меня имеется, только она туманна и как бы позабыта мною — необычное какое-то ощущение. А может быть, это я сейчас уже придумал, потому что хочется мне, чтобы что-то перед этим было, потому что странно ведь, что вот так, без предчувствий, как гром среди ясного неба.

А может быть, вся жизнь моя была к этому прелюдией, и все, что видел я, думал я и делал ранее в жизни, было подготовкой к этому самому, но я об этом не догадывался. Да и как мне было догадаться-то?

Предчувствия и предвестия, вполне вероятно, что и не было ни малейшего. Но ожидание, между прочим, было. Ожидание не то чтобы чуда, но чего-то подобного чуду, почти равного чуду, с чудом соизмеримого. Оно появилось у меня давно, чуть ли не в юности, чуть ли не в отрочестве. И примечательно, что оно было легким,

бестревожным, безнатужным, подобным прозрачному, невидимому, но все же ощутимому облаку. Это облако окутывало меня постоянно, как одежда, которую нельзя было снять. Да, ожидание было. Оно длилось. Оно оказалось долгим. И вот я дождался.

ГЛАВА ПЕРВАЯ



евральский вечер. Вагон электрички. Возвращаюсь с дачи. Дача моя расположена в местах живописных, но, увы, давно уже не безлюдных, хотя и весьма от города отдаленных. Зимой я люблю туда ездить в одиночестве. На лыжах я не катаюсь — упаси бог! Нет у меня к лыжам никакого пристрастия. Приезжаю. Растапливаю печку. Кипячу воду. Завариваю чай. Накрываю чайник ватным чехольчиком, чтобы лучше заварилось. Крошу батон на тарелку и выхожу на крыльцо кормить птиц. Они уже поджидают меня, рассевшись на ветвях ближних деревьев. Ставлю тарелку на снег и отхожу в сторону. Сначала к тарелке подлетают синицы. Потом их прогоняют сойки. После появляется дятел, а иногда и сорока. Убедившись в том, что крошки склеваны, забираю тарелку и возвращаюсь в дом. Комната уже успела нагреться. Чай заварился. Ем привезенные с собою бутерброды, запивая их чаем. Сажусь у печки, открываю дверцу, гляжу на догорающие поленья, на пробегающий по ним зеленый огонек, слушаю их тихое потрескивание и размышляю о чем-нибудь не то чтобы возвышенном, но достаточно приятном и далеком от суетности будничного существования. Поленья постепенно угасают и умолкают, превращаясь в головешки. Гляжу на красные мерцающие угли и с наслаждением слушаю тишину. Это редкость теперь — тишина. Потом обратный путь на станцию. Заснеженная дорога. Заснеженные сосны. Белка, перебегающая дорогу. Собака сторожа, долго бегущая за мною следом, рыжая, тощая, всегда голодная собака сторожа («Кормлю мало, чтобы злее была»,— говорит сторож). Потом пустынная платформа, рельсы, зеленый огонь семафора.

Электричка движется не спеша. За окном оранжево-багровый, исполосованный темными лентами облаков, патетический закат (что-то ужасное случилось на горизонте, что-то непоправимое там стряслось, что-то взорвалось и теперь полыхает). На фоне заката, сопровождая электричку, летит ворона. Она тяжело машет растрепанными крыльями. В моей голове шевелятся некие мысли, некие мелкие и ленивые мысли. О даче — что пора уже красить дом. Об электричке — что еле тащится. О закате — что очень красив, хотя и тревожен. О вороне — долго ли она будет так лететь?

Рядом со мною сидит дюжий мужик с красным, обветренным, ошпаренным морозом, плохо побритым, а точнее уже слегка заросшим, круглым лицом, в потертом, затасканном, грязно-желтом полушубке, в монументальных, высоких, черных валенках с огромными, какими-то доисторическими галошами и в серой кроличьей шапке с незавязанными, смешно торчащими в стороны ушами. У его ног на полу стоит обитый железом сундучок с широким брезентовым ремнем. К сундучку прислонено некое орудие, напоминающее большой коловорот и, видимо, предназначенное для просверливания во льду лунок, необходимых при подледном лове окуней. От мужика несет бормотухой, чесноком, дешевыми сигаретами и еще чем-то рыбацким. Он дремлет. Голова его ежеминутно падает на грудь, и он ежеминутно вздрагивает, просыпаясь, чтобы, поглядев осоловело в пространство, снова заснуть на минуту, а после снова проснуться.

Напротив меня на лавке две женщины — старая и помоложе. Старая вся обмотана какими-то платками и восседает неподвижно, с деревянным, ничего не выражающим ликом, держа на коленях корзинку, тоже обвязанную какими-то тряпками. А молодая ничего себе девица — миленькая, с чистым личиком, в меру накрашенная и напудренная, в коричневой дубленке, в ондатровой мужского фасона шапке, в коричневых же, явно заграничных, модных сапожках. Она читает книжку и иногда улыбается прочитанному. Книжка ей нравится.

Сумерки густеют. Закат становится фиолетовым. За окном уже городская окраина. Мелькают громады башенных домов, ажурные опоры высоковольтных линий, трубы электростанций, еще какие-то трубы, еще какие-то решетчатые башни, еще что-то непонятное, уплывающее назад, в темень наползающей на город долгой

зимней ночи. В вагоне зажигается свет. Миловидная девица не отрывается от книги. Обмотанная тетка, слегка наклонившись, поворачивает голову к окну. Поезд подходит к вокзалу, и ее, вероятно, заботит предстоящая пересадка на другой вид транспорта. За теткиной нелепо укутанной, бесформенной фигурой я замечаю женщину, которая сидит на соседней скамейке спиной ко мне. Видна голова женщины, видны ее плечи. Волосы у нее темно-русые с золотистым отливом, пышные, вроде бы подвитые. Они собраны на затылке в узел и слегка приспущены на виски. Узел же спрятан под маленькой плоской собольей шапочкой с каким-то искусственным, приколотым сбоку цветочком. Шея женщины охвачена узким, стоячим, собольим же воротником. И шапочка, и воротник, и приподнятые плечи черного суконного пальто — все это вопиюще несовременно. Все это откуда-то оттуда, из самого начала нашего неблагополучного века, коварно сулившего в ту пору человечеству покой, уют и благополучие.

Однако у незнакомки отличное чувство стиля! Как хорошо все подобрано! Как все безошибочно и гармонично! Какие точные линии и формы! Какая элегантность! Какой артистизм! И как это мне близко, понятно! Как это меня волнует!

Эпоха модерна и символизма. Эпоха великих дерзаний и великих талантов! Эпоха шедевров искусства и прекрасных, загадочных женщин! Ах, черт, как это меня волнует!

Я погружаюсь в прошлое. Я уже где-то там, в девятьсот третьем или в девятьсот шестом году. Я уже выпал из современности. Я уже не в электричке, а в старом пригородном поезде, который, пыхтя и отдуваясь, тащит смешной, допотопный паровичок. И от волнения у меня немножко кружится голова, немножко шумит в ушах и легонько подрагивают колени.

Откуда же взялась эта утонченная любительница старины? Почему я раньше ее не заметил? Целый час просидел поблизости от нее, не ощущая ее присутствия! Она небось недавно вошла в вагон. Вошла, села и сидит тихохонько — смотрит в окно. Смотрит и о чем-то думает, и не шевелится, и не поворачивает головы. Любопытно, какое у нее лицо. Тоже в стиле модерн?

Но ведь никто же не садился при мне на соседнюю скамью! Я не спал, я бы увидел! Я не мог не увидеть! И даже в вагон-то никто не входил! Или я все же

вздремнул немножко, сам того не поняв? Или я слишком увлекся закатом и этой вороной?

Женщины явно не было, и вдруг она появилась! Возникла внезапно, нежданно, чудесным, сверхъестественным образом из этих сумерек за окном, из остатков душераздирающего заката, из уже загорающихся огней вечернего города, из одинаковых параллелепипедов новых, аккуратно расставленных в чистом поле домов, из проплывшего над вагоном виадука, из голых каркасов зимних деревьев с черными кляксами грачиных гнезд? Или из душного, спертого вагонного воздуха, в котором смешались дыхания многих усталых, спящих в неловких позах или томящихся от вагонной скуки пассажиров?

Откуда, откуда она взялась, в своей собольей шапочке и с этой прической, которую нынче можно увидеть лишь на экране кино или на старых, выцветших фотографиях в семейном альбоме с жеманными перламутровыми японками на чернолаковой массивной крышке?

Тетка между тем выпрямляется, и загадочное видение исчезает. Электричка сбавляет скорость. За окном в сгустившемся мраке двигаются знакомые станционные постройки: тепловозные депо, будки диспетчеров, какие-то неказистые кирпичные зданьица неизвестного назначения, какие-то большие железные баки. Мелькают окна пустой, отдыхающей на соседних путях электрички, точно такой же, как наша, но внутри не освещенной и потому мертвой на вид.

Я слегка перемещаюсь вбок, ощутив локтем мощное тело ловца доверчивых окуней и надеясь увидеть соболий мех. Но соболь за теткиной головой не обнаруживается. За теткиной головой только окно, в котором все еще двигаются вагоны пустого, неживого поезда и мельтешат огни привокзальных кварталов. Для верности я привстаю и, не стесняясь, заглядываю за тетку. Там пустота. Тогда я подымаюсь во весь рост и обшариваю глазами вагон. Пассажиры снимают с полок сумки и пакеты. Кто-то уже спешит к дверям. Соболей нигде не видно.

Прозевал! Разиня! Размазня! Недотепа! Опять прозевал! Не заметил, как вошла и как вышла! Но какова, однако! Будто тень! Будто призрак бесплотный! Хочет — возникает, хочет — исчезает с легкостью необычайной! Интересно, красива ли? Стройна ли? Какого роста? Впрочем, кажется, среднего. И, кажется, не тол-

стуха. И похоже, что не стара — ей лет тридцать. Но чем она меня так растревожила? Подумаешь, начало века! А такие шапочки и теперь носят. Именно такие — маленькие, плоские. Они называются «таблетками». Господи, да ведь у Насти есть такая! Только Настя надевает ее редко. Не держится, говорит, на волосах, особенно когда ветер. Только у Насти она не из соболя, а из белой нутрии.

Электричка дергается и останавливается. Беру свой пустой портфель (когда возвращаешься с дачи, он всегда пустой) и иду по вагону к выходу. На платформе озираюсь по сторонам — не мелькнет ли где собольи «таблетка»? Но тщетно. Правда, освещение скудное, а народу множество. Ничего тут не разглядишь.

Помахивая портфелем, направляюсь ко входу в метро. Меня подхватывает плотная, энергичная, целеустремленная толпа. Она несет меня вперед, к автоматам, и не успеваю я просунуть в щель стершийся пятак, как она выталкивает меня на рифленую дорожку эскалатора, которая тащит мое тело в глубину подземелий, в то время как дух мой, по-прежнему изнемогающий от недоумения, витает где-то над вокзальной площадью, всматриваясь в женские фигуры, в женские шапочки и прически. Опершись о резиновую выпуклость поручня, я гляжу вниз, куда неуклонно скользит движущаяся лестница, до отказа заполненная разнообразными, а впрочем, скорее однообразными людьми. Многие из них только что были моими спутниками в электричке.

Вдруг там, внизу, где кончается наклонный туннель эскалатора и начинается горизонтальный туннель перрона... Или мне померещилось? Да нет же, это он, знакомый коричневый соболь со знакомым цветочком сбоку! И под ним пушистые волосы, золотисто мерцающие в лучах противоестественного и скучного люминесцентного света! И мгновенно, мгновенно все это исчезает там, внизу, а ехать мне еще метров пятьдесят и бежать по эскалатору невозможно — слишком много народа. Да если бы и побежал, все равно небось не догнал бы. Двери вагона захлопнулись бы перед самым носом. А если бы все-таки догнал, то что же? Схватил бы за руку, сказал бы: «Постойте!»? Сказал бы: «Простите, но мне страшно нравится цветок на вашей шапочке!»?

Стою, держась за никелированный поручень, и тупо гляжу на табличку со схемой городского метрополитена. В мозгу топорщится что-то нескладное. Наверное, оно

выпирает наружу. Находящиеся рядом пассажиры конечно замечают этот непорядок, но виду не подают. Лишь стараются на меня не глядеть. Поглубже нахлобучиваю на голову шапку и на всякий случай подымаю воротник пальто. Мучаюсь. Мне неловко. Поезд мчится по бесконечным подземным коридорам. Мелькают станции. Люди входят и выходят. Втягиваю голову в плечи. Страдаю. Люди по-прежнему на меня не глядят. Поезд все мчится и мчится по бесконечным подземным коридорам.

Тут выясняется, что, увлекшись страданиями, я пропускаю свою станцию. Выхожу на следующей, перехожу на противоположную сторону перрона, снова влезаю в вагон и еду обратно, мысленно чертыхаясь.

Не хватает мне еще этого! Мало у меня забот! Мало всяких глупостей, лезущих на меня со всех сторон, как муравьи (вечно у меня такое чувство, будто сижу в лесу под елкой, рядом с муравейником, и муравьи на меня карабкаются, бегают по мне, пробираются за шиворот, заглядывают в ноздри и в уши, и не могу я их почему-то сбросить, не могу из-под елки сбежать по непостижимой причине)! И ведь не скоро я золотистый затылок позабуду — впечатлителен! И еще чудится мне, что где-то когда-то, в каких-то затерявшихся отдаленностях времени видел я этот затылок, эти волосы и эти мочки ушей... Ей-богу, видел! И даже запах каких-то духов чудится мне, загадочный запах.

Обширный, но довольно унылый двор. Серые фасады из серого силикатного кирпича. Скверик, огороженный низкой, частично разрушенной бетонной оградой. Днем в скверике возятся и верещат детсадовские ребятишки. Сейчас он пуст и безмолвен.

К двери парадного кнопками прикреплена бумажка. На ней написано:

«Жилищная контора № 23 убедительно просит квартиросъемщиков заплатить за февраль месяц до 25-го февраля».

Скрип открываемой двери. Стук закрываемой двери. Бетонные ступени. Усыпанная окурками площадка. В уголке — пустая бутылка. Здесь частенько собираются любители дешевого портвейна и задушевных мужских бесед. Пятнистая, рыже-черно-белая кошка на батарее. Смотрит на меня с опаской — вдруг прогоню?

Дверь моей квартиры. Из щели почтового ящика торчит записка. Вытаскиваю. Разворачиваю.

«Приходила. Не застала. Завтра приду».

Это Настя. Сама виновата. Можно ведь позвонить. Можно ведь заранее договориться. Можно быть сообразительней и не терять попусту время. Можно обходиться без записок. «Завтра приду»! А завтра меня дома не будет. А завтра я весь день буду торчать на кафедре. А завтра я могу заболеть. Да мало ли что может случиться со мною завтра!

Что-то мягкое тычется сзади мне в ногу. Оборачиваюсь — кошка. Смотрит мне в глаза, подняв голову. Смотрит мне в глаза своими желтыми, светящимися изнутри, таинственными глазами. Эта кошка ничья, лестничная. Но все ее кормят, она не голодает. Это общая, коммунальная кошка. Ее зовут Катя. Она ласковая. Она мне нравится. Можно было бы взять ее к себе. Но матушка говорит: «Ни за что!» Она любит кошек. Она жалеет всех бездомных кошек и кормит их. Однако у нас траур. Уже минуло два года, как погиб наш любимец — кот Гарпагон, но у нас все еще траур. Гарпагон был красавец и умница. Он помогал мне работать. Вспрыгнет на стол и уляжется на рукопись. Прогонишь его — он снова вспрыгнет и снова уляжется. Дело доходило до драки. Гарпагон хорошо дрался. Теперь его нет. Он в кошачьем раю. О других кошках мама и слышать не желает.

— Ну что тебе, Катя? Захотелось пообщаться?

Шарю в кармане, ищу ключ. Вставляю ключ в замочную скважину. Переступаю порог. Поворачиваю выключатель. Ставлю на пол портфель. Снимаю пальто.

Матушки дома нет. У телефона еще одна записка.

«Звонила Настя. Еще будет звонить».

Вхожу в комнату, сажусь в кресло и вытягиваю ноги. Будто устал. Но с чего бы? Ведь на даче ничего не делал. Только чай пил. Да кормил птиц, да глядел на огонь в печи, да размышлял о чем-то далеком от суетности будничного существования.

Закрываю глаза. Сижу. Звонит телефон. Подходить к нему неохота. Наверное, это Настя. Едва ввалился в квартиру — уже звонит. Вечно она звонит, когда не надо! А когда, собственно, надо? Ничего, еще позвонит. Подходить неохота.

Сижу, вытянув ноги и закрыв глаза. В теле какая-то истома. А в душе все как-то сдвинулось и слегка покосилось. Почему? Что произошло?

Ехал в электричке. Был закат. Летела ворона. Рыбак дремал пьяненький. Тетка сидела закутанная. Девица читала книжку с большим интересом. Любопытно, какая была книжка? А электричка двигалась медленно... электричка ехала совсем тихо... электричка еле ползла.. Ах, да! Этот женский затылок! Эта соболья шапочка! Этот соболий воротник! Это странное появление и исчезновение!

И что же? Затылок как затылок. Шапочка как шапочка. Соболь как соболь. Исчезновению же нетрудно подыскать причину. Например... Или же все это мне просто показалось, просто померещилось. Правда, раньше мне никогда ничего такого не казалось, никогда ничего подобного не мерещилось. Но тут... Закат был слишком мрачен. От рыбака сильно несло бормотухой. И к тому же ворона и огни вечернего города... А что, если отныне мне всегда будет что-то мерещиться? Это нехорошо. Надо сбегать к психиатру. Надо посоветоваться. Надо поглотать каких-нибудь таблеток, каких-нибудь порошков. И не надо раскисать, не надо распускаться, не надо давать волю воображению. Его следует сдерживать, осаживать. С ним лучше быть построже.

Опять телефонный звонок. Подымаюсь, выхожу в прихожую, снимаю трубку. Настин голос.

— Приехал?

— Как видишь.

— Я тебя не вижу.

— Ну, стало быть, как слышишь.

— Хорошо на даче?

— На даче отлично! На даче бесподобно! На даче восхитительно! Божественно на даче!

— На лыжах ходил?

— Нет. Ты же знаешь, что я не лыжник.

— Так что же ты делал?

— Стихи писал.

— И много написал?

— Одно стихотворение.

— Дурака, значит, валял. Грелся у печки, птичек кормил, слушал свою любимую тишину.

— Дурака не валял, обошелся без него. Но у печки действительно грелся, и птичек действительно кормил, и, конечно, слушал тишину, и создал целое стихотворение, довольно длинное притом.

— И хорошее оно получилось?

— Нет, плохое.

— Не может быть! Раньше ты не умел писать плохие стихи!

— А теперь научился. Потому что труднее стало писать. Потому что после сорока вообще хуже пишется. Потому что после сорока пора переходить на прозу.

— Так чего же не переходишь?

— Боязно как-то.

— Какой ты, оказывается, трусишка! Тогда бросай это дело! Я тебя умоляю!

— Жалко. Много лет пишу. Привык писать.

— Тогда не трусь. Тогда расхрабрись и напиши роман.

— О чем?

— О нашей бесконечной, бесперспективной, нудной любви. Длинный, красивый и скучный роман в духе Золя или Голсуорси.

Настя любит говорить по телефону. Она словоохотлива и неистощима в бессмысленной болтовне. Но для женщины это не такой уж страшный порок. Хорошенькой женщине это даже к лицу. Хорошенькую женщину это даже украшает. Мне нравится Настина болтовня. Я от нее не устаю. Она мне не надоедает. Временами она доставляет мне истинное наслаждение. Порою я совсем отключаюсь и, уже не понимая смысла Настиных слов, слушаю ее голос как музыку, как щебет птицы. А Настя все лепечет, все поет, все заливается канарейкой, все не умолкает.

Я люблю Настю. Я давно люблю Настасью. Я очень люблю эту болтушку. Я к ней привязался. Она мне необходима. И я ей тоже необходим. Мы необходимы друг другу. Правда, у нее есть сын... Но он хороший мальчик, и мы с ним дружим. Настя немножко суматошная и частенько говорит громче, чем требуется. При этом она жестикулирует так энергично, что к ней опасно подходить. Но в этом тоже есть своя прелесть. Мне всегда не хватало энергии и эмоциональности. Настины избытки восполняют мои недостатки. Вдвоем мы обретаем гармонию — всего у нас в меру. И нам не скучно вдвоем, ничуть не скучно. Признаться, иногда мы ссоримся. И тогда на неделю или на две наше общение прерывается. Она мне не звонит, и я ей — тоже. Но и это по-своему хорошо. После ссоры мы погружаемся в чистую, прозрачную, наполненную озоном атмосферу, в которой чудесно дышится. Да, Настя — чудо! Я обожаю Настю! Она понимает и ценит меня. Да, да, я в

этом уверен! Она по-настоящему ценит меня! Она — та женщина, которую я искал. Из-за этих долгих поисков я и не женился до сих пор. Но теперь-то уж я женюсь непременно. Настя будет мне верна. Настя не предаст. С Настей у меня не будет никаких забот. Правда, она слишком любит шампанское и шоколад. Правда, она привыкла через год менять свое «тряпье». Но и это не беда. Красивая женщина должна быть красиво одета. Настя говорит мне: «Ты гений!» И в ту минуту, когда она произносит эти два слова, я ей верю. Це́лую минуту я верю в свою гениальность! А если сложить все эти минуты (Настя ведь не устает твердить, что я гений), то за год получится часа два, а то и три. Три часа избранничества! Три часа богоподобия! Три часа несказа́нного величия! Какая женщина еще способна преподнести мне такой подарок! Даже если Настя умышленно преувеличивает, даже если она мне льстит, даже если она неискренна... Нет, нет, в ее искренности я не сомневаюсь!

Признаться, я эстет — питаю слабость к женской красоте. Некоторые предпочитают женскую доброту, женский ум, женскую порядочность. Это их дело. Я знаток и ценитель женской красоты. Быть может, не самый утонченный и не самый эрудированный, но серьезный. Между прочим, не так-то просто быть специалистом в этой области. Обилие женщин порождает обилие женского совершенства и невероятнейшее разнообразие его оттенков. В этом материале легко запутаться. В этом океане женского очарования нетрудно утонуть.

Есть женщины милые, есть обаятельные, есть симпатичные, есть эффектные. Но все это не то. Красота предполагает изначальную убедительность и законченность форм. Она абсолютна, трансцендентна. Она не зависит от вкусов того, кто ее воспринимает. Ее истоки в гармонии мира, в преисполненных неразгаданного значения, но несомненно лучших, удачнейших сочетаниях величин, масс, линий, объемов, выпуклостей, впадин, изгибов, изломов и цветов. Целуя прекрасную женщину, вы прикасаетесь к сокровенности мироздания, к смыслу всего сущего. Но, разумеется, еще никому из смертных не дано было достичь абсолюта. Зоркие и неусыпные стражи оберегают то, что не имеет цены. И потому даже красивейшие из женщин чуть-чуть некрасивы, чуть-чуть несовершенны. Это и порождает многообразие, это и создает бесчисленные нюансы женского великолепия.

Давно уже замечено, что полнейшая безукоризненность навевает скуку и вызывает некоторое недоумение и даже некоторое разочарование и раздраженный вопрос: ну и что? Но зато какой восторг вызывает у нас приближение к идеалу, посещение пограничной зоны, где совершенство еще слегка испорчено несовершенством!

Настина красота в пограничной зоне. Настя почти прекрасна, почти безупречна, почти идеальна, почти божественна. Когда мы идем с нею по Невскому, я ощущаю это особенно остро. Но и на других улицах, и даже в узких невзрачных переулках красноречивые взгляды представителей сильной половины человечества постоянно напоминают мне о том, что под руку со мною шествует красавица. Когда же я долго не вижу Настасью, все существо мое начинает томиться и беспокоиться — его тянет к рубежам трансцендентного: к Настиным большим, голубым-голубым, устойчиво голубым, по-честному голубым, а временами и попросту синим глазам; к Настиному носу совершенно античных, классических очертаний; к Настиному рту, который столь соблазнителен, что на него и смотреть-то как-то неловко; к Настиным ушам с такими нежными розовыми мочками, что их просто не с чем сравнить; к Настиной белой шее с маленькой и совершенно изумительной янтарной родинкой у левой ключицы.

Настя знает, что я собаку съел на женской красоте, и ценит во мне это вполне мужское качество. «Приятно оказаться в руках настоящего знатока!» — говорит она, снимая с себя серьги, перстни, браслеты, часики и вынимая шпильки из своих неправдоподобно густых, длинных, овсяно-пшенично-ржаных, чуть, правда, подкрашенных, но все же не имеющих аналогов ни в живой природе, ни в человеческой истории, сказочных волос. Когда-нибудь она задушит меня этими волосами. Потом причешется, воткнет в волосы все шпильки, наденет часики, браслеты, перстни и серьги, внимательно поглядит на себя в зеркале, снимет с плеча волосок и уйдет. После вернется, возьмет с моего письменного стола лист бумаги и напишет на нем моей авторучкой: «Я его задушила. Он мне надоел».

Совершив это злодеяние, Настя будет права. Потому что я уклоняюсь, увиливаю, не решаюсь, бездействую. Потому что я ни рыба ни мясо. Вот уже три года, как Настя моя невеста. Вот уже три года, как я решил на

ней жениться и объявил ей об этом. Но не женюсь. Почему-то тяну, почему-то откладываю, чего-то жду. Чего, чего я жду? Где я еще найду такую почти неземную красоту? И кто еще станет мне говорить вот так, прямо в лицо: ты гений? И все же что-то мелкое, чего я и разглядеть-то не в силах — песчинки какие-то, пылинки, ворсинки, проникают в колеса моего сознания, в подшипники моей воли, тормозят мои действия и мешают сделать последний шаг к дверям того страшноватого, хотя и приветливого с виду учреждения, где ставят подписи и печати.

А Настя готова. Она — хоть завтра. Даже сегодня. Сейчас вот позвоню ей, скажу: «Пошли! Там до шести, еще успеем!» И она прибежит, накрашенная, принаряженная, благоухающая, возбужденная. Прибежит и скажет: «Наконец-то! Ну и зануда ты! Три года меня мурыжил!» И прижмется своим ярко-красным напомаженным ртом к моей жесткой, но, как она уверяет, импозантной, типично русской бороде.

Но вот я все сижу. Не звоню. Не зову. Не решаюсь. Нерешительный я на редкость. Сижу, по-прежнему вытянув ноги. Сижу и слушаю.

Тикает будильник. Гудят моторы проезжающих по улице машин. В трубе отопления что-то попискивает. У соседей сверху спустили воду в уборной. По лестнице кто-то прошел, громко топая. Лифт проехал наверх мимо нашего третьего этажа и остановился, кажется, на пятом. Грохнула его дверь. Под окном прошла компания шумных пьяных людей. Гомон постепенно затих. За стеной, у соседей сбоку, упало на пол что-то тяжелое и вслед за этим заплакал ребенок. У соседей снизу залаяла собака. Вот она перестала лаять.

Закрываю глаза. Сижу с закрытыми глазами. Снова их открываю и вздрагиваю: у книжного шкафа кто-то стоит. Неясная, призрачная фигура. Женская. В длинном светлом платье с узкой талией, с буфами на плечах и с гладкой юбкой колоколом. Стоит спиной ко мне, слегка наклонившись. Лица не видно. И волосы плохо видны.

Вскакиваю. Фигура исчезает. Подхожу к шкафу. Стеклянная дверца приоткрыта и книжка моих стихов (та, что вышла первой) вытащена почти наполовину,— ее уголок торчит пугающе.

Задремал? Опять померещилось? Перед отъездом на дачу сам брал книжку? Не помню. Не могу вспомнить.

Или это матушка в мое отсутствие решила перечитать мои творения? А я, войдя в комнату, не заметил, что дверца шкафа приоткрыта?

Снова сажусь в кресло. Ноги не вытягиваю. Сижу, сдвинув колени и вцепившись руками в подлокотники. Если что — сразу вскочу и брошусь... Куда брошусь? Что за чушь! Завтра же, завтра же к психиатру! Никогда у меня не было никаких видений! Ни один призрак еще не рылся в моих книгах! Лиха беда начало, а там и пойдет. Не такое еще примерещится. Упекут меня в желтый дом за милую душу! Настя будет огорчена. Хорош жених! Куролесил-куролесил, тянул резину три года и вдруг свихнулся! «И поделом ему, мерзавцу! — скажет она, прижимая платочек к распухшему, потерявшему античную форму носу.— Я знала, что этим кончится! Он и меня чуть до Пряжки не довел! Всю жизнь мне не везет! Всю жизнь!»

Бренчание ключа в замке. Звук открываемой входной двери. Шарканье вытираемых о половик подошв. Тихая возня в прихожей.

— Мама, это ты?

— Ах, ты уже вернулся!

Подымаюсь, подхожу к дверям, выглядываю в прихожую.

— Ты не брала в шкафу мою первую книжку стихов?

— Нет, не брала.

— И никто не приходил, никто не был в моей комнате?

— Нет.

Возвращаюсь на свое место. Снова сижу. Но теперь уже не слушаю, а смотрю. Смотрю на свои картины. Соскучился. Не видел их целый день.

Картин у меня много. Все стены увешаны картинами. Что они изображают, я и сам не знаю. И никто не может мне толком объяснить, что они изображают. Но, однако, это не абстракции. Это не каша какая-нибудь из цветных мазков или из цветных квадратиков с кружочками. Это и не сплетения каких-то извивающихся лент и нитей. Это и не краска, выплеснутая на холст и растекшаяся по нему прихотливо. Это нечто другое, нечто странное. Вроде бы значительное, но непонятно — почему. Вроде бы волнующее, но неясно — чем. Вроде бы красивое, но не похожее ни на что. Кое-кому это нравится.

Хорошо знакомый литератор даже купил у меня одну картину. Мне не хотелось с ней расставаться, но Хорошо

знакомый был настойчив и уговорил меня. К тому же я был немножко навеселе, да и деньги мне были очень кстати. Нет, нет, мне совсем не хотелось ее продавать! Когда картина была уже завернута в бумагу и перевязана бечевкой, когда литератор взял ее под мышку и направился к дверям, я, не соображая, что делаю, схватил ее за край и стал тянуть к себе. Но покупатель оказался предусмотрительным и так крепко держал покупку, что моя атака оказалась безрезультатной. Когда он ушел, я кинулся к окну. Я видел, как он нес мою картину по двору с самодовольным видом победителя. Я видел, как он исчез за углом вместе с моей картиной.

Через неделю я стосковался по своему шедевру и явился к Хорошо знакомому литератору.

— Гляди! — сказал он и распахнул предо мною двери комнаты. Я вошел и обомлел. На совершенно пустой, высокой стене, оклеенной светло-серыми однотонными обоями, в самом центре красовалась моя картина. Она была безумно хороша. Я никогда ее такою не видел. Я даже не подозревал, что она может такою быть. У меня она располагалась среди других полотен. Здесь же она висела одна. Ничто не соперничало с нею в совершенстве, ничто не мешало на нее глядеть.

— Вот, видишь! — сказал Хорошо знакомый.

Потом мы пошли на кухню. На столе уже стояла бутылка армянского «три звездочки». На тарелке был нарезан сыр. Выпили по рюмке. Потом еще по одной. Закусили сыром.

— Ты прости, что я купил картину так дешево,— сказал Хорошо знакомый,— Я сейчас не при деньгах. Но и эти деньги тебе пригодятся. Ты же собираешься в Ялту? Там отличная массандровская мадера. И херес недурной. На юге я пью только вино местного производства. Водка там как-то не идет. И не потому, что жарко, а вообще — не тот антураж. Древние греки, как известно, презирали водку, а заодно и варваров, которые водкой увлекались. Поэтому в тех краях, где жили греки, как-то неловко пить крепкие алкогольные напитки. А не взяться ли тебе за роман? Страниц эдак на триста пятьдесят или на четыреста? Чтобы была любовь, настоящая, романтическая, чуть-чуть старомодная и прекрасная любовь. Быть может, даже печальная, даже трагическая любовь. Чтобы герой был незауряден, а героиня блистала красотой. Чтобы все было поэтично, слегка иронично, но все же возвышенно. Чтобы сюжет

был строен, логичен и увлекателен. Чтобы повествование было последовательным и вполне воспринималось средним интеллектом. Чтобы обозленному читателю не приходилось то и дело вновь листать первые страницы, дабы понять, о ком и о чем идет речь на последних. И попытайся обойтись без потока сознания, без кокетливой хаотичности, без изощренной дробности, без напускной многозначительности, хотя некоторая загадочность и многозначность тебе, я думаю, не помешают. И чтобы фразы были недлинные, чтобы не обвивались они вокруг головы читателя наподобие бороды Карабаса, которую хитрец Буратино так ловко накрутил на толстое дерево. Пусть в романе будут лишь маленькие странности, лишь отдельные мудреные кусочки, которые не проглотишь не разжевав. И пусть читателю сначала покажется, что все это довольно просто, но захочется прочитать роман еще раз. И пусть, перечитав его, читатель задумается и скажет: «Нет, не так-то это все просто! Что-то тут есть, какая-то закавыка». И пусть читатель не поленится перечитать роман в третий раз и, прочитав его внимательно, не торопясь, воскликнет: «Нет, это удивительно!» Так вот, мой дорогой поэт, мой уважаемый живописец, не желаешь ли ты сотворить нечто подобное? Пусть героиня будет, к примеру, известной актрисой. А герой пусть будет похож на тебя — тоже стихотворец или художник и тоже неудачник, как ты. Не потому неудачник, что бесталанен, а потому, что дерзок в деле своем, потому, что горд и бескомпромиссен. Ну, еще пять-шесть персонажей, и хватит. Хорошо, если у героя будет соперник. Хорошо, если героиня будет капризна и даже строптива,— так интереснее. Броди ты с нею по городу, вези ты ее в Крым, в Таллинн или в Астрахань — словом, куда угодно. В конце романа можешь ее убить, но можешь и пощадить — как хочешь. Героя тоже можно умертвить, если понадобится. В конце романа ты можешь угробить половину его персонажей. Пусть будет как у Шекспира. Словом, сам сообразишь. Только пиши скорее. Не то я разозлюсь и сам напишу этот роман. Ей-богу! А ты будешь локти кусать от зависти и будешь ходить с обгрызенными локтями. А меня ты уж прости, брат,— действительно я сейчас не при деньгах. Зато шедевр твой вон как висит! Рафаэль в Эрмитаже хуже повешен.

«Ну вот,— думал я, возвращаясь домой от Хорошо знакомого литератора,— недоставало мне только рома-

на! И жнец и швец и на дуде игрец! Хватит с меня моих картин и злосчастных стихов! Роман — это же работенка на год, а то и на полтора. И никакой гарантии успеха. Прочтет пара поклонниц. Кто-нибудь скажет: «Это любопытно!» А за полтора года можно горы своротить! Можно написать уйму стихов и картин! Можно, наконец, все полтора года предаваться сладостному, бездумному, дурацкому, скотскому ничегонеделанью и тихо наблюдать за тем, что творится вокруг. Да что там полтора! Можно и два года ни черта не делать! Актрису какую-то он мне подсовывает. А зачем мне актрисы? Я их терпеть не могу. Все они с придурью, все кривляки, все развязны до невозможности. Мой герой не сможет влюбиться в актрису, если он хоть немного будет похож на меня. Что же касается города, то о нем уже написано великое множество стихов, поэм, рассказов, повестей и романов. А любовные приключения в Крыму всегда будут выглядеть пошловато: луна, кипарисы, шелест волны... Раньше надо было браться за роман, когда вера в себя была еще неколебимой, когда душа еще горела от неудовлетворенного честолюбия, когда бессмертие казалось реальностью, а смерть — глупой выдумкой».

И все-таки мне хочется понять, что изображают мои загадочные композиции.

Здесь есть пространство. Безбрежное, бездонное и какое-то даже беспощадное пространство. У него нет примет, нет признаков, нет смысла, нет оправдания. Его не с чем сравнить. Его не за что любить. Его не за что ненавидеть. Оно вызывает некий страх, хотя ничем никому не угрожает. Это какое-то безумное, но величавое и прекрасное пространство. Это просто пространство. Пространство, и все. Однако оно не пустое. В нем — люди. Они как-то умудряются здесь жить. Видимо, такая жизнь им по душе, она их устраивает. Или у них безвыходное положение — другого пространства им не дано. Люди ничего не делают. Только стоят. Иногда сидят. Они отъявленные бездельники. Но, возможно, им просто нечего делать в столь нелепом пространстве. Люди упорно и бесстрашно смотрят в бесконечную перспективу. То ли они околдованы ею, то ли там, в перспективе, они видят нечто невероятно интересное.

Красивы ли эти люди? Безобразны ли? Они не показывают своих лиц. Видны только их фигуры. Их тела и головы.

Да и есть ли у них лица? Вполне вероятно, что это особая порода людей без лиц.

Да и люди ли это вообще? Вполне вероятно, что это манекены. Или тени людей. Плоские, двухмерные, бесплотные тени людей, которые существовали когда-то или никогда не существовали. Скорее всего, так и есть — это тени никогда ранее не существовавших и доныне еще не появившихся в мире людей.

И еще в моих картинах есть время. Оно невидимо, но оно есть. Оно изображено мною.

Время тоже необычное. Оно ведет себя по-дурацки. Оно не движется. Оно стоит.

Разумеется, такого смешного неподвижного времени в природе не может быть. Но именно поэтому оно мною и изображено. Пусть оно живет хотя бы на моих картинах. Его неподвижность сразу бросается в глаза, она неприкрыта, откровенна. Она поражает и приводит в оцепенение людей, впервые меня посещающих. Такой вновь пришедший долго стоит посреди комнаты, переводя взгляд с картины на картину, и, наблюдая за ним, я понимаю, что в эту минуту он чувствует себя не лучшим образом. Он ненадолго, не насовсем, но вываливается из общего потока привычного времени, несущегося сломя голову из грядущего в прошлое. Его ненадолго, не насовсем, но похищает мое уродливое время, упрямо торчащее на одном месте и довольствующееся одним настоящим.

Я и сам, бывает, попадаю впросак со своими картинами и не могу сообразить, в каком времени нахожусь — в движущемся или неподвижном. Особенно опасны те минуты, когда на холсте или на картоне под моею рукой, под кистью, сжимаемой моими пальцами, уже ощутимы каменность возникающего временного сгустка и его космический холодок. В такие минуты мне становится тревожно, будто и я могу окаменеть.

Некоторые утверждают, что в моей живописи вообще нет никакого времени, что она свободна от него, и в этом ее очарование. Но я не могу с этим согласиться. Я категорически отвергаю это абсурдное утверждение, которое ни на чем не основано и является следствием крайней субъективности восприятия. Клянусь, время есть!

Бесконечные пространственные перспективы пребывают на моих картинах в абсолютно бесперспективном, плоском времени. Это обескураживает. Это непостижимо.

С некоторых пор я стал замечать, что становлюсь похожим на свою живопись. В озере моей души уже возникли островки полной неподвижности, небольшие, но очень прочные гранитные островки. Одни из них совсем голые и гладкие. А на других выросли кустики и невысокие деревья. В кустах живут птицы — я слышу иногда, как они поют. Если достать лодку, можно посетить все эти кусочки суши и осмотреть их внимательно. Не удивлюсь, если обнаружу на граните следы костров и пустые бутылки. От рыбаков и туристов спасенья нет.

Больше прочих мне нравится картина «Человек у окна».

Какое-то окно. Над окном занавески. Вполне невинного вида приподнятые занавески. За окном беспредельная даль. В нее, в эту зовущую, влекущую, засасывающую даль, уходят какие-то столбы. У окна под занавесками стоит человек. Совершенно черный человек без ушей и, кажется, без волос. Он будто бы глядит в бесконечность. Его взгляд провожают столбы. Провожают и вроде бы охраняют. В картине покой и тишина. Полный покой и мертвая тишина. Временами, правда, занавески чуть колышутся — оттуда, из бесконечности, веет легкий ветерок. Но вообще-то — покой и тишина.

Признаться, бывают минуты, когда я начинаю путать себя с этим человеком. Тогда мне кажется, что это я стою там, в картине, у окна под занавесками, а безухий сидит в кресле и глядит на меня с ухмылкой. Чтобы удостовериться в обратном, я ощупываю свои уши. И всякий раз, слава богу, они оказываются на месте. Но я ничуть не уверен, что так будет и впредь.

— А еще кто-нибудь звонил?! — кричу я маме, которая бренчит посудой на кухне.

— Да, звонили.— Мама появляется в дверях, вытирая руки о фартук. Он линялый, зелененький, с розовыми мелкими цветочками. Мамины пальцы, покрасневшие от холодной воды, мнут беззащитные цветочки.— Я забыла тебе сказать. Звонок был какой-то странный. Звенело не так, как всегда. Я подумала — междугородний. Сняла трубку. Женщина говорила. Голос приятный, грудной. И будто бы издалека-издалека. И назвала она тебя почему-то господином. Можно ли, говорит, позвать господина такого-то? У тебя есть знакомая за границей? — Матушкины руки падают вниз. Складки фартука распрямляются. Из них выглядывают целехонькие и даже почти не помятые цветочки.

— За границей? Что-то не припомню. Нет, конечно же нет у меня никакой знакомой за границей. Откуда ей взяться-то?

Возникает пауза. Долгая томительная пауза. Матушка стоит в дверях. Я по-прежнему нахожусь в кресле. Колени мои щекочет неприятный зуд. Кончики пальцев покалывают мелкие острые иголки.

— Ну, гляди, гляди! — говорит мама с явным недоверием в голосе и снова отправляется в кухню чистить картошку.

Я гляжу на застывшего в столбняке черного чудака под занавесками и завидую ему смертельно. Его не преследуют призраки, не роются без спросу в его книгах (да и есть ли у него книги?), не звонят ему с того света... С того света! А ведь и впрямь похоже, что с того! «Господина такого-то!» Ну, держитесь, господин такой-то!

Матушкина голова просовывается в дверь.

— Еще Знобишин звонил. Сказал, что выставка его открылась. Ты сходил бы. Неудобно все-таки.

Да, неудобно. Надо сходить. Надо показаться Знобишину на его выставке. Знобишин, в общем-то, неплохой парень. Добрый. И небездарный. Что-то умеет. Что-то может. Чувствует цвет. Рисует грамотно. И не проныра, не карьерист. И не наглец — кроток. В глазах что-то собачье. Смотрит снизу вверх. Звонит. Заходит. Сидит. Глядит на мои картины. Молчит. Вздыхает. Или говорит: «Мда-а-а!» Скажет и снова замолчит. Спрашиваю: «Ну что, Знобишин?» — «Да ничего,— отвечает,— помаленьку». И снова молчит. Смотрит. Ест мои картины глазами. Откусывает от них по куску, жует, глотает. Те картины, что поменьше, он глотает не жуя. Очень прожорливые глаза у Знобишина. И всегда у них волчий аппетит. Знобишин — профессионал. Институт художественный закончил, даже с отличием. Выставляется. По заказам пишет. Не бедствует. Полушубок у него дубленый добротный, шапка из щипаного бобра. Ко мне он ходит, как в церковь, чтобы прикоснуться к высокому (в церковь-то он, конечно, не ходит). Он так и говорит — «прикоснуться к высокому». У тебя, говорит, не живопись — это другое. Но что же именно у меня, сказать не желает. Сидит, молчит, смотрит. Потом уходит. И снова приходит. Как-то привел своего приятеля, точно такого же, как он, тоже кроткого. Приятель долго-долго, до невозможности долго вытирал ноги в прихожей. После Знобишин подтолкнул его к двери в мою комнату.

Приятель вошел. Остановился. Остолбенел. После сел в кресло. После встал, очень громко хрустнул пальцами и принялся шагать по комнате, совершенно по-знобишински пожирая мои полотна глазами. Для полного сходства не хватало ритуального «мда-а-а». Но через некоторое время услышал я и его. Только приятель произнес это междометие почти шепотом, как бы стыдливо.

Нет, не пойду я на выставку! «Натюрморт с нарциссами», «Лодки у берега», «Портрет Афанасия Петровича», «Ледоход», «Натюрморт с матрешкой», «Зима пришла»... Скучный человек Знобишин. И нечего мне ему сказать. Разве что «мда-а-а». Но ведь обидится, если не приду! Пойти все-таки, что ли?

Телефонный звонок. Опять Настя.

— Чего делаешь?

— Сижу.

— Где сидишь?

— В кресле.

— Продолжаешь бездельничать?

— Да.

— Ты отвратителен!

— Знаю.

— Сходим на Знобишина! Он звонил, приглашал нас. Неловко как-то.

— Сходим. Конечно, неловко. Разумеется, сходим. Отчего же не сходить. Обязательно сходим. Завтра же сходим. Жаль, что сегодня уже поздно, а то и сегодня бы сходили.

— Завтра выставка закрыта.

— Значит, послезавтра.

— Послезавтра родительское собрание.

— Тогда, стало быть, через два дня.

— Через два дня выставка закроется. Она уже месяц как открыта. Знобишин потому и звонил, что выставка скоро закроется. А мы все не идем и не идем. Хамство, конечно, с нашей стороны.

— Ты права, хамство. Но что же нам делать?

— Постараюсь пораньше сбежать с родительского.

— Хорошо, постарайся. А ты не брала мой сборник из книжного шкафа, когда приходила в среду?

— Нет, не брала.

— И не заглядывала в шкаф?

— Не заглядывала.

— А ты хорошо это помнишь?

— Хорошо. А что случилось? Пропал сборник?
— Нет, не пропал.
— Так в чем же дело?

Утром я отправляюсь на службу. Литература не кормит меня. Живопись — и подавно. Приходится служить.

Служба меня тяготит, хотя сама по себе она не так уж дурна. Многие даже завидуют моей службе. «Нам бы такую! — говорят.— А ты все ноешь, все привередничаешь, все недоволен!» Да, согласен, служба моя не так уж плоха. И, однако, три дня в неделю, а то и четыре, а то и целых пять мне не принадлежат. В эти дни я теряю себя. В эти дни я уже не я, а некто иной, помнящий притом, что был совсем недавно мною, и оттого страдающий еще пуще.

Всякий раз, когда я приближаюсь к зданию, в котором располагается мое учреждение, когда я вижу его простой, ничего не выражающий, никого не волнующий унылый фасад, настроение мое начинает портиться. Когда же, войдя в вестибюль, я направляюсь к гардеробу, самочувствие мое становится тошнотворным.

Раздевшись, вручаю гардеробщице пальто и шапку.

— Шапку в рукав! — говорит она.

— Зачем? — спрашиваю я.

Всякий раз она говорит мне «шапку в рукав», и всегда я совершенно машинально спрашиваю «зачем?».

— Затем, что шапка упасть может, и поди потом разберись, чья она! — отвечает гардеробщица сердито.

Покорно запихиваю шапку в рукав. Причесываюсь перед зеркалом. Бреду к лестнице (лифт, как обычно, не работает). Медленно подымаюсь. Проходящие мимо студенты и сослуживцы здороваются со мной. И я с ними здороваюсь. Все меня знают, и я всех знаю. Как китайский болванчик, я непрестанно киваю головой: здравствуйте! здравствуйте! здравствуйте!

Но вот сверху торжественно движется начальствующее лицо. Оно глядит на меня выжидающе и не здоровается. Потому что я не начальствующее, а простое служащее лицо и должен с начальствующим лицом здороваться первым.

— Добрый день! — говорю я, стараясь не выглядеть чрезмерно злым и мрачным. Со злостью я кое-как справляюсь, но мрачность остается. Начальство в прекрасном настроении, оно улыбается.

— Что вы такой грустный? — интересуется начальство.— Вы здоровы? Дома у вас все в порядке?

— Спасибо, здоров. И дома полнейший порядок. Просто плохое настроение. Не с той ноги встал.

— Сочувствую,— говорит по-прежнему улыбающееся начальство и, дружески, даже как бы отечески коснувшись ладонью моего плеча, движется дальше.

Наконец шестой этаж. Слегка утомившись от восхождения, вступаю в помещение кафедры. Заседание уже началось. Устыдясь своего опоздания, присаживаюсь в уголке на свободный стул. Вокруг сидят мои коллеги. Хорошие, в общем-то, люди, неглупые. Я тоже, кажется, неплохой человек и тоже не дурак. Все мы ученые и учителя. Только мои коллеги по доброй воле и в свое удовольствие, а я по несчастью и на свое мученье.

Не хочу я ничего изучать. Не желаю никого учить. Да приходится. Мне всегда казалось, что наука — вещь сомнительная. В желании все познать, во все проникнуть, до всего докопаться, все обнажить и все объяснить есть нечто непристойное. Наука старательно истребляет тайны, будто не замечая, что их не становится меньше. Наука подобна тому известному тощему рыцарю с медным тазом на голове, а мир подобен не менее известным ветряным мельницам. Тихо вращая своими крыльями, мельницы спокойно возвышаются на холмах. А рыцарю неймется. Он жаждет битвы и подвига.

Ученые пишут мудреные книги, которые способны прочесть только другие ученые. Последние нередко делают это лишь для того, чтобы убедиться в своем интеллектуальном превосходстве над соперником. Положа руку на сердце могу признаться: будучи ученым, не прочитал целиком ни одного научного труда, ограничивался фрагментами. Потому что я не боюсь соперников. Не боюсь же я их оттого, что у меня их нет. А нет их у меня по той причине, что я не настоящий, а ложный ученый, псевдоученый. Бывают ложные лисички и боровики. Бывают и ложные ученые, весьма похожие на настоящих. Вот и я такой. Правда, я не ядовит, как упомянутые грибы, я безвреден. Странно, но коллеги почему-то ценят меня как ученого и внимательно читают те статейки, которые мне время от времени приходится пописывать. Однако мне хорошо известно, что все это ерунда, что все это не наука, что все это выеденного яйца не стоит, что если бы я был подлинным ученым...

Я не ученый, но я и не учитель. Я не люблю никого

учить. Я не верю, что можно кого-нибудь чему-нибудь научить, и к завзятым учителям отношусь с неприязнью. Я верю, что можно только научиться. Конечно, процессу самоучения можно помочь. Но и только. И приходится мне ваньку валять, притворяться, лицедействовать, изображая из себя способного педагога. Честно говоря, у меня это получается. И те, кого я, так сказать, учу, а также и те, кто поблизости от меня простодушно пытаются и впрямь кого-то чему-то научить, верят в мой педагогический дар. Учащиеся не замечают, что учатся сами. А учителя уверены в том, что мне известны особые, тайные, хитроумные приемы учительства, которые я тщательно прячу.

Начальствующие особы знают о моих литературных забавах. «Ну как там ваше хобби?» — спрашивают они меня добродушно и покровительственно. Им немножко лестно, что во вверенном их попечению солидном учреждении имеется свой, почти настоящий, почти профессиональный и даже чуточку известный сочинитель. За их благосклонное отношение к моим невинным увлечениям мне приходится расплачиваться текстами поздравительных адресов. «Дорогой наш Федор Федорович! В день Вашего славного юбилея мы, Ваши ученики, Ваши товарищи и соратники...»

Я смотрю в окно. За окном — крыши. Из крыш торчат трубы и телеантенны. По крышам бегают коты. Над крышами вьются голуби. Выше голубей — облака. Сегодня у них непривлекательный вид — они серые, как больничные халаты.

За кафедральным столом идет важный разговор.

«Надо учесть, что мы упустили из виду... к тому же они послали письмо... это вызывает недоумение и совершенно необъяснимо... нас, между прочим, неоднократно предупреждали... Красильников, конечно, перегибает, но отчасти он прав... нам не хватает организованности и чувства ответственности... следует в первую очередь обратить внимание на ... к шестнадцатому все необходимо представить в полном объеме... кто же разрешит такую вольность?.. лучше не связываться с этой авантюрой... а что же мы будем делать завтра?.. и несомненно, что...»

Кто-то произносит мое имя. Ко мне обращаются с вопросом.

— Что вы по этому поводу думаете?

— Видите ли,— начинаю я,— мне кажется... я пола-

гаю... мне думается... я почти уверен... что гораздо разумнее... гораздо уместнее... немного повременить... немного подождать... не спешить... все как следует обдумать... все взвесить... все проанализировать... учесть все обстоятельства... все возможные последствия... тщательно изучить имеющиеся материалы... должным образом подготовиться... подыскать запасные варианты... не нервничать... не дергаться... и спокойно отреагировать на это предложение... на эту акцию... на этот выпад... на это недоразумение... на эту, простите, глупость...

— Спасибо! — благодарят меня.

У окна, в треснувшем глазурованном горшке, растет филодендрон. Его большие, причудливо изрезанные листья ложатся на городские крыши. Он очень стар. Он много лет живет в этой неуютной комнате. К его мощному кривому стеблю кто-то привязал пошлую красную бумажную розу. Земля в горшке всегда сухая. На ней валяются окурки и бумажки от конфет. Нижние листья вечно прижаты к подоконнику спинкой кресла. Но филодендрон все терпит. Не ропщет. Он вынослив. Я учусь у него стоицизму.

Заседание кончается. Сослуживцы подымаются из-за стола. Медленно, с чувством облегчения и умиротворенности спускаюсь по лестнице. Подаю гардеробщице алюминиевый номерок. Получаю пальто и вынимаю из рукава шапку — слава богу, она на месте. Напяливаю шапку на голову, застегиваюсь, надеваю перчатки и выхожу (о, радостный миг!) из дверей родного учреждения, которое меня кормит, которое не дает мне пропасть.

Час еще ранний. Сумерки не скоро. Можно прогуляться. Можно встретиться с городом. Я предпочитаю встречаться с ним наедине, тет-а-тет, без посторонних. Его тоже устраивает такой способ общения.

Ютиться в городе — это еще не значит видеть, слышать его, беседовать с ним о новостях, интересоваться его делами, сочувствовать его заботам или радоваться его беззаботности. Живя в городе, можно ведь и пренебрегать городом, и избегать общения с ним. Глядя в его лицо, можно не видеть его глаз. Общаться с городом — значит, смотреть ему в глаза. Они голубовато-серые. Иногда они кажутся зеленовато-серыми или коричневато-серыми. Они спокойны. В них отражаются облака и тучи, закаты и восходы, затмения солнца и фазы

луны, птицы и самолеты. В их глубине мерцает душа города.

У нас с городом неплохие отношения. Я бы даже сказал, что у нас с ним вполне дружеские отношения. Несмотря на свою мнительность и почти женскую капризность, он доверяет мне. Его улицы, набережные, площади, переулки, пустыри, кладбища, скверы, бульвары и парки всегда к моим услугам. Я могу шататься по ним сколько душе моей угодно. Когда же я устаю, город заботливо подставляет мне скамью, или каменный парапет, или хотя бы ступеньку крыльца одного из бесчисленных своих домов. Я могу посидеть, понаблюдать, подремать или поразмышлять о причине того неизъяснимого, прямо-таки дьявольского обаяния, которым наделено это скопище всевозможных построек, нагроможденных, а местами и довольно аккуратно расставленных на удручающе плоской, пропитанной водою местности, омываемой мутными волнами хмурого, холодного моря.

Отдохнув, я продолжаю свое движение по знакомым улицам, не заботясь о том, где могу очутиться. Как ни удивительно, на этих привычных маршрутах меня подкарауливают сюрпризы. Всякий раз изумляюсь: как я не приметил эти уникальные ворота? как проглядел этот диковинный карниз? как пропустил этот любопытнейший аттик? как прозевал эту соблазнительную кариатиду, столь добросовестно подпирающую своим затылком угол массивного балкона?

Приятно брести по широкой, прямой, пустынной улице, которая утыкается в белую громаду собора. Приятно глядеть, как пучатся и круглятся под серым небом его густо-синие купола. Они большие, но они чего-то боятся. Они сбились в кучу и ждут. Кто собирается на них напасть? Кто намерен их разрушить? Быть может, им можно помочь? Быть может, их судьба не безнадежна?

Вблизи купола не выглядят столь беспомощно. Удостоверившись в этом, я сворачиваю к Фонтанке. Она грязно-серая, как небо. Пожалуй, еще грязнее, еще серее. На льду валяется всякий хлам. У гранитного спуска томится вмерзший в лед, всеми забытый катер. У него до слез одинокий, сиротский вид.

Легкий, изогнувшийся дугою мостик. Прямой, как рейсшина, Крюков канал. Над рейсшиной торчит стоймя остро заточенный, тонкий карандаш знаменитой колокольни.

Девочка с эрдельтерьером. Лицо девочки утонуло в большой пушистой шапке из песца. Эрдель очень весел. Он лает, прыгает, носится вокруг девочки кругами.

Задний, плоский, будто срезанный пилой, некрасивый фасад театра. На льду канала валяются рваные театральные афиши.

Площадь. Похожий на резную шкатулку, компактный дворец за высокой, ажурной чугунной оградой.

Мост. Слева и справа широкая река, покрытая колючим битым льдом. Слева, и справа, и над головой — пространство. Оно беспредельно, как на моих картинах. В отдалении — опрокинутые вершинами вниз конусы белого пара, извергаемого полосатыми трубами электростанции. Поблизости — впавшие в зимнюю спячку буксиры.

Набережная. Чугунные цепи на набережной. Маленькое кафе на набережной. Мраморные столики. Кофейный, блестящий никелем, аппарат. Чашки и блюдца. Бутылки. Фасованный сахар в обертке. Аромат крепкого кофе. Разговор за соседним столиком:

— Я им говорю: да побойтесь вы бога!

— А они?

— А они хохочут. Тут я не выдержал и...

— Ну и правильно! Чего церемониться?

— Вот и я так думаю.

Снова набережная. Силуэт стройного бронзового человека, стоящего в позе Бонапарта, выигрывающего очередное сражение. Узорчатая кирпичная церковь, воздвигнутая в самом конце добродушного девятнадцатого столетия с подобострастной оглядкой на уже изрядно удалившийся в историю семнадцатый век.

Поворачиваю на улицу, влекущую меня на север, прямехонько на север, в дымку интригующей, что-то обещающей и настораживающей перспективы. По сторонам вполне пристойные фасады зданий, возникших в ту эпоху, когда бедняжка архитектура была скромна до крайности и по-школярски твердила давно уже пройденное и затверженное. Но иногда проскальзывают мимо и другие фасады. В них запечатлела себя несмелая попытка пролепетать что-то новое. Их игривость под стать их робости, но, в отличие от первых, мертвенно-холодных и как бы окостеневших в тупой покорности прошлому, они явно живые.

Перемещаясь все далее на север и миновав три оживленных, пересекающих улицу проспекта, я оказы-

ваюсь в тихом, малолюдном месте, которое еще недавно размещалось на самом краю города, а ныне уже подвинулось в его глубину.

Узкая речушка с желтым, пятнистым льдом. Журчание нечистот, вытекающих из канализационной трубы. Пар, клубящийся над нечистотами. Полусгнившие сваи. Лодки, опрокинутые вверх дном и покрытые толстыми снежными тюфяками. Невдалеке зияет арка кладбищенских ворот. Из-за нее виднеется приземистый купол небольшой церкви.

Кладбище старое, запущенное. Здесь давно не хоронят. Покосившиеся кресты. Полуразрушившиеся монументы. Ржавые решетки ветхих оград. Рухнувшие на землю стволы мертвых деревьев.

Подхожу к церкви. У входа — скамейка. На ней сидят старушки в черных платках. Одна рассказывает:

— И вот, гляжу, входит он, такой веселый-веселый. Но не пьяный. Совсем трезвый. И в глазах чертики так и прыгают, так и прыгают. Оробела я, хотела перекреститься, да не могу. Хотите верьте, хотите нет. Рука будто не моя, будто чужая...

Рядом со старушками кишение и гуканье голубей, с жадностью клюющих пшено. Головы их не видны, торчат одни хвосты. Сверху, с деревьев, в эту шевелящуюся массу хвостов камнем падают опоздавшие птицы.

— А он мне и говорит: «Ты, бабка Фетинья, руку-то опусти! Устанет рука-то!» Так, помню, и сказал — устанет рука...

Я люблю старые кладбища. В их печальной заброшенности есть поэзия и сила. Они вырывают душу из потока сиюминутности и подталкивают ее к башне непреходящего. А это кладбище я знаю с детства. Тогда, едва узнав о существовании смерти, я боялся его панически. Когда родители водили меня сюда на прогулку, я стыдился своего ужаса и боролся с ним изо всех сил. «Ты чего такой бледный?» — спрашивал меня отец. И я бледнел еще больше.

Мне нравится разглядывать старые памятники и читать надгробные надписи. Их мужественная сдержанность, их переполненная трагизмом краткая и точная информативность меня восхищают.

Надежда Ивановна
КАБЛУКОВА
и сын ее младенец Иван
скончались
13 мая 1909 года

Отчего умерла Надежда Каблукова вместе со своим новорожденным сыном в один день? Какая тайна кроется за этим? И кто до сих пор посещает могилу? Снег расчищен. На мраморной плите лежит красная бумажная роза, будто снятая с моего приятеля — филодендрона.

Правда, встречаются и болтливые надписи. Но и они не лишены очарования. В них сквозит наивная надежда на интерес потомков к судьбе уже ушедших и не оставивших отчетливого следа в этом, еще продолжающем свое бытие малопонятном мире.

Под сим камнем погребено тело
рабы божией
С.-Петербургской Купеческой жены
Екатерины Степановны
СОКОЛОВОЙ
Скончалась 1858 г. октября 19-го дня
на 23-ем году от рождения
в супружестве жила 5 лет
11 месяцев и 15 дней

Любезно-Верной Супруге
душевно уважающий супруг
в память вечную

Люблю я и надгробные стихи, нередко своеобразные по стилю и волнующие своей экспрессией. Явная неодаренность их создателей почему-то вызывает не раздражение и усмешку, но, напротив, сочувствие и даже умиление.

В летах невинности оставшись сиротою,
Ты, Ангел, на земле гостить не захотел,
Но за родителем в мир лучший улетел
И безутешную похитил мать с собою,
Чтобы за гробом вновь с супругом съединить
И с ними чистых душ восторги разделить.
Прости. Небесный гость в обители блаженных,
Ликуй с бесплотными и радуй незабвенных.

Как жаль, однако, что ныне почти позабыт обычай начертания подобных стихов на надгробных монументах! Впрочем, не только этот добрый обычай предан теперь забвению.

Огибаю церковь. Окна ее освещены. Слышится хор. Началась вечерняя служба.

Иду по узкой, протоптанной в снегу тропинке в сторону речки. Впереди виднеется небольшая часовенка с покосившимся крестом над железными ребрами ли-

шившейся покрытия главки. Часовенку эту я помню. С детства, с тех самых далеких времен помню я ее темный, пугавший меня силуэт, полуприкрытый стволами деревьев. Но ни тогда, ни позже так и не приблизился я к ней ни разу, так и не поинтересовался, кто под ней погребен. Приближусь хоть сейчас.

Снег жестко, но мелодично скрипит под моими ботинками. Деревья и памятники отступают в стороны. Часовня растет и потихоньку разворачивается ко мне главным фасадом. Останавливаюсь. Стою перед нею. Оглядываю ее.

Серый известняк. Резьба по камню. Владимир, тринадцатый век — неорусский стиль начала двадцатого. Два небольших окна под самой крышей. На окнах толстые железные решетки и остатки стекол. Вход заложен кирпичом. Над входом неглубокая ниша для иконы и надпись:

Ксения Владимировна
ОДИНЦОВА-БРЯНСКАЯ
ум. 16 декабря 19...

В том месте, где на камне был обозначен год смерти, небольшая выбоина. Будто ударили чем-то тяжелым.

Сразу за часовней спуск к речке. В полынье у самого берега неподвижная коричневая вода. К ней склоняются тонкие ветки прибрежных кустов. По льду расхаживают две вороны. Время от времени они что-то клюют. За речкой, на другом берегу, громыхая проезжает трамвай. Мальчишка с портфелем бежит по берегу и орет: «Витька! Витька! Погоди-и-и!»

Снег вокруг часовни чистый, ровный. На нем четко отпечатываются мои глубокие следы. Обхожу часовню вокруг. Не так уж плохо она сохранилась. Резьба почти цела. И крыша тоже. Жаль, что главка так обветшала.

Брянская... Где-то, когда-то слышал эту фамилию... В детстве.. или позже... или не так уж давно. Слышал или видел ее напечатанной в какой-то книге... или в журнале, в каком-то старом, очень старом журнале. В общем-то даже неоднократно и слышал и видел... да, да, неоднократно. Брянская... Брянская... Ах, Брянская! Неужели это та самая Брянская! Ну конечно же та самая! Вот она где, голубушка, приютилась! Вот она, оказывается, где!

Стою перед часовней, радуясь находке. Будто я искал эту могилу, будто я долго и упорно ее искал, и вот

наконец-то мои поиски увенчались успехом. В тумане памяти возникают просветы, прорехи, сквозные отверстия. В них виднеется нечто расплывчатое, полускрытое еще туманом.

...Певица... была знаменита... пела что-то цыганское... была очень знаменита... потом ее забыли... почти совсем забыли... иные времена, иные песни... а была страшно знаменита и, кажется, богата... да, разумеется, богата — вон какая часовня, какой мавзолей!

Взобравшись на ограду соседней могилы и уцепившись рукой за решетку окна, заглядываю внутрь часовни. Она пуста. На облупившемся потолке остатки росписей. На стенах остатки мраморной облицовки. На полу явственно обозначен небольшой квадрат люка, будто его недавно открывали. В углах скопился принесенный ветром снег.

Спрыгиваю с ограды. За речкой проезжает второй трамвай. Безнадежно серые облака топчутся над кладбищем, не пытаясь скрывать свою больничную неприкаянность. Порыв ветра. Скрип и стук ветвей над головою. В моем мозгу вертится старая поцарапанная пластинка, истязаемая затупившейся иглой: «...была знаменита, а теперь забыта, увы, забыта, всеми, всеми забыта, увы, забыта, а была знаменита, была знаменита, была знаменита, но теперь забыта, увы, забыта, увы, забыта, увы, забыта...»

— Да, забыта! — говорит кто-то рядом со мною скрипучим, противным голосом.

Оглядываюсь. Предо мною старичок с седой бородкой клинышком, в круглых, железных, старомодных очках, в каракулевой старомодной шапке пирожком, в черном старомодном потертом пальтеце и в ветхозаветных фетровых ботах.

— Полностью, окончательно забыта! — произносит старикашка торжественно и даже несколько угрожающе. Очки его зловеще посверкивают. Глаз не видно, они прячутся за очками (может быть, их и нет совсем — вместо них очки?).— А ведь неплохо пела, вовсе неплохо! — добавляет старичок и, повернувшись ко мне спиной, медленно удаляется. Сделав несколько шагов, он оглядывается, и опять очки его сверкают недобрым блеском. И глаза по-прежнему отсутствуют.

Гляжу ему вслед. Гляжу, как он движется между памятниками, сам похожий на памятник, на ходячее надгробие в шапке пирожком и в очках. Гляжу, как он

исчезает за монументами, как он растворяется в этом заброшенном городе позабытых мертвецов. Может быть, он тоже мертвец? Сейчас спустится по лесенке на дно склепа, уляжется в гроб, прикроется крышкой и будет лежать, как лежал, и будет лежать спокойно?

Возвращаюсь к церкви. Подхожу к паперти. Подымаюсь по ступеням. Снимаю шапку.

Запах ладана, колеблющееся пламя свечей, неподвижные огоньки лампад, яркая позолота иконостаса, белые полотенца на иконах, вкрадчивый голос священника. Стою, слушаю.

— Богородице, дево, радуйся! Благодатная Марие, господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших...

Рядом со мною ничком на полу маленькая серенькая старушонка — серенькое пальтишко, серенький платок на голове, серенькие валенки. Как мышь. И совсем не шевелится...

Покупаю в киоске свечу за рубль и зажигаю ее у образа Богоматери (глаза огромные, младенца держит крепко, судорожно сжимая его тельце, будто боится — вот-вот отнимут). Шепчу еле слышно:

— Помяни... Мария, позабытую Ксению Брянскую. Если не трудно.

Выйдя из кладбищенских ворот, я натыкаюсь на вечерние сумерки. Они бесшумно, ловко пробираются в город и располагаются в нем с комфортом. Наступает их час.

Сумерки просачиваются в переулки и наполняют доверху дворы-колодцы. Подворотни уже целиком во власти сумерек. Здесь густеет, уплотняется темнота. Сумерки прорываются на улицы и льются в обширные резервуары площадей. Они подымаются все выше и выше, к верхним этажам домов. Они подкрадываются к карнизам и заползают на крыши. Они грозят городу полнейшим затоплением. Они упорны и целеустремленны. Безнаказанность их действий очевидна. Город не пытается защищаться, он покорился судьбе, он обречен.

Двигаюсь, раздвигая полумрак своим телом. Он тотчас же смыкается за мною. Плыву в полумраке, рассекая его грудью, разгребая его руками, ощущая его упругое сопротивление. Рядом со мною плывут прохожие. Чуть поодаль проплывают автобусы и такси.

Я питаю слабость к сумеречному вечернему городу.

Меня волнует этот искушающий, ненадежный, обманчивый час полутьмы-полусвета, когда фонари еще не зажглись, когда исчезают объемы и на их месте остаются только силуэты, когда царит синее и фиолетовое, лишь кое-где исчерканное красными, белыми и зелеными каракулями уже горящего неона. Я люблю этот час сожалений о навеки утраченном прошедшем дне и неясных надежд на благоразумие грядущей ночи. В этот час прохожие лишаются лиц. Безликость придает им значительность, превращая их из людей каких-то в людей вообще, в тех людей, которые обитают на моих картинах. А лицо города в полумраке становится неузнаваемым и даже слегка враждебным. Я боюсь смотреть в него. Но все же смотрю.

Иду по длинному, безнадежно прямому проспекту, ось которого прочерчена светящейся линией уже зажженных ламп. Гляжу в освещенные витрины.

...Забыта. Отчего же забыта, если хорошо пела? Отчего же время поступило с ней так жестоко? В чем провинилась она перед вечностью и потомками? Или вечность столь прожорлива, а потомки столь неблагодарны? Или все-таки она пела не так уж здорово? Так себе пела? И слава ее была незаслуженной, и успех ее был случаен?

Витрина магазина игрушек. Большой надувной крокодил. Хвост у него толстый. Морда у него добрая. Довольно обаятельный крокодил. Рядом кукла-блондинка с круглыми голубыми глазами. Немножко похожа на Анастасию. Смотрит на меня с удивлением. Чего во мне удивительного? Тут же оранжевый плюшевый медведь. Почему, собственно, оранжевый? Вопрос, впрочем, бессмысленный. Отчего же не быть ему оранжевым? Очень красивый ярко-оранжевый медведь. И еще какой-то зверь неизвестной породы. То ли пес, то ли заяц, то ли лисица. Пожалуй, все-таки пес. Но не исключено, что он все же заяц.

...Забыта. Что такое забвение? Как выглядит Лета? Широкая она или узкая? Быстрая или тихая? То, что она глубокая, совершенно очевидно. А можно ли пить ее воду? Вода забвения, наверное, жутко холодна — зубы от нее ломит.

Витрина овощного магазина. Среди банок с консервированными бобами, среди кочнов капусты и увядших пучков зеленого лука спит большой, рыжий, пушистый кот. Спит в непринужденной позе, лапами кверху. Жи-

вот у кота светло-желтый, подушечки лап нежно-розовые, нос тоже розовый. Хвост изящно откинут и свисает с полки наподобие пучка увядшего лука.

... Как эфемерна слава! Как призрачен успех! Как безнадежны усилия человеческие в неравном поединке со временем!

Витрина парикмахерской. Сквозь нее виден женский салон. Несчастные женщины неподвижно, как изваяния, сидят под какими-то блестящими металлическими колпаками, напоминающими космические аппараты. Для того, чтобы прическа была достаточно элегантной и прочной, возникает необходимость в непродолжительном космическом полете. Двум женщинам стригут волосы. Отсекаемые ножницами пряди беззвучно падают на пол. Молоденькое, совсем еще юное созданье женского пола сидит за столиком маникюрши. Ее руки лежат на белой подушечке. Мелькают сверкающие никелем маникюрные щипчики. Рядом — шеренга бутылочек с лаками для ногтей.

...Интересно, какая она была? Небось толстуха (все певицы страдают ожирением). Этакая монументальная, грузная брюнетка без шеи и без намека на талию. Сросшиеся на переносице черные брови. Волосатая бородавка над пухлой малиновой губой. Голос, разумеется, был низкий, грубый, почти мужской. Когда пела, приплясывала, поводила плечами, поигрывала бедрами, теребила короткими, унизанными перстнями пальцами концы черной шали с длинными кистями (уж конечно, была и шаль!).

Витрина женского ателье одежды. На переднем плане два манекена. На заднем — швейная мастерская. Широкие столы. На столах куски материй. У столов швеи с булавками во рту. В глубине несколько мастериц за швейными машинками. В помещении жарко. Все швеи одеты по-летнему. Форточка открыта. В ней мелькают лопасти вентилятора.

...Старичок-то вроде бы и рад, что она забыта. Конечно, помнит ее. Расспросить бы его, какая она была. Упустил старичка. Растерялся. Очков его испугался. Странноватый, вообще-то, был старик. Жутковатый. В часовне, конечно, что-то было. Стояла какая-нибудь статуя. А Одинцов, стало быть, ее муж. Тоже певец? Или адвокат? Или военный? Военные всегда обожали цыганский жанр — гитарный звон и все эти вздрагивания, и все эти замирания, и все эти выкрики, и вихри

разноцветных юбок, и дробь сапогов, и шлепки ладоней по голенищам.

Витрина книжного магазина. Господи, сколько уже написано книг! А я, сочинитель, пишу новые.

Сумерки угасают. Сгустившись до предела, они превращаются в ночной мрак. Крыши, трубы и антенны растворились во мраке. Только освещенные прожекторами шпили и купола дерзко, но без дурных намерений вонзаются в черную пустоту неба, лишенного звезд и луны. Приглядевшись, можно, однако, заметить в небе некое движение. Это сонно колышутся плотные массы уже надоевших мне больничных облаков, решивших, как видно, заночевать над городом.

Поутру выспавшиеся облака тихо покидают место своего ночлега и удаляются к востоку. Загромождавшееся ими нежно-голубое февральское небо открывается взорам уже отвыкших от небесной голубизны горожан, а также многочисленных туристов, которые, как всегда, заполняют центральные кварталы города и выстраиваются в длиннейшие очереди у дверей музеев.

Посещения издательства травмируют меня не менее, чем пребывание на службе. Но это травмы иного рода. Они сулят некую компенсацию, некие радости, за которые можно и пострадать.

Поднявшись на четвертый этаж, я подхожу к двери с табличкой «Главный редактор» и приоткрываю ее.

— Разрешите? — говорю я и, услышав в ответ «да-да-а», вхожу в кабинет.

— Садитесь! — говорит редактор, и я сажусь, почти утонув в глубоком и чрезмерно мягком, подозрительно мягком кресле.— Я пригласил вас вот по какому случаю,— продолжает редактор, глядя на меня поверх сдвинутых на кончик носа очков. Его белые, очень чистые, типично редакторские руки сложены на широком, массивном, типично редакторском столе, а точнее — на моей рукописи, которая лежит на столе.— Ваша рукопись великовата. Объем книги не должен превышать двух печатных листов. Придется сокращать. Я тут кое-что отобрал. То, что помечено знаком минус в кружочке, на мой взгляд, можно изъять вполне безболезненно. Книга станет даже лучше, компактнее. Посмотрите. Подумайте. Прикиньте. Не тяните. Рукопись вернете через две недели.

— Но, видите ли,— начинаю я неуверенно,— по договору издательство обязуется опубликовать сборник объемом в три листа... Рукопись пролежала у вас уже три года, и я надеялся...

— У нас нет бумаги. Когда будет — неизвестно. Мы можем, если хотите, отложить вашу книгу еще на год. Но нет гарантии, что через год бумага появится в должном количестве.

— Так, стало быть, все издания этого года сокращаются из-за недостатка бумаги?

— Ну... не все. Не совсем все. Но многие.

— А какие, например?

— Я, право, не помню. Можете справиться у секретаря.

Редакторские глаза уже скрылись за стеклами очков. Стекла поблескивают, бликуют, как у злого старичка на кладбище. Редакторские пальцы шевелятся, перебирая листы моей несчастной рукописи. Над редакторской головой восседает в золоченой раме Лев Николаевич Толстой. Взгляд его суров. Брови насуплены. Борода обильна и неопрятна. Старец внимательно глядит в затылок редактору. Тот, наверное, чувствует пристальность толстовского взгляда и потому ежеминутно передергивает плечами. Звонит телефон. Редакторская рука тянется к трубке и подносит ее к белому плоскому уху.

— ...Разумеется! Никаких разговоров не может быть! Пусть скажет спасибо, что мы... Ведь можно было бы вообще... Да, да, сейчас приду!

Редакторская спина распрямляется, и редактор встает. Оказывается, он невысок, щупловат и лишен приличествующей его положению солидности. Ладонь редактора протягивается ко мне.

Выхожу на проспект и сворачиваю на набережную канала. Не торопясь, двигаюсь к возвышающейся впереди цветистой, московского типа церкви, которая, не уместившись на суше, сползла с берега на воду, точнее — на лед, засыпанный собранным на улицах грязным снегом. Дойдя до горбатого мостика с фонарями, перехожу на другой берег и продолжаю двигаться вперед, разглядывая на ходу разноцветные главы причудливого храма. Его кресты сияют золотом на фоне все еще голубого, хотя уже и не столь прозрачного, тускнеющего неба.

Мне не везет. Мне жестоко не везет. Меня вроде бы печатают, а вроде бы и нет. Меня печатают чуть-чуть, едва-едва. Создается лишь видимость, что меня печатают. Редакторы журналов и издательств приветливо улыбаются, дружески смотрят мне прямо в глаза, участливо интересуются моими литературными делами и дают мне обещания. Но, глядя мне в глаза, они умудряются одновременно глядеть сквозь меня куда-то вдаль. Вдали, за моей спиной, всегда оказывается что-то очень важное, привлекающее редакторское внимание. Иногда я быстро оглядываюсь, чтобы заметить это важное. Но, увы, не замечаю ничего существенного. И недоумеваю.

Наверное, я пишу что-то не то. А может быть, не так. Худший вариант, если пишу не то и не так. Но ведь я пишу неплохо! Об этом твердят сами редакторы. Об этом сообщают читателям мои, правда немногочисленные, рецензенты. Об этом мне пишут в письмах мои поклонники и поклонницы (есть они у меня).

Наверное, надо писать как-то по-другому. Но как? Как все остальные? Но мне не хочется писать, как пишут все остальные. Я желаю писать по-своему.

«Просто ты не умеешь писать, как пишут все остальные, а надо уметь!» — так сказал мне три года тому назад литератор В.

«Просто ты слишком упрям, и это нехорошо!» — сказал мне в прошлом году литератор Ф.

«Просто ты дьявольски гордый! — сказала мне поэтесса Ш. месяц тому назад.— А излишняя гордость — порок!» — добавила она и засмеялась серебряным смехом (ее всюду печатают).

«Ты, друг, сам придумал себе такую биографию. Вот и мучайся!» — эти мрачные слова неделю тому назад прошептал мне в лицо весьма маститый поэт, дохнув тяжким, водочно-селедочным ароматом.

«Черт подери, отчего я не такой, как все?» — думаю я частенько. «Оттого, что все они утки, гуси и курицы, а ты — лебедь» — говорит мне преданная Настя, и в эту минуту я люблю ее безумно.

На днях позвонила какая-то девица.

«Вы извините. Вы меня не знаете. Но я хотела вам сказать, что у вас удивительные стихи. Они открыли мне целый мир. Спасибо вам. Извините».

Эта девица, конечно, истеричка, восторженная дура. Небось каждому мало-мальски печатающемуся стихотворцу звонят такие психопатки. И все-таки...

А давеча прислал письмо некий темпераментный юноша.

«Ваши стихи меня потрясли. Как просто, умно, современно! Вы — лучший поэт наших дней!»

Этот молодой человек — южанин. Южанам свойственна повышенная эмоциональность, они любят преувеличивать. Их все время тянет к гиперболам и аффектации. И однако...

А одна интеллигентная дама сказала: «Вы хорошо пишете, очень любопытно пишете, талантливо пишете. Но вы пишете слишком оригинально. Вас начнут понимать через пятьдесят лет. Приготовьтесь к этому».

А один столичный знаток литературы написал мне: «Это не поэзия. Это проза, да к тому же посредственная. Это пустое, беспочвенное, бездуховное, бессмысленное, враждебное здоровым традициям оригинальничанье. Пишите нормально и не кривляйтесь!»

А друзья говорят мне: «Плюй на всех и пиши, как пишешь. И меньше ходи по редакциям». Но я все хожу и хожу по редакциям.

Ограда, мимо которой я шагаю, обходя сзади вышеупомянутую церковь, во всех отношениях великолепная ограда из кованого железа с очень натуральными широкими листьями и не менее натуральными полураспустившимися цветами, высокая, пышная сквозная ограда, полукольцом окружающая удивительную церковь, вдруг прерывается, и я вхожу в заваленный снегом Михайловский сад. По расчищенной дорожке иду к бело-желтому небольшому павильону, стоящему в глубине сада и многократно перечеркнутому черными стволами деревьев.

А я все хожу и хожу по редакциям. Как и всякому писателю, мне хочется печататься. Как и всякому писателю, мне требуются читатели. Как и всякий писатель, я жду признания. Да и от славы я бы не отказался. Она не будет лишней. Говорят, что она обременительна, но мне кажется, что я справлюсь с этим бременем. Эй, слава! Где ты? Я тут! Я прощу тебе твои капризы, твою взбалмошность. Я даже готов простить тебе твою неверность! Я жду тебя, эй, слава! Ты слышишь меня?

Подойдя к павильону, я останавливаюсь и любуюсь этим изящным пустячком, так, между делом, для одного лишь удовольствия созданным знаменитым мастером. Из-за колонны выходит женщина, и я вздрагиваю.

Стройна. Роста среднего. Пальто черное, длинное, до пят, узкое в талии. Небольшой стоячий воротничок из соболя. Соболь по подолу и на рукавах. В руках большая муфта, тоже из соболя. Волосы пышные, темно-русые, с золотистым отливом... Плоская соболья шапочка... Сбоку цветочек. Лицо? Его не видно. Женщина смотрит в сторону. Виден только висок. На виске выбившийся из прически локон. Видна щека. На щеке легкий румянец. Видно розовое маленькое ухо. В ухе крупная серьга с красивым зеленым камнем. Наверное, это изумруд.

Постояла. Снова скрылась за колонной.

Затаив дыхание, поднимаюсь по ступеням на каменную площадку, крадусь к колонне, осторожно заглядываю за нее — никого!

Вдруг вижу — незнакомка в соболях идет по аллее, идет быстро, мелкими шажками (теперь женщины так не ходят). Бросаюсь следом, но она уже далеко. Прибавляю шагу, но она идет слишком быстро, будто знает, что я ее преследую, будто пытается скрыться от погони.

Ворота. Запыхавшись, выбегаю на Садовую. У тротуара стоит коляска. Настоящая, одноконная, крытая черным лаком, легкая коляска. Поднятый кожаный верх. Широкая спина возницы с голубым кушаком. Гнедая тонконогая лошадь. «Отчего же коляска, а не сани? — мелькает у меня в голове.— Ах, да! Мостовые посыпают песком!» Рядом с коляской стоит моя незнакомка. Она вытаскивает руку из муфты, подхватывает подол пальто, ставит ногу на ступеньку (ботинок черный, с узким носком и высокой шнуровкой) и легко вскакивает в экипаж. Кучер натягивает поводья, и лошадь с места берет рысью. Мягко покачиваясь на рессорах, коляска уезжает. Я провожаю ее взглядом. Задержавшись у перекрестка, она сворачивает на Инженерную. Лицо! Его я так и не увидел.

Киносъемка, конечно. В городе что-то снимают. Сейчас перерыв. Актрисе, а может быть, всего лишь статистке, захотелось прогуляться. Все натурально: и шапочка, и ботинки со шнуровкой, и муфта, и голубой кушак кучера. А как приятно прокатиться по городу в старинной коляске... Но ведь там, в вагоне, тоже была она! Не снимая старомодного пальто, не меняя старомодной прически, оставаясь все в той же «таблетке» с цветком, едет куда-то за город? Господи! Да мало ли почему она отправилась за город! Съемка идет одно-

временно и в городе и где-то в пригороде. Вечером возвращалась со съемки — только и всего! Но в электричке она была без сережек — хорошо помню. А тогда, в комнате, конечно мне померещилось. Книжку я сам брал машинально, не соображая, думая о чем-то другом и забыв прикрыть дверцу. Такое бывает со мною, бывает. И все это вместе — совершенно случайное, да, да, случайное, беспричинное, ни к чему не обязывающее и ни на что не намекающее стечение обстоятельств.

Коляска-то, между прочим, отличная. И, кажется, совсем новая. А лошадь холеная и хороших кровей. Прекрасная лошадь. Соболь явно натуральный. Изумруды вроде бы тоже. Нет, не статистка — актриса. Любопытно, что снимают? Очередной рассказ Чехова? Или за Бунина уже взялись? Или это исторический фильм? Дама в соболях — бесстрашная революционерка. В муфте она прячет браунинг. Ей поручено политическое убийство. Но провокатор помешает ей выполнить задание. Она, бедняжка, окончит свои дни на виселице. Браунинг небось совсем маленький, симпатичный. Пули отравленные. Пули непременно должны быть отравленными, чтобы уж наверняка.

Но как изящно приподняла она рукою подол! Будто это вовсе привычное для нее дело, будто каждый день по нескольку раз садится она в экипаж. Актриса, видать, способная. И хорошо вошла в образ.

Настин дом построен в том стиле, который когда-то почти у всех вызывал негодование, а теперь почти всех приводит в восторг. Фасад живописен и претенциозен. Он благоухает цветами и женской парфюмерией. Цветы растут на карнизах и прямо на стенах, образуя подобие плотно засаженных клумб. Их вялые, длинные стебли, слегка изгибаясь, безвольно тянутся вниз и опутывают оконные наличники. Над окнами виднеются головы красивых печальных женщин с распущенными змеевидными волосами. Волосы тянутся к цветам. Цветы вплетаются в волосы. Печальные красавицы выглядывают из зарослей экзотических растений.

В вестибюле остатки мраморного камина. Он тоже украшен женской головой. Но эта женщина почему-то весела — она улыбается. Потолок вестибюля сплошь покрыт гипсовыми листьями. Вероятно, это листья тех цветов, которые на фасаде.

Настя живет на третьем этаже. Между вторым и третьим этажом на лестнице сохранился витраж: красная лодка под белым парусом несется по синему морю, разрезая носом кудрявые волны. Над морем повисли сдобные, румяные облака.

Дверь Настиной квартиры. Старинная бронзовая ручка, до блеска вытертая руками жильцов. Над кнопкой звонка — табличка:

Алтуфьевы — 1 зв.
Панкратова — 2 зв.
Коган — 3 зв.
Рюхины — 4 зв.
Курнаков — 5 зв.

Нажимаю на кнопку два раза. За дверью торопливые шаги, лязг отпираемых запоров. Дверь распахивается. Меня накрывает облако дивного аромата («Шанель» № 5). На пороге Настасья. Пушистый серый свитер, желтые вельветовые брючки, домашние тапочки восточного фасона с загнутыми носками и ярким шитьем. Прическа безукоризненна. Подрисованные глаза — тоже. Накрашенные губы — тоже. В глазах синее сияние. Пушистый свитер придает Насте сходство с каким-то симпатичным зверем, которого хочется тут же погладить и потискать.

Настя широко улыбается, предоставляя мне возможность еще раз убедиться в том, что и зубы у нее, слава богу, удались. Она прижимается щекой к моей бороде. Ее ресницы щекочут мне нос.

— Вытирай как следует ноги! — говорит Настя.— Пол только что вымыт.

Тщательно и с удовольствием вытираю ноги о резиновый половичок. Идем по длинному, полутемному коммунальному коридору. Слева и справа — двери. У каждой еще один половичок. Вот и Настина дверь с половичком. Он какой-то особенный, по-женски кокетливый. Опять вытираю ноги. Стараюсь.

— Ну хватит, хватит! — говорит Настя, и мы входим в комнату.

Мне полезно бывать у Насти. Я чувствую себя здесь умиротворенно. Настино жилище — маленький женский рай. Все здесь женственно, женоподобно — и мебель каких-то особенно мягких очертаний, и шторы какого-то лукавого, соблазнительного рисунка, и ковер с каким-то волнующе-длинным и нежным ворсом, и фар-

форовые статуэтки на серванте, изображающие игривых красавиц восемнадцатого века в черных полумасках и с раскрытыми веерами, поднесенными к алым губкам. Даже развешанные по стенам репродукции с известных пейзажей Куинджи выглядят почему-то женственно.

Настина комната заменяет ей целую квартиру. Здесь и гостиная, и спальня, и столовая, и частично кухня (Настя держит холодильник в комнате). Вокруг полнейшая чистота и полнейший порядок. Пыли нигде не видно. Все вещи стоят и лежат на своих местах. Настя аккуратистка, чистюля, чистоплюйка, и это мне ужасно нравится — я и сам чистоплюй. Рядом еще одна комната, поменьше. В ней ютится Женька. Ему восемь лет. Он белобрыс и веснушчат. Он голубоглаз, как Настя. Но сейчас его нет, он у бабушки.

На столе приготовлено угощенье — бутылка марочного портвейна, сыр, яблоки, пастила.

— Ну, что с книжкой? — спрашивает Настасья, наливая в рюмки портвейн.

— Неважно,— отвечаю я.— Придется выбросить десяток стихотворений. Они экономят бумагу.

— Свинство! — возмущается Настя. Она вскакивает со стула и шагает по комнате, на мужской манер засунув руки в карманы своих штанов.

— Нет, какое скотство! — не унимается Настя.— На твои стихи не хватает бумаги!

— Ладно, не расстраивайся,— говорю я,— мне не привыкать.

— Бедный ты мой! — шумно вздыхает Настя и, подойдя сзади, обвивает мою шею пушистой рукой.— Страдалец ты мой! Хорошие всегда страдают, а плохие веселятся!

Она наклоняется и, запрокинув мою голову, целует меня в губы. Поцелуй сильный, долгий и жадный.

На раздвинутом диване появляются простыня и подушки. Свет гаснет. В окне фиолетовые сумерки. Они снова затопляют неспособный постоять за себя слабохарактерный город. Они заглядывают в комнату. Они подсматривают, как раздевается Настя.

А Настя умеет раздеваться. А Настя раздевается талантливо. А Настя раздевается вдохновенно. О, как это все!.. Трудно подыскать подходящий эпитет. Так, наверное, раздевались наложницы фараонов, с детства наученные тонкому искусству раздевания. Так, вероятно, раздевались молодые, еще любимые королями коро-

левы, когда им приходилось обходиться без помощи прислуги. Так Диана обнажалась на берегу ручья, когда ее увидел несчастный Актеон.

Расстегиваются пуговицы, крючки и молнии. Развязываются узелки, освобождаются петли. Что-то перелетает через голову. Что-то сползает вниз, на бедра, и далее к лодыжкам. Что-то чуть задерживается на локтях и коленях. Что-то скользит безо всякой задержки. Что-то уже валяется на полу, уже топчется голыми ступнями.

Я целую мягкий, теплый Настин живот.

— Не горюй, мой дорогой! — шепчет Настя и умолкает.

Раздается громкий и мелодичный бой часов (недавно Насте подарили электрические часы с боем).

— Ой! — вздрагивает Настасья.— Уже семь часов! Если мы не придем, Знобишин смертельно обидится, смертельно! Я тебя умоляю!

Не проходит и пяти минут, как то, что валялось на полу и было разбросано по всей комнате (только в этом единственном случае Настя позволяет себе что-то разбрасывать), снова обретает свои места на бесподобном Настином теле. Зажигается свет. Настя прихорашивается у зеркала. Я подхожу к ней и беру ее за плечи. Я вижу в зеркале голубоглазую, светловолосую, совсем еще молодую и очень привлекательную женщину, которую бесцеремонно обнимает какой-то бородатый и уже немолодой субъект. Настя смеется.

— А мы с тобой неплохая парочка! — говорит она.

Обсуждение выставки закончилось. На него мы опоздали. Знобишин издали машет нам рукой. Он улыбается. У него счастливое лицо. Его, конечно, хвалили. Его всегда хвалят.

Знобишин подходит и церемонно целует Настину руку.

— Вы, Анастасия Дементьевна, просто ослепительны! Вами можно любоваться только сквозь дымчатые очки!

Знобишин называет Настю по имени и отчеству. Так ему нравится. Он давно уже влюблен в Настю, и об этом знают все. Насте приятно, что Знобишин влюблен. И даже мне это приятно.

Настя берет Знобишина под руку. Мы идем по залу. Все смотрят на Настю и Знобишина. Я тоже смотрю на них. «Красотка!» — говорит кто-то за моей спиной. «Да, хороша! — соглашается второй голос.— Везет Знобишину!»

На стенах знобишинские шедевры: «Натюрморт с нарциссами», «Лодки у берега», «Портрет Афанасия Петровича», «Ледоход», «Натюрморт с матрешкой», «Зима пришла».

— Приятный колорит! — произносит Настя, останавливаясь у «Натюрморта с матрешкой».

— А теперь ко мне в мастерскую! — провозглашает Знобишин.

— Чудесно, чудесно! Отпразднуем ваш успех! — радуется Настя.

Едем в такси. Останавливаемся у магазина. Знобишин нас покидает, но вскоре возвращается, прижимая к груди бутылки шампанского.

— Сегодня будем пить одно шампанское! — кричит он.

«Его не узнать,— думаю я,— успех преображает человека».

Едем дальше. Держим на коленях бутылки.

— Смотри-ка,— шепчу я Настасье,— у Знобишина за плечами что-то виднеется. Не крылья ли это?

— Ау, Знобишин! — говорит она.— У вас на спине что-то торчит!

— Где? — пугается Знобишин и поспешно засовывает руку за спину.

— Ха-ха-ха! — смеется Настя.— Это же крылья, Знобишин! Это ваши собственные крылья! Вы окрылены! Вы крылаты! Ха-ха-ха! — смеется Настя, тычась лицом в плечо смущенного и совершенно раздавленного счастьем Знобишина.

Подворотня. Первый двор, довольно широкий. Туннель проезда. Второй двор, чуть поуже. Еще туннель. Третий двор, узкий, как щель. Обшарпанная дверь. Узкая черная лестница с железными перилами. Ведра у дверей квартир. Запах кошек, щей с говядиной, котлет с луком, маринованной селедки, копченой трески, заплесневелого хлеба, несвежих яиц, окурков, апельсинных корок, подгоревшего подсолнечного масла, гнилой картошки, тухлой капусты.

Поднимаемся. Миновали четвертый этаж, пятый, шестой.

— Я вас умоляю, Знобишин! Скажите честно, сколько мы еще будем тащиться по этой вонючей лестнице? — стонет запыхавшаяся Настя.

— Уже пришли! — объявляет Знобишин.

Перед нами небольшая дверь с толстым железным засовом и висячим замком внушительных размеров. Знобишин долго возится с ключами. Наконец дверь распахивается с жалобным писком. За нею виднеются прутья железной решетки. Снова бренчание ключей. Но вот и решетка уже открыта. Щелкает выключатель. Входим.

У Знобишина, оказывается, великолепная мастерская. В мансарде. Просторная, удобная, обжитая. В прихожей висят неизвестные мне знобишинские творения. В рабочей комнате — мольберт с незаконченным городским пейзажем, палитра, тюбики, бутылки, кисти, мастихины, подрамники, пустые рамы, мраморная голова Лаокоона, запах льняного масла и скипидара. В комнате для приема гостей — тахта, накрытая лохматыми собачьими шкурами, плохо сохранившееся кресло павловских времен, значительно лучше сохранившийся низкий столик неизвестного времени и небольшой книжный шкаф начала нашего века в полной сохранности. В шкафу книги по искусству и несколько фотографий, прижатых к стеклу.

Бодрый, приплясывающий, подпрыгивающий, неузнаваемый Знобишин то и дело убегает на кухню и притаскивает оттуда тарелки, вилки, стаканы и какую-то закуску. После он приносит старинный хрустальный бокал с замысловатым вензелем на боку.

— Внимание! Восемьсот девятнадцатый год! — торжественно изрекает хозяин. Бокал идет по рукам. И верно: под вензелем цифра — 1819.— Поклонники! — продолжает Знобишин.— Поклонники моего скромного таланта поднесли презент. Из него будет пить божественная Анастасия Дементьевна! Кто желает помыть руки — извольте. По коридору налево.

Настя уходит. Подхожу к шкафу. Разглядываю выставленные за стеклом фотографии. На одной из них — старой, коричневого оттенка, наклеенной на толстое картонное паспарту с золотым тиснением, с гербом и фамилией владельца фотоателье,— молодая женщина. Она сидит на стуле с высокой спинкой, украшенной

почти такими же цветами, как и на фасаде Настиного дома. Она сидит, положив ногу на ногу и сложив руки на колене. Одета по моде девятисотых годов: белая блузка с длинными рукавами, с высоким, закрывающим шею воротничком, и темная, строгая, видимо шерстяная, юбка. На груди жемчужное ожерелье. На воротничке жемчужная брошь. В ушах серьги с крупными камнями. Лицо красиво и благородно: высокий чистый лоб, брови, крутыми дугами взлетающие к вискам, светлые, широко расставленные глаза, тонкие ноздри, изящного рисунка рот с чуть припухшей нижней губой, нежный овальный подбородок. Лицо спокойно и задумчиво. В глубине счастливых глаз и в уголках счастливого рта затаилось некое подобие грусти, некая усталость и как бы предчувствие несчастья. Волосы пышные... подвитые... собраны на затылке в узел...

Насвистывая что-то бравурное, Знобишин хлопочет у столика.

— Кто это? — спрашиваю я, кивая на фотографию.

— Это Брянская,— отвечает Знобишин, продолжая беззаботно насвистывать бодрый мотивчик.— Певица. Была стра-а-ашно знаменита, феноменально знаменита. Теперь ее и не помнит никто. Сик транзит глёриа мунди! А что, понравилась? Она и мне нравится. Красивая баба.

Настя возвращается. Мы усаживаемся за столик. Хлопает пробка. «Ай!» — взвизгивает Настя — шампанское льется ей на колени.

Знобишин бежит на кухню за полотенцем, тут же прибегает обратно и долго хлопочет вокруг Насти.

— Ничего,— говорит она.— Приятно искупаться в шампанском.

Пьем. Произносим тосты. За успехи Знобишина, за искусство, за Настино совершенство, за всеобщее процветание.

— Выпьем в память о Брянской! — говорю я вдруг, вставая со стаканом в руке.— Помянем ее, всеми забытую!

— А кто она такая? — спрашивает Настасья озабоченно.

— Исполнительница цыганских романсов! — отвечает Знобишин и, вынув из шкафа фотографию, сует ее в Настины руки.

Настя бледнеет. Осторожно, с опаской держа карточку на ладони, она внимательно ее рассматривает.

— Недурна,— говорит она, помолчав.— Вся в золоте и жемчугах. Как видно, не нуждалась.

«Вот тебе и толстуха! — думаю я.— Вот тебе и лохматые брови, сросшиеся на переносице! Вот тебе и бородавка над верхней губой! Вот тебе и цыганская шаль на необъятных плечах! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот оно, оказывается, как!»

— Слушай, Знобишин, подари мне эту фотографию! — произношу я голосом тусклым и не своим.

— Зачем она тебе, старина? — изумляется Знобишин.— Зачем тебе эта покойница? У тебя же Настя есть! Живая Настя!

— Подари, Знобишин! — повторяю я мрачно, почти шепотом.

Настины глаза округляются и темнеют. Настя смотрит на меня со страхом.

— Нет, старина, не подарю! — говорит Знобишин с неожиданной для него жесткостью, и я чувствую, что его реденькая бороденка, его длинные прямые волосы, его короткие пальцы почти без ногтей мне невыносимо противны.

— А не хочется ли тебе, Знобишин, хотя бы иногда писать что-нибудь другое и как-нибудь иначе? — спрашиваю я неожиданно для себя.

— Нет, не хочется,— спокойно отвечает Знобишин,— совсем не хочется. Не мое это дело. Твое это дело. Каждому свое, старина. Ты творишь для вечности, а я для завтрашнего вторника и послезавтрашней среды. У этих скромных дней текущей недели есть свои культурные запросы. Вот я их и удовлетворяю. Это моя миссия.

— А почему же ты, Знобишин, столь уверен, что создан всего лишь для вторника? Почему ты столь непритязателен и столь кроток? Никто ведь не обрекал тебя на служение текущей неделе, ты сам себя на это безжалостно обрек!

— А потому что я знаю, на что способен, и не обольщаюсь наивными надеждами. Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

— И ты не тоскуешь по журавлю?

— Тоскую иногда. Особенно, когда его вижу. К примеру, когда вижу твою живопись.

— Но ведь когда-то, Знобишин, я писал совсем как ты: «Натюрморт с двумя луковицами», «Тучкова на-

бережная», «Озерная тишина»... И ничто не говорило мне о том, что я могу писать иначе.

— Если стал писать так, значит, что-то говорило,— замечает Знобишин довольно резонно.

— Давайте поболтаем о чем-нибудь другом! — предлагает Настя, глядя на Брянскую.— Интересно, как она пела? Пластинки, наверное, сохранились.

«Такое хрупкое созданье не могло петь басом,— размышляю я.— Значит, все не так, как мне думалось. Но когда же она умерла? На фотокарточке ей лет тридцать, а фотографировалась она, судя по одежде, не позже середины девятисотых годов. Часовня же построена в стиле конца девятисотых — начала девятьсот десятых... Значит, умерла она совсем молодой, ей и сорока еще не было небось. Но отчего она покинула этот мир так рано? Что с нею случилось?»

— Ты не знаешь, отчего умерла Брянская? — спрашиваю я Знобишина.

— Понятия не имею! — отвечает он.— Да разве это важно?

— Важно, Знобишин, очень важно. Страшно важно! Неужели ты сам не понимаешь, как это важно? Молодая, красивая, талантливая женщина вдруг погибает, а тебе наплевать! А ты и в ус не дуешь! А ты сидишь себе в своей мансарде и шампанское хлещешь! Хорош ты, Знобишин, нечего сказать!

— Оставь ты его в покое! — произносит Настя дрожащим голосом и швыряет фотографию на тахту.— Что ты к нему привязался! — кричит Настя, и я понимаю, что она сейчас заплачет, что пора доставать ей из сумочки успокоительные таблетки, что это надолго, не менее чем на полчаса, что я уже вообще устал от всего этого, что мне все это уже изрядно надоело, что мне все это уже просто осточертело, что я... что она... что нам...

— Успокойся, Настасья,— говорю я сквозь зубы.— Как тебе не стыдно! Было бы из-за чего! Разве так можно? Куда это годится? Ведь Брянская давным-давно умерла! Ты понимаешь, она умерла за тридцать лет до моего рождения! Ты понимаешь, понимаешь это, Настасья? За тридцать лет до моего рождения! И за сорок до твоего! За сорок!

— Откуда ты это знаешь? — всхлипывает Настя.

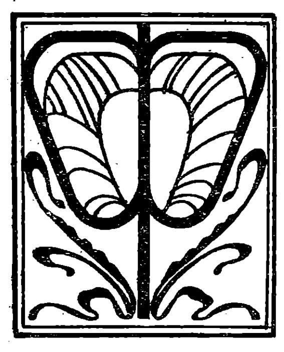
Я молчу. Почему-то мне не хочется говорить о кладбище и о часовне. И еще я молчу потому... по той причине... Нет, право, странно, почему я молчу. Нет, черт

возьми, почему же я все-таки молчу? Кажется, я и сам сомневаюсь, и сам не уверен...

— Нет, нет, этого не может быть! Это абсурд! — кричу я и ударяю пустой бутылкой о столик.

— Чего не может быть? — спрашивает Настя шепотом. Она уже не плачет. И в глазах ее уже нет ни капли синевы.

ГЛАВА ВТОРАЯ


евраль заканчивает свои дела и удаляется. Март приходит с видом решительным, но ведет себя двусмысленно и трусливо. По утрам у пешеходов подняты воротники и опущены уши меховых шапок. Пар струится из их ноздрей и, клубясь, вырывается изо ртов. Пар оседает инеем на волосах, на ресницах, на усах и на бородах. Но с карнизов свисают огромные сосульки, угрожающие здоровью и самой жизни вышеупомянутых пешеходов, а днем явственно слышен стук капели. Слышится также попискивание каких-то пичуг, то ли уже вернувшихся из южных стран, то ли молчавших всю зиму и теперь подающих голос. Хотя еще холодно, уже много света. По вечерам свет с неохотой покидает небосклон, подолгу задерживаясь на кромке горизонта и удивляя горожан немыслимым колоритом вполне весенних, щедрых на эффекты закатов. Иногда же март ни с того ни с сего заваливает город рыхлым свежим снегом, так что по улицам не проехать и не пройти. В такую погоду я наслаждаюсь зрелищем облепленных снегом решеток, фонарей и деревьев и подолгу наблюдаю, как дети с усердием воздвигают снежную бабу или, вопя от удовольствия, кидаются снежками.

Осторожно ступая по скользкому притоптанному снегу, шагаю вдоль чугунной ограды канала. Останавливаюсь у моста. Гляжу на мост. По нему проходят люди и пробегают собаки. По нему проезжают грузовики, автобусы и такси. По нему проезжает ... коляска. Черная, с поднятым верхом... лошадь гнедая... кучер подпоясан голубым кушаком...

Коляска сворачивает на набережную и останавливается перед пятиэтажным жилым домом с фасадом в духе Растрелли. (Много таких фасадов с легкой руки зодчего Штакеншнейдера появилось в городе сто с лишним лет тому назад. Они напоминают о временах, не стыдившихся роскоши и не отягощенных пристрастием к благородной сдержанности.) Чернобородый кучер слезает с козел и скрывается в воротах.

Торопясь, спотыкаясь, загребая снег носками ботинок, придерживая сползающую с головы шапку, ужасаясь и не веря происходящему, с сердцем оглушительно бьющимся, с непомерно разросшимся, заполнившим все тело сердцем бегу к пышному, растреллиевско-штакеншнейдеровскому фасаду, к чернеющей перед ним коляске.

Подбегаю. Коляска, и впрямь, шикарная, новая, видимо, дорогая. Тонкие, но прочные колеса на резине, небольшие легкие рессоры, зеркально-гладкий, без единой царапины, черный лак, в котором отражаются моя бледная физиономия, съехавшая набок шапка, волосы, выбившиеся из-под шапки (поправляю их, запихиваю их на место). Сбоку от покрытого голубым ковриком сиденья возницы торчит хорошо начищенный, сияющий желтой латунью фонарь с толстыми гранеными стеклами. Хвост лошади подобран снизу и перехвачен голубой лентой. Длинная грива тщательно расчесана. Челка тоже повязана голубым бантом. Сбруя красивая, с мелкими латунными бляшками и небольшими кистями.

Ставлю ногу на ступеньку, приподымаюсь, заглядываю под навес верха.

Мягкое черное кожаное сиденье. Две голубые бархатные подушки. Запах пряных духов. На удивленье знакомый запах. Будто бы когда-то, давным-давно...

Звякает уздечка. Лошадь поворачивает голову и косится на меня недоверчиво большим выпуклым глазом с голубым белком. Соскакиваю в снег. Отхожу к ограде. Жду.

Мимо проходит девица в толстой, будто надутой куртке и в мужской, косматой собачьей шапке. Ее джинсы заправлены в высокие сапоги. На сапогах позолоченные цепочки. У девицы озабоченное выражение лица.

Мимо проходит мальчик лет восьми с ранцем за спиной. Пальтишко на нем перекосилось — оно неправильно застегнуто. К тому же оно все белое,— видно, только что этот ребенок с наслаждением катался по снегу, ба-

рахтался в снегу, зарывался в снег с головою. Выражение лица у мальчишки радостно-задумчивое.

Мимо проходит интеллигентная старушка в старенькой облезлой шубейке под морского котика и со старенькой кошелкой в руке. Она идет медленно — боится поскользнуться. Выражение лица у нее отсутствующее. Из кошелки торчит мордочка кудрявой болонки с черной, влажной пуговицей носа. Выражение мордочки неопределенное.

Мимо проходит милиционер в таком же, как у кучера, черном полушубке. Полушубок перетянут белыми ремнями. Заметив коляску, милиционер на секунду останавливается и потом следует дальше. Он тоже думает, что это киносъемка.

Наконец появляется кучер. Я вижу его лицо. Он похож на цыгана, на разбойника старых времен и на современного террориста то ли из Южной Европы, то ли из Ближней Азии, то ли из Центральной Америки. Он импозантен. Возраста непонятного. Он что-то жует. Из-за его кушака торчит кнутовище. Он подходит к лошади. Его рука протягивается к лошадиной морде. Теперь и лошадь что-то жует, время от времени фыркая и позвякивая уздечкой. Кучер с лошадью что-то жуют. Вот прожевали. Кучер вытирает бороду рукавом, поправляет упряжь и взбирается на облучок. Застоявшаяся лошадь нетерпеливо переступает ногами. «Тпррр!» — говорит разбойник негромко.

Жду. Сердце мое грохочет. Сердце меня распирает. «Лишь бы не вывалилось наружу! — думаю.— Пусть грохочет!»

Мимо проезжает туристский автобус. Туристы смотрят на канал, на оседлавшие его мосты, на меня. Те, что с другой стороны, наверное, смотрят на коляску, наверное, удивляются, наверное, восклицают: «Смотрите-ка! Смотрите!»

В то мгновение, когда коляска скрывается за автобусом, меня пронзает страх. А вдруг!.. Но вот автобус проехал. Коляска на месте. Кучер тоже сидит на своем месте. Сидит неподвижно, кажется, дремлет.

Жду. Сердце мое не унимается. А ноги уже замерзли. Шевелю пальцами в ботинках.

Дверь дома вздрагивает и начинает медленно, медленно, невыносимо медленно — о господи, до чего же медленно! — открываться. Вот она замирает. Ах, черт! Но вот она распахивается настежь.

На пороге швейцар — маленький человечек в чем-то зеленом с золотом. Лицо заспанное. Прикрывая ладонью долгий зевок, он делает шаг в сторону, кому-то уступая дорогу.

В глубине дверного проема возникает тонкая женская фигура. Возникнув, она не движется. Женщина что-то делает со своими руками. Что она может с ними делать? Отчего она возится с ними так долго? Кажется, она натягивает перчатки. Да, конечно, она надевает перчатки. Ага, надела! Вот она сделала шаг вперед. Она выходит.

Грохот в ушах смолкает. Мое гигантское сердце внезапно сжимается, обрывается, маленькой пятидесятиграммовой гирькой летит вниз и падает в снег к моим ногам. Не отрывая глаз от выходящей, приседаю, шарю рукой по снегу и, не нащупав гирьку (а ну ее, право!), распрямляюсь.

Она стояла на крыльце, глядела на меня и улыбалась. Соболей не было. Был черный каракуль. Он лежал, свернувшись калачиком, на знакомых, пышных, темно-русых волосах. Он охватывал шею и затылок большим стоячим воротником. Туго обтянув грудь и тонкую талию, он спускался на бедра, едва достигая колен. Его мелкие антрацитовые колечки мерцали в свете неяркого дня, отливая то серебром, то бронзой, то зеленью, то синевой. Ниже колен ноги были прикрыты подолом черной суконной юбки.

Придерживая юбку рукою, она стала спускаться по ступеням. Спускаясь, она продолжала смотреть на меня и улыбаться, показывая ровные, до странности ровные и до странности белые зубы. «Будто фарфоровые!» — подумал я и сделал несколько шагов ей навстречу. Сердца во мне уже не было. На его месте ощущалась пустота. «После вернуться и отыскать все же гирьку»,— мелькнуло в голове.

Я подошел к ней, уже спустившейся с крыльца. Так и не подаренная Знобишиным фотография ожила. Изображение стало объемным и цветным: бледный, молочно-белый лоб; темно-русые, как и волосы, брови; нежная розовость щек; светло-серые, теплого оттенка глаза; яркие карминные губы и уже виденные мною крупные капли изумрудов, повисшие на кончиках мочек.

Она протянула мне руку в узкой черной перчатке.

— Здравствуйте! Все-таки выследили меня! Ваше

терпение вознаграждено — вы долго здесь стояли, я видела вас из окна. Озябли небось? Бедный!

Рука ее была мягкой и теплой. Я чувствовал это сквозь тонкую кожу перчатки. И еще я чувствовал запах, тот самый, тревожащий, таинственный запах, который исходил от подушек в коляске.

Рядом с нами возник кто-то третий. Повернув голову, я увидел, что это мальчик, вывалявшийся в снегу,— он вернулся. Мальчишка стоял, разинув рот, и глядел на Брянскую не мигая. Лицо его сияло восторгом.

— Почему вы такая красивая? — спросил он вдруг.

Она засмеялась. Смех был прозрачен, звонок и мелодичен.

— А почему ты весь в снегу? — спросила она.

— Потому что мы толкали друг друга в сугробы,— ответил он.

— Потому что такая уродилась,— ответила она и коснулась пальцем лацкана моего пальто.— Вы любите кататься по городу?

— Люблю,— сказал я.

— Давайте покатаемся вместе!

— Давайте! С удовольствием! Правда, мне ни разу еще не приходилось... в таком экипаже.

— Вот и чудесно! Это будет в первый раз! Садимся!

Я поддержал ее за локоть и, когда она забралась в коляску, уселся рядом с нею, подпихнув под свой бок голубую подушку.

— Хорошая коляска, не правда ли? — сказала она.— Совсем новая. Месяц как куплена. На аукционе.

— А лошадь? — спросил я.

— А лошадь эта у меня уже давно. Года два меня возит. Ее Кавалером зовут. Она не лошадь, а конь, жеребец.

Брянская тронула рукой кучерово плечо.

— Поехали, Дмитрий!

Кучер встрепенулся и выпрямил спину,— видимо, он и впрямь задремал. Выпрямил спину и обернулся, и сверкнул на меня глазами, и улыбнулся как-то загадочно, и пошевелил вожжами, и сказал басом:

— Н-н-ноо!

И так же, как тогда, у Михайловского сада, Кавалер с места взял рысью. Мальчишка бежал следом и орал:

— А я! А я! Меня-то забыли!

Я глядел на кушак кучера, боясь взглянуть на свою соседку, все еще опасаясь какого-то подвоха, какой-то

каверзы, какой-то злой шутки судьбы. Я глядел на широкий голубой кушак кучера и мысленно уговаривал себя не удивляться. Коляска покачивалась. Рядом со мною сидела женщина, которая умерла лет семьдесят тому назад. Она была молода и прекрасна. От нее струилось сказочное благоухание. И я почти не удивлялся этому.

Мы катили по набережной. Брянская положила ногу на ногу и скрестила руки на колене. «Любит так сидеть»,— подумал я.

— Тогда, в Михайловском саду, вы меня перехитрили.

— Да, в Михайловском вы были нерасторопны, и я без труда от вас улизнула. Но сейчас вы взяли реванш, и я поздравляю вас с успехом. Вам, натурально, кажется странным мое поведение? Я то и дело появляюсь пред вами, интригую вас, не даю вам покоя. Вас это, наверное, немножечко раздражает? Признайтесь! Но мне нравятся ваши стихи. Мне безумно нравятся ваши стихи. Случайно купила у букиниста ваш сборничек за двугривенный, полистала и разволновалась. Ничего похожего никогда, нигде, ни у кого... Вы небось и сами не знаете, кто вы такой! Вам когда-нибудь говорили, кто вы такой? Послала письмо в издательство. Мне ответили. Сообщили ваш адрес и номер вашего телефона. А в книжке есть ваша фотография. Вы не только талантливы, но еще и красивы! Дайте-ка я как следует на вас погляжу!

Она повернулась и приблизила свое лицо к моему.

— О, какой вы! У вас необычные глаза. Они слоистые. Я вижу два слоя. Нет, кажется, три. А там, дальше... Вы злой или добрый? Отвечайте! Впрочем, не надо, и так узнаю. Но вы умный. Это видно. И по стихам заметно. Я люблю умных мужчин, но попадаются больше глупые. Почему-то они меня обожают. За мною ходит целая свита глупых мужчин. Все высокие, статные, усатые. Все красавцы, как на подбор. К несчастью, господь обделил их умом. Я их вам покажу. Они мне не противны. Я часто любуюсь ими. Но мужчина должен быть умным, не правда ли? Умным и талантливым. А они бесталанны. Они заурядны. Они блистательно бесталанны и очаровательно заурядны. Или нет — они очаровательно бесталанны и блистательно заурядны. Так лучше. Признаться, я не большая любительница поэзии, хотя читывала ее. Пушкина, натурально, Жуковского,

Майкова, Бенедиктова, Полонского, Апухтина. Пробовала читать декадентов — Брюсова, Бальмонта, но они меня утомляют. У меня от них как-то кисло во рту. Не правда ли, смешно? Вы их любите? Еще Блока сейчас многие хвалят, он в моде. Я его почти не знаю, а это почему-то запомнилось:

Но в мирной безраздумной сини
Очарованье доцвело,
И вот — осталась нежность линий
И в нимбе пепельном чело.

Правда, красиво? «И в нимбе пепельном чело»! Но ваши стихи!.. Они меня подхватывают под руки и куда-то уводят. Я бессильна пред ними, я не могу им сопротивляться! Они уводят меня куда-то туда, где я ни разу еще не была. Скажите, куда же они меня уводят? В какую страну? В какие пределы? Вы же небось живете там постоянно, вы там давно поселились. А у вас много поклонниц? Письма вам пишут, да? Я тоже хотела послать письмо, но после передумала и решила позвонить. Кто это подходил к телефонному аппарату? Ваша... экономка? Или кто-нибудь из родственниц? Ах, это была ваша матушка? У нее такой молодой голос! Вероятно, она еще совсем не стара. А вы любите цыганские романсы? Вам нравится Варя Панина? Вы ни разу не слышали, как она поет? Как странно! Она ведь очень известна! Очень! Она хорошо поет, только чуть старомодно, слишком уж по-цыгански. Так пели и пятьдесят лет тому назад. Но вы ее все же послушайте. Рекомендую. Многие от нее без ума.

Я смотрел ей в лицо. Я видел, как шевелятся ее губы, как подрагивают ее ресницы, как покачиваются на ушах изумрудные капли. Я смотрел ей в лицо и слушал музыку ее речи. Сердце мое вернулось на свое место. Оно билось ровно и не слишком громко. С сердцем моим все обошлось. Я был до смешного спокоен. В вихре невероятного я уже обрел удобное место. Непостижимость происходящего уже не пугала меня. Непостижимость происходящего доставляла мне удовольствие.

Брянская откинулась на спинку сиденья. Подрагивал в воздухе острый носок ее ботинка. Подпрыгивал голубой бант на хвосте Кавалера. Дергались локти чернобородого террориста. Мимо проплыла колоннада Казанского. Проплыл и Кутузов. Своим маршальским жезлом он указывал на отлично известное мне величест-

венное сооружение, украшенное бронзовыми скульптурами и увенчанное продолговатым, яйцеобразным стеклянным куполом. На куполе поблескивал стеклянный глобус. На глобусе была четкая надпись — ЗИНГЕРЪ. Странно! Почему я раньше не замечал эту надпись? Ниже, над витринами, надпись повторялась многократно: ЗИНГЕРЪ, ЗИНГЕРЪ, ЗИНГЕРЪ, ЗИНГЕРЪ. Удивительно! Ведь не было же этой надписи! Никогда я ее здесь не видел, хотя когда-то она непременно должна была здесь быть! Опять шалости киношников?

Свернули на Невский. Нас обгоняли троллейбусы, автобусы и такси. Мы останавливались у перекрестков, пропуская пешеходов. На нас не обращали внимания. Было даже обидно: такая прекрасная коляска! Моя спутница молчала. Я косился на ее профиль. Он смущал меня своим благородством. Легкая горбинка носа деликатно напоминала о тягучих веках просвещенного феодализма, о белых колоннадах барских дворцов и о псовой охоте.

У Литейного горел красный свет. Пришлось еще раз остановиться. Кавалер бесцеремонно поднял хвост. Я стыдливо отвернул голову и увидел на тротуаре рядом с коляской Знобишина. Он глядел на меня, на совершенно живую Брянскую, на страшного Дмитрия, на изумительного Кавалера, на элегантнейший экипаж. Лицо его было бледным до голубизны. Глаза были вытаращены. Рот был полуоткрыт. Кучер дернул вожжи, и мы поехали дальше, оставив Знобишина в прескверном состоянии. «Может быть, остановиться, выйти, объяснить? — подумал я.— Жалко все же человека. Шампанское с ним пили недавно...»

Тут я заметил, что фасады домов сплошь завешаны вывесками, большими, крикливыми, яркими вывесками. Обосновавшись на нижних этажах, они подымались все выше и выше. Они заполняли простенки между окон, забирались на карнизы и аттики.

ТАБАКЪ И БУМАГА. В. АНДРУКОВИЧЪ
СѢВЕРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ
ИНЖЕНЕРЪ Р. Э. ЭРИХСОНЪ.
Установка подъемныхъ машинъ
ТОВАРИЩЕСТВО М. С. КУЗНЕЦОВА
МОДЫ МАРИ ДОНАТЪ

Заметил я также, что рядом с нами ехала коляска, очень похожая на нашу, только кучер был рыжебородый

и у него был красный кушак, а лошадь была серая в яблоках. Навстречу нам двигались другие коляски, похожие и непохожие на нашу, с одной лошадью или двумя. Мимо прогрохотал вагон трамвая, очень смешной вагон трамвая с открытыми площадками, огороженными узорными железными решетками. На площадках стояли люди, сошедшие с фотографий журнала «Нива» за 1906 год (подшивку я недавно просматривал с любопытством). По тротуарам двигались такие же люди. На углу стоял толстый городовой при усах и при сабле.

Я изо всех сил старался сохранить только что обретенное драгоценное, хотя и противоестественное спокойствие. Моя спутница поглядывала на меня с улыбкой.

— Какой у нас год? — спросил я.

Она засмеялась. На сей раз смех был еще прозрачнее, еще звонче, еще мелодичнее.

— Ой, уморили!

Она вытащила из-за перчатки маленький кружевной платочек и стала вытирать нос. У нее это получалось на редкость изящно. Кончик носа чуть-чуть покраснел.

— Ну и память же у поэтов! Живете в неведомо каком году, в неведомо каком веке, на неведомо какой планете! У нас тысяча девятьсот восемьдесят третий! Не верите? Вам хотелось бы оказаться вдруг в восемьдесят третьем? Нет? Но отчего же? А мне вот хотелось бы. В восемьдесят третьем мне стукнет сто десять лет. Не так уж много. К счастью, на дворе тысяча девятьсот восьмой. Направо, Дмитрий!

Мелькнули купола какой-то церкви. «Ах, да, Знаменская!» — вспомнил я. Свернули на Лиговку. Высунувшись из-под верха, я взглянул назад. Посреди площади возвышался монумент: на очень упитанной, мощной ломовой лошади восседал очень упитанный плечистый человек, похожий на только что виденного городового. Вокруг монумента медленно и сонно, как завороженные, кружились трамваи, набитые публикой с иллюстраций «Нивы». Через несколько минут коляска остановилась.

— Мне думается, что нам следует немножко погреться,— сказала Брянская,— у меня руки замерзли. Напрасно я не взяла муфту.

Перед нами было знакомое мне маленькое кафе, располагавшееся в полуподвальном этаже большого шестиэтажного дома. Я неоднократно посещал его во время своих блужданий по городу. Над входом была, однако, незнакомая надпись:

ГОЛУБОЙ ЖИРАФЪ

трактиръ Матвея Ковыряхина

Мы вошли. В крохотном вестибюльчике нас встретил длиннорукий, кривоногий, волосатый горбун в причудливом одеянии, напоминавшем одновременно ливрею, кафтан петровских времен и еще что-то.

— Ксения Владимна! Ксения Владимна! Королева ты наша! Красавица ты наша! Бесподобная ты наша! Ангел ты наш златокрылый! — запричитал он, сладко осклабясь и суетливо помогая Брянской снимать шубку.

— Много народу, Пафнутий?

— Почти никого! Человек пять-шесть. И все трезвые. Воздух свежий, чистый, хороший. Еще не накурено. Еще не успели дыму этого смрадного напустить.

В уютном зале с низкими крутыми сводами все было как-то не так. Стены и потолок были выкрашены в голубой цвет. С потолка свисал сделанный из папье-маше большой голубой жираф. За стойкой возвышался огромный резной буфет в русском стиле, уставленный многочисленными фарфоровыми чайниками, все они были голубые. Тут же сиял свежевычищенной медью пузатый самовар. Чуть поодаль на высоком табурете красовался граммофон с гигантским цветком гофрированной и тоже голубой трубы.

От стойки отделился высокий, тощий, узкоплечий, светловолосый, безбородый человек в синей шелковой рубахе с белой подпояской. Согнувшись в три погибели, он приблизился к нам.

— Какая честь, Ксень Вдимна! Какая радость! Какой подарок! Какой праздник! Давненько не навещали-с! Чуть ли не с Рождества! Думал, грешным делом, уж и запамятовали нас совсем! Извольте вот сюда! Ваше любимое место. Никого не сажаем. Все ждем: вдруг вспомните-с, снизойдете-с, заглянете-с? Вдруг облагодетельствуете и предстанете взору-с? Вдруг озарите чуланчик наш светом своим дивным? Что прикажете подать?

— Кофе,— сказала Брянская.— Покрепче, погорячее. И с коньяком.

— Сию минуту-с!

Она сидела напротив меня, сцепив пальцы рук на скатерти, и спокойно смотрела мне в глаза. На ней была та самая белая кофточка со стоячим узким воротничком.

На груди лежало то самое ожерелье из крупного жемчуга.

— Я люблю здесь бывать одна. Это мое тайное прибежище. Здесь хорошо. Здесь мне всегда рады. Здесь все голубое — это любимый мой цвет.

Люди, сидевшие в отдалении за столиками, начали оглядываться. Оттуда доносился шепот: «Брянская!.. Брянская!»

Трактирщик принес кофе и коньяк. Чуть задержавшись у столика, скользнул по мне взглядом.

Она подняла рюмку.

— Что ж, выпьем. Со свиданьицем, как говорит моя кухарка Стеша!

— Со свиданьицем! — сказал я и сделал глоток. Коньяк был неплохой, кажется, французский.

Трактирщик между тем на цыпочках подкрался к граммофону и стал крутить ручку. Послышались звуки рояля — аккомпаниатор играл вступление. И вот зазвучал женский голос. Он проступал, просачивался, пробирался сквозь шипенье, сипенье, потрескиванье, постукиванье, как бы сквозь некую завесу, за которой пряталась невидимая певица.

Голос был красивый и страстный. Голос был грудной, теплый, мягкий, удивительно женственный. Голос был чистый и сильный. Голос был диковинный. Он тревожил и завораживал. Он то лился широко, густо и мощно, все затопляя, то журчал прозрачно и нежно, мягко обтекая невидимые преграды и устремляясь куда-то в запредельность. В нем было томленье и ликованье. В нем таилась надежда. В нем сквозила печаль. В нем слышались отзвуки каких-то несчастий и предчувствия грядущих бед. Казалось, что кто-то, захлебываясь от радости бытия и глядя в необозримые, озаренные солнцем пространства, стоит на самой кромке жизни, на самом краю черной бездны. Женщина пела о любви. О любви капризной и самозабвенной, о земной, грешной, сладостной и горькой любви, о жарких объятиях, о встречах и прощаниях, о черных муках ревности, о тоске разлуки.

Манера пения была для меня неожиданной, а то, что пелось, я никогда ранее не слыхал. Мелодия была проста. Стихи были наивны. В интонации чудилось что-то цыганское, однако цыганки поют по-другому. Слова произносились старомодно, с дворянским шиком, немного в нос, будто певица с детства знала французский ничуть не хуже и даже лучше русского. Голос был цели-

ком во власти певицы. Он был ее послушным рабом. Он был расторопен и ловок. Он делал все, на что был способен. Голос был вышколен и звучал безукоризненно.

Я глядел на Брянскую. Она сидела предо мною вся светлая, жемчужно-кружевная, полупрозрачная на аквамариновом фоне стены. Она сидела, опустив ресницы. Пальцы сжимали рюмку. В рюмке желтел коньяк.

— Кто это? — спросил я, кивнув на граммофон.

На ее губах появилась усмешка и тут же исчезла. Пальцы выпустили рюмку и легли на скатерть. Они чуть подрагивали. Ресницы взлетели вверх, и я снова увидел ее глаза. В них таилось нечто похожее на испуг.

— Это я,— ответила она тихо.

Пластинка кончилась, но продолжала вращаться. Из трубы исходило шипение. Трактирщик кинулся к граммофону.

— Хватит, Матвей Матвеич, лучше принесите гитару,— сказала Брянская.

Ковыряхин убежал и через несколько секунд появился с гитарой в руках, на грифе которой, как я и ожидал, был огромный голубой бант. Люди сидевшие вдалеке, перебрались за соседние столики. Трактирщик пристроился рядом с нами, сделал соответствующее выражение лица и взял первый аккорд. И я сразу понял, что играет он как бог, точнее, как дьявол.

Брянская встала и прижала руки к груди.

Коляска остановилась у Садовой. «Я позвоню вам,— сказала она, стягивая с пальцев перчатку.— Я буду телефонировать вам на этой же неделе,— повторила она, протягивая мне руку. Мы помолчали. Ее рука доверчиво белела на моей ладони.— Я позвоню непременно!» — сказала она в третий раз, и я, наклонившись, поцеловал эту белую руку, снова ощутив запах странноватых, пряных духов.

Сойдя, я обернулся. Из-под козырька коляски мне махала перчаткой прелестная женщина лет тридцати в элегантной каракулевой шубке. Дмитрий взглянул на меня строго и дернул вожжи. Коляска тронулась, и тотчас ее закрыл громоздкий желтый автобус с прицепом. Когда он проехал, коляски уже не было.

Мама встречает меня на пороге.

— Тебе три раза звонил Знобишин. Он был очень взволнован. Кажется, с ним что-то случилось.

Вхожу в свою комнатушку и закрываю за собою дверь. Меня слегка трясет. И немножко ломит спину. Стою у окна, гляжу на улицу. По тротуару идет женщина. Она держит за руку двоих очень тепло одетых ребятишек неопределенного пола. Один чуть крупнее другого. Рядом трусит серенький крапчатый спаниель. Его длинные уши волочатся по обледеневшему асфальту.

Плюхаюсь в кресло. Голова кружится. Трясет все сильнее. «Надо смерить температуру»,— думаю и опускаю веки. Предо мною возникает лицо Брянской — оно нестерпимо прекрасно. С испугом открываю глаза. Теперь предо мною зияет распахнутое настежь окно. Над окном болтаются занавески. У окна спиной ко мне стоит кто-то черный, совершенно черный — ни одного пятнышка, ни одного светлого блика. «Кажется, негр,— думаю.— Почему он торчит у окна? За кем он так внимательно наблюдает? Что его так заинтересовало там, за окном? И как он здесь, в моей комнате, очутился?»

Ко мне заглядывает матушка.

— Тебе нездоровится? Простудился?

Отыскиваю градусник, меряю температуру. Она нормальна. Она даже чуть меньше, чем требуется. Но озноб не проходит, и голова по-прежнему не в порядке.

Кресло мое вдруг подпрыгивает и вместе со мною взлетает к потолку. Взлетев, оно начинает медленно кружиться вокруг люстры. Однако люстра не моя. Она большая, хрустальная, со множеством сверкающих граненых подвесок. «Как в филармонии»,— думаю я и тут замечаю, что подо мною и впрямь зал филармонии. Он пуст, но все люстры почему-то горят. «Для чего,— думаю,— по какому поводу?» На эстраде рояль. За роялем сидит полноватый человек в черном. У рояля стоит стройная женщина в белом. «Кажется, Брянская»,— думаю и подлетаю поближе. «Надо брать на октаву выше,— говорит человек за роялем,— вы сползли вниз, дражайшая Ксения Владимировна. Давайте еще раз!» Кресло перемещается к окну с занавесками. Негр не шевелится. Он не отрываясь глядит вдаль. Осторожно проскальзываю у него над головой и лечу

дальше, в бесконечность. «Зачем? — думаю.— Мне же нечего там делать, мне же совсем нечего делать в бесконечности!» Оглядываюсь. Далеко-далеко позади в прямоугольнике окна все еще маячит дурацкая черная фигура. Над ней по-прежнему висят жалкие занавески. «Почему,— думаю,— почему, почему, почему не дает мне покоя это окно? Почему меня сводит с ума этот безнадежно черный тип? Почему он с таким маниакальным упорством уставился вдаль?»

Где-то в отдаленнейших областях галактики звонит телефон. Затем оттуда доносится голос моей матушки.

— Нет, к сожалению, не может. Он захворал. Не вчера, а сегодня. Не знаю, не знаю. Вполне вероятно, Ну что вы, простуда, конечно! Хорошо, я скажу...

Кресло возвращается в комнату и опускается на свое место. Ухватившись за подлокотники, с трудом подымаюсь и покачиваясь бреду в прихожую. Мама смотрит на меня испуганно.

— Тебе немедленно надо ложиться! Ты ужасно выглядишь!

В трубке голос Знобишина.

— Я, брат, едва не спятил. Объясни, ради бога. Откуда лошадь? Откуда колымага? И кто была эта... в каракуле? Мне померещилось... Или я просто... А ты, я вижу... В тихом омуте...

— Прости, Знобишин,— говорю я,— мне и впрямь как-то нехорошо, я и впрямь вроде бы простудился. Коляска-то открытая была, а пальто у меня не зимнее, демисезонное... Все собирался зимнее купить, да так вот и не купил почему-то. А в коляске-то было прохладно, конечно. Верх был поднят, но что с него проку? Он только от снега... или от дождя. Прости! После я тебе все объясню, все растолкую. Тут, знаешь ли, такие дела...

Ложусь на тахту. Матушка набрасывает на меня халат. По-прежнему знобит. В комнату входят какие-то люди. Их много. Их очень много. Почему их так много? Почему они пришли? Что им от меня нужно? Я их не звал. Я их не приглашал. Они пришли без приглашения. Какая бесцеремонность! Бесцеремонность, доходящая до наглости! Удручающая, непростительная бесцеремонность!

Люди рассаживаются на стульях, в креслах, на письменном столе, на подоконнике и прямо на полу.

Все они хихикают. Тихонько, но довольно противно хихикают. Над кем, над чем, по какому поводу они хихикают? Они пришли ко мне, чтобы всласть и безо всякого повода похихикать! Они набились в мою комнатенку, как сельди в бочку, и в этой жуткой тесноте они непрерывно, без устали, безо всякой причины по-идиотски хихикают! Среди них трактирщик Матвей Ковыряхин. Он сидит на столе и болтает ногами. В его руках гитара с гигантским голубым бантом. Он сидит, болтает ногами и щиплет струны. Осторожненько так, почти незаметно щиплет струны. И гитара тоже похихикивает. От щекотки. Из глубин нашей звездной системы до меня доносятся голоса. Два женских голоса. Первый постарше, кажется, мамин: «Лежит. Температуры нет, но выглядит плохо. Я как увидела его, так прямо испугалась — бледный, глаза горят, губы посинели... Есть такой грипп — бестемпературный. От него, говорят, иногда помирают». Второй помоложе, кажется, Настин: «Да, да, это опасный грипп, опасный! Давали ему что-нибудь? Лучше всего аспирин и чаю с малиной».

В комнату входит Настя. В ее голубых глазах голубая тревога, голубая-голубая тревога. Я отбрасываю халат и сажусь.

— Прости, Настя! У меня так много народу. Какие-то странные люди. Я их не звал. Честное слово! Пришли сами. Пришли и расселись, как дома. Сидят, хихикают. Над чем они хихикают? Чего смешного? Не понимаю. Мне плакать хочется, а они смеются. Даже зло берет. Но хорошо, что ты пришла. Вот этот человек с гитарой — трактирщик Ковыряхин. Играет, как сам сатана. Даже лучше. Трактир называется «Голубой жираф». Хороший кофе, отличный коньяк и старинные пластинки. Потом сходим. Это недалеко. Матвей Матвеич, познакомьтесь. Моя невеста — Анастасия. Я ее обожаю. А трактир, Настасья, симпатичнейший! Под потолком жираф болтается. Действительно, голубой. Весь трактир голубой, как твои глаза. Стены голубые, чайники голубые, граммофон голубой... Сыграйте нам что-нибудь, дорогой Матвей Матвеич! Сыграйте нам что-нибудь синенькое!

Снова ложусь. Настя заботливо укрывает меня халатом. Из-за ее спины выглядывает матушка. Из матушкиных глаз текут крупные слезы. Чего она плачет? Что случилось?

— Что произошло?! — кричу я, вскакивая с тахты.— Да скажите же мне, наконец, что стряслось?

— Успокойся! — говорит Настя.— Ради бога, успокойся!

— Ты болен! — говорит мама.— Ты серьезно болен. Ты заразился гриппом. Тебе надо лежать. Ложись, пожалуйста, я тебя прошу! Я очень тебя прошу! Ложись, пожалуйста, и лежи спокойно, не вскакивай.

Да, я болен. Но это не грипп, конечно. Какая-то странная болезнь. Хотя и похожа немножко на грипп. И как-то сразу, неожиданно я заболел. Как-то внезапно я свалился. Пришел домой, и нá тебе. Хорошо еще, что раньше, в коляске, в трактире... А может быть, и коляска, и жеребец Кавалер, и кучер Дмитрий, и швейцар Пафнутий, и трактирщик Ковыряхин и сама бесподобная — все это и есть моя болезнь, мой горячечный бред? Впрочем, горячки-то нет. Значит, случается бред и без горячки. Не часто, но случается. И он опаснее, коварнее, чем горячечный, потому что непонятно, отчего бредишь и что вообще с тобою творится. И конечно, уже тогда, тогда, в электричке был я нездоров. А после все хуже и хуже мне становилось. Собирался ведь к врачу, да не пошел по лености.

Звонок. Мама спешит в прихожую. В комнату входит врач — женщина немолодая и серьезная.

— На что жалуетесь? Голова не болит? А грудь? А поясница? А горло? А живот? Дайте руку! Разденьтесь до пояса! Дышите глубже! Не дышите! Откройте рот! Скажите «а»! Ложитесь на спину! Чем болели в детстве? А после чем болели? Курите? Алкоголем не злоупотребляете?

Усевшись за мой письменный стол, врачиха выписывает больничный лист и рецепты на лекарства.

— Выздоравливайте! — говорит она на прощанье и энергичным, твердым, мужским шагом покидает мое жилище.

Настя садится рядом со мной на тахту и долго глядит на меня с жалостью.

— Не валяй дурака и лечись! Завтра я принесу тебе апельсины и твое любимое овсяное печенье. А сейчас прими снотворное и выспись как следует. Я тебя умоляю!

Настасья уходит. Матушка приносит стакан воды. Я глотаю таблетку снотворного и быстро засыпаю. Мне ничего не снится.

Через два дня я уже вполне здоров. Хожу на службу. Уходя из дома, говорю матушке:

— Если кто-нибудь позвонит, спроси, что передать. Скажи, что в пять часов я буду дома.

Или:

— Если мне позвонят, скажи, что я на службе, что через два часа я вернусь домой.

Или:

— Если мне позвонит женщина — не Настя, а та, другая, которая называет меня господином,— скажи, что я ушел по делам, что я жду ее звонка, и, если она скажет, когда позвонит в следующий раз, я непременно тогда буду дома.

Возвращаясь домой, я спрашиваю:

— Ну что, звонили?

И мама отвечает:

— Нет, никто не звонил.

И мама отвечает:

— Звонил Знобишин. Спросил, когда будешь.

И мама отвечает:

— Звонила Настя. Спросила, как ты себя чувствуешь и какие лекарства принимаешь. Вечером еще позвонит.

И мама говорит:

— Звонил редактор издательства. Просил зайти к нему завтра. Обязательно завтра!

Отправляюсь к редактору. С тяжелым сердцем, с пудовым, тянущим меня вниз, сгибающим меня сердцем поднимаюсь на лифте.

Сейчас скажет, что надо выбросить еще пять-шесть стихотворений, или что в этом году книга даже в сокращенном виде не будет издана, или что в книге слишком много прошлого и маловато настоящего и следует добавить настоящего, добавить как можно больше настоящего, не скупиться на настоящее, не жадничать, или...

Вхожу в кабинет. Здороваюсь. Редактор, не подымая головы, отвечает мне «здравствуйте». Стою у сто-

ла. Редактор увлечен чтением какой-то бумаги. Редактору не до меня.

Лев Толстой сегодня очень сердит. Борода его совсем растрепалась, а глаза едва заметны под нависшими бровями. Кажется, редактор уже изрядно ему надоел. Еще немного, и старик, выйдя из себя...

Голова редактора подымается.

— А, это вы! Простите, я тут увлекся. Любопытная бумаженция. Садитесь, пожалуйста. Могу вас обрадовать. Мы посовещались и решили, что вам все же надо дать два с половиной листа. Три не выйдет, а два с половиной натянем. Так что возьмите снова рукопись и добавьте стихов из тех, которые были изъяты. Выбирайте любые. Пишете вы крепко, слабых стишков у вас нет. И торопитесь! Через неделю я вас жду.

Сердце мое мгновенно становится легким, как праздничный воздушный шарик. Вырвавшись из моей груди, оно взмывает к потолку, стукается об основание люстры и отскакивает в угол. Там оно висит, чуть подрагивая, розовое, округлое и довольно приятное на вид. «Ну вот,— думаю,— теперь его доставать придется, лестницу придется искать».

Редактор глядит на потолок, замечает сердце и улыбается доброй, вполне человеческой, нередакторской улыбкой.

— Возьмите палку! Вон она там, в другом углу. Мы ею шторы раздвигаем.

А Брянская не звонит. Зато звонит Настя.

— Как ты там? Ты все еще неважно себя чувствуешь?

— Нет, я уже поправился, вполне поправился. И у меня хорошая новость — в книгу добавляют стихи. Бумага нашлась!

— Ну-у! Поздравляю тебя, мой дорогой! Поздравляю, поздравляю! Есть еще справедливость на свете! Сохранились еще ее остатки! Ликую вместе с тобой! А я взяла билеты в Малый оперный на балеты Стравинского — на «Петрушку» и «Весну священную». Кажется, ты их не видел?

— Нет, не видел. Спасибо, что взяла. Ты у меня, Настасья, молодчина! Если б не ты, я нигде бы не побывал и ни черта бы не увидел. Ты меня шевелишь и не даешь мне уснуть. Ты у меня прелесть, Настасья! Ты у меня просто сокровище!

Иду по набережной канала. Снег уже растаял. Множество воробьев расселось на ветках тополей и на чугунной ограде. Они неумолчно, громко верещат. Радуются весне.

Останавливаюсь у моста, у того самого моста. Гляжу на мост.

По мосту проезжает «скорая помощь» с красным крестом на боку. По мосту проезжает огромный, длинный автофургон с финскими яйцами. По мосту проносится красивый, новенький красный мотоцикл. За рулем сидит парень в какой-то невиданной куртке со множеством карманов, застежек и пряжек и в роскошном красном шлеме с прозрачным козырьком. На лице у парня большие очки. Парень похож на инопланетянина. За его спиной сидит девица в такой же куртке, в таком же шлеме и в таких же очках. Она тоже инопланетянка. О ее принадлежности к прекрасному полу свидетельствуют ее длинные льняные волосы, которые выпущены из-под шлема и развеваются, как знамя, у нее за плечами. По мосту проезжает телега, запряженная громадным, откормленным битюгом с толстыми лохматыми ногами и длинной гривой, будто сошедшим с полотна Васнецова. Битюг светло-коричневый, а грива у него совсем светлая, как волосы прелестной мотоциклистки. Упряжь на битюге великолепная. Широкие кисти свисают до самой земли. «Надо же! — думаю.— Оказывается, есть еще в городе такие лошади и такая упряжь!» Но телега, которую шутя влечет за собою удивительное животное, до крайности примитивна: просто голая, плоская деревянная платформа на вполне современных колесах с резиновыми шинами. На телеге несколько ящиков с картошкой. А возница и вовсе невзрачен. Он в каком-то бесформенном, бесцветном, грязном балахоне. Из-под капюшона торчат рыжая, всклокоченная бороденка и кончик недокуренной сигареты.

Проводив взглядом телегу, перехожу мост и со страхом приближаюсь к знакомому, стилизованному под Растрелли фасаду. Двери закрыты. Ворота — тоже. Шторы на окнах опущены. Никаких признаков жизни.

Стою на набережной и, опершись на ограду, гляжу на фасад. Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать пять. Вот, кажется, одна штора зашевелилась, кажется, даже приподнялась... Нет, это только кажет-

ся. Все неподвижно. Подойти к парадному и позвонить?

Набравшись духу, подымаюсь по ступеням, подхожу к двери, останавливаюсь в нерешительности. Наконец берусь за медную ручку звонка и дергаю ее. За дверью тихо. Еще и еще раз дергаю.

За дверью послышалось какое-то постукивание. Потом что-то звякнуло. Дверь приоткрылась. Из нее высунулась голова швейцара.

— Ксению Владимировну... госпожу Брянскую можно видеть?

Швейцар долго и бессмысленно смотрел на меня, беззвучно шевеля тонкими губами.

— Их высокоблагородие в отсутствии. В отъезде изволят быть.

— А когда она вернется?

— Не могу знать!

Голова исчезла. Дверь затворилась. За дверью снова звякнуло.

Спускаюсь с крыльца, отхожу к ограде, опять гляжу на фасад. Шторы на окнах по-прежнему недвижимы.

Бесцельно шатаюсь по городу, захожу в магазины, разглядываю лежащий на прилавках товар, интересуюсь, сколько он стоит, любуюсь хорошенькими продавщицами, пью пиво у ларьков, подолгу торчу на перекрестках, размышляя, куда мне идти — прямо, налево или направо, захожу во дворы, гляжу на брандмауэры, наблюдаю за играми детей, подымаюсь по незнакомым лестницам и рассматриваю остатки витражей на лестничных площадках. Внезапно обнаруживается, что я на Лиговке и предо мною «Голубой жираф», то есть кафе-мороженое № 61 Городского управления общественного питания. В кафе входят обыкновенные, вполне современные люди. Точно такие же люди из него выходят. Нет смысла туда заглядывать. Нет смысла огорчаться понапрасну.

Иду дальше. Отхожу от кафе метров на сто. Вдруг останавливаюсь, поворачиваюсь, бегом возвращаюсь, рывком открываю дверь, сбегаю вниз по деревянной лесенке и внимательно озираю помещение.

Стены не голубые, а желтые. Столы и стулья алюминиевые. Стойка — тоже. Голубого жирафа нет. Самовара нет. Граммофона нет. Чайников нет. За стойкой не Ковыряхин в синей рубахе с белой подпояской,

а пухлая блондинка в зеленом платье и белом переднике.

Подхожу к стойке. Блондинка наливает мне стакан гурджаани. Сажусь за ближайший столик, медленно пью.

...Не позвонила и уехала. Куда-то зачем-то уехала. А ведь не говорила, что собирается уезжать. Надолго ли уехала и далеко ли? Одна или с кем-то уехала? По делу или просто так уехала? Хорошее вино гурджаани. В меру кислое, в меру терпкое и с тонким ароматом. Отличное вино гурджаани. А ведь сказала: «Позвоню непременно!» И я поверил. Доверчив я, как ребенок. «Но ваши стихи!.. Они подхватывают меня под руки и куда-то уводят». Будто трудно было позвонить и сказать два слова. Мол, уезжаю, скоро вернусь, когда приеду — позвоню. Тоже мне фифа! Наивен я, как малое дитя. Прекрасное вино гурджаани.

Выхожу на улицу, иду дальше, неведомо куда. За моей спиной — топот: кто-то бежит, кто-то торопится. Оглядываюсь — Ковыряхин! Без пальто, без шапки, в ультрамариновой своей рубахе!

— Ох, еле-еле догнал вас, сударь!

— Матвей Матвеич! Голубчик! Это вы! Как я рад, дорогой мой! Как я рад! Значит... А я-то думал...

Обнимаю трактирщика, и с нежностью гляжу в его невзрачное, топорное лицо, и готов расцеловать его с любовью.

— У меня к вам, сударь, порученьице. От нее, от богини нашей. Велела передать, если заглянете ненароком в «Жирафа», что она уехала по срочному делу в Москву на недельку или того менее. Вернется и тут же, без промедления, будет вам телефонировать. Слава богу, я вас догнал-с!

— А когда уехала-то?

— Позавчера-с.

Стою у подъезда Малого оперного. Жду Настю. Подкатывают такси. Из них выходят прилично одетые, степенные мужчины и принаряженные женщины. Подъезжает заграничный автобус. Из него высыпает публика, одетая на удивленье небрежно. Эти люди почему-то очень веселы. Они хохочут, громко разговаривают и энергично жестикулируют. «Пьяные, что ли?» — думаю я.

Подъезжает еще одно такси. Из него выскакивает Настя. Она элегантна до неправдоподобия и хороша до невероятности. Иностранцы затихают и смотрят на нее. Смотрят, как она божественной походкой приближается ко мне, как снимает перчатку и сует мне руку для поцелуя. Не обращая внимания на замешательство иноземцев, но притом явно чувствуя на себе их восхищенные взгляды, Настасья берет меня под руку, и мы направляемся к дверям театра.

В гардеробе, отдав мне пальто, шарф и шапочку, Настя долго поправляет перед зеркалом прическу, хотя поправлять-то, собственно, нечего — прическа в полнейшей сохранности. Покупаем программку. Настя тщательно изучает ее и делает комментарии, демонстрирующие ее немалую осведомленность о балете Малого оперного театра. Слышится звонок. Направляемся в зал и отыскиваем свои места в партере. Представление начинается.

Декорации живописны. Костюмы красочны. Музыка изысканна. Арап чудовищен. Балерина грациозна. Петрушка трогателен.

Настя вся розовая от удовольствия. Она непрерывно хлопает. Слежу за нею незаметно. Наслаждаюсь и балетом, и Настей.

— Ты что не аплодируешь? Не нравится? — спрашивает она.

— Нравится. Но ты сегодня мне нравишься больше, чем Стравинский, Бенуа и Фокин, вместе взятые.

— Чудак! — говорит Настасья, явно довольная.— Пришел в театр, а смотришь на меня. Смотри на сцену, я тебя умоляю!

В антракте Настя с аппетитом уплетает мороженое и запивает его шампанским. За соседним столиком сидят наши знакомые иностранцы. Они что-то говорят по-французски и не спускают с Насти глаз.

...Выходим из театра.

Идем пешком. Вечер теплый, совсем весенний.

Подходим к Настиному парадному. Я останавливаюсь.

— Ты что? — спрашивает Настя.— Пошли, пошли! Еще лишь десять часов!

Я не трогаюсь с места.

— Да что с тобой? — удивляется Настя.— Женька уже спит. Посидим. Ты мне стихи почитаешь. Ты ведь уже давно не читал мне своих стихов.

Я по-прежнему неподвижен.

— В чем дело? — уже тревожится Настасья и внимательно смотрит мне в лицо.

Я гляжу в сторону.

— Ты еще не вполне здоров? Ты еще неважно себя чувствуешь? Или ты устал?

Я как-то по-дурацки молчу. Я чувствую, что выгляжу нелепо, и это начинает меня злить. Настя тащит меня за рукав.

— Ну пошли же, пошли! Чего мы торчим здесь, у парадного, как школьники? Вон соседи уже глядят на нас из окна!

— Я не пойду к тебе, Настасья, сегодня,— говорю я наконец, глядя в асфальт.— Ты уж прости, но сегодня не могу. Мне надо поработать перед сном. Хочется написать о Петрушке. Не о самом, конечно, Петрушке, а о любви. О самоотверженной, пылкой, чистой, настоящей и гибельной любви. Я давно уже не писал ничего подобного. И вот сейчас пришло время... Мне немедленно нужно сесть за стол, сосредоточиться, все остальное забыть, от всего отключиться... Понимаешь? До утра это во мне может не сохраниться, может уйти, растаять, исчезнуть навеки. Такое со мною случалось.

— Ну, если так,— говорит Настя неуверенно.— Только очень жаль, конечно. Очень жаль. Ну, пока!

Настя целует меня и исчезает в открытых дверях парадного.

— Позвони мне завтра или послезавтра! — кричит она уже с лестницы.

Стоя на автобусной остановке, думаю о Стравинском, о французах, о Насте и о Брянской. Вдруг меня осеняет: ведь можно пойти в Музыкальный музей! Там наверняка есть что-нибудь. Какие-нибудь старые афиши, фотографии, журнальные статьи, газетные заметки. Там уж конечно знают дату ее смерти. Однако при чем тут смерть? Какая, к дьяволу, смерть? Я же видел ее! Я ехал с нею в коляске! Я слышал ее живой голос! Я целовал ее руку! Она жива! Она жива-живехонька! Она молода. У нее цветущий вид. Она вовсе не собирается умирать. Никуда я не пойду! И незачем мне знать дату ее смерти. Она будет жить долго-долго. Она еще меня переживет. Дряхлой старушкой будет вспоминать меня, будет рассказывать кому-нибудь: «Был у меня один поклонник. Поэт. Умница и таланта отменного. Только как-то ему не везло. Слишком уж

необычно он писал. И притом был слишком скромен. Его почти не печатали. А теперь и забыли его совершенно. Однажды сидели мы с ним в «Голубом жирафе», он мне и говорит: «Вы долго жить будете, вы удачница, счастливица. Судьба у вас добрая, хорошая». Он все руки мне целовал. Такой был милый!» Впрочем, часовня-то стоит. И построена она не позже середины девятьсот десятых... Может быть, сходить все же в музей?

Влезаю в автобус, беру билет, сажусь у окошка. Кто-то легонько хлопает меня по плечу. Оборачиваюсь — Знобишин. Улыбается. Жмет мне руку.

— Слушай, что с тобой происходит? Звонил несколько раз. То ты нездоров, то тебя дома нет. А я до сих пор в себя не приду. Скажи мне честно: что это была за повозка? И кто это сидел в ней с тобою рядом? Что за краля? Мне, знаешь, показалось — смешно сказать,— что это была... Брянская, собственной персоной! Во всяком случае, дамочка поразительно на нее похожая! Поразительно! Как же прикажешь все это понимать? Я подумал было — киносъемка. Снимают фильм о тех временах, быть может, даже о самой Брянской. Вспомнили ее наконец-то. Но ты-то тут при чем? Ты же еще совсем недавно не знал о ней ни черта. Или ты притворялся? Или ты уже давно ею пленен, давно ею очарован, давно ходишь по ее следам? Стало быть, с тобою ехала актриса, играющая ее роль? Не могла же Брянская воскреснуть? Чего молчишь? Но где разыскали такую актрису? Она же как две капли воды... Феноменально! А кучер каков! Зверь! Колоритнейший тип! Его бы написать. Выдать за какого-нибудь сибирского лесника и выставить. Народ сбежится смотреть. Честное слово! Чего ты все молчишь? Скрытный ты стал какой-то. Завел шашни с покойницей и помалкиваешь. Думаешь, никто не заметит.

— Она не покойница,— говорю я.— Она жива.

— Кто? Брянская?

— Да, Брянская. Она действительно жива. Ей всего лишь тридцать с небольшим. Она дает концерты и ездит по городу в собственной коляске с собственными лошадьми и собственным кучером. Кстати, кучера зовут Дмитрий.

Знобишин криво усмехается. Он явно обижен.

— Ты, старина, всегда относился ко мне ирони-

чески, никогда не воспринимал меня всерьез. И правду ты мне не скажешь. А жаль. Я ведь тебя люблю, ты это знаешь. Я ценю твою живопись и твои стихи — это ты тоже знаешь. И собственная моя цена мне хорошо известна — ты и это отлично знаешь. И я не заслужил твоей иронии, твоего высокомерия. Злой ты какой-то, старина!

Сказав эти слова, Знобишин встает, подходит к двери и, дождавшись остановки, не прощаясь выходит.

«Ну вот,— думаю,— всех я обидел. И Настю, и Знобишина. И сам на Брянскую в обиде. Впрочем, теперь уже нет».

Холостяцкая пирушка у Хорошо знакомого литератора. Помимо хозяина и меня за столом еще двое — Просто знакомый литератор и Еще один знакомый литератор. Оба прозаики. Оба печатаются. Просто знакомый мрачен и грубоват. Еще один знакомый, напротив, весел, вежлив и деликатен.

— А нужна ли, вообще-то, литература? — произносит хозяин, подбрасывая сухое полешко в угасающий огонь давно уже длящейся дружеской беседы.— В наше время литература — анахронизм. Это искусство исчезнувших эпох. Современному человеку некогда читать прозу, потому что он очень занят. Современному человеку не хочется читать поэзию, потому что она далека от его прозаичной жизни. Современному человеку приходится читать только детективы, потому что на них не требуется свободного времени — их читают в метро, на работе и даже в уборной.

— Вот именно! — говорит Просто знакомый.— На хрена мы пишем? Какого... мы просиживаем штаны за этим ...ским занятием? И хоть бы умели что-то писать! Ни... мы не умеем! Не Толстые мы и не Бальзаки!

— Уж это точно,— говорю я,— не Гомеры мы и не Шекспиры.

— Да, конечно, не Фолкнеры мы и не Маркесы! — вздыхает Еще один знакомый.

— Увы, не Бабели мы и не Булгаковы! — заключает Хорошо знакомый.— На кой леший мы портим бумагу и изводим древесину? Право на существование имеет сейчас лишь прикладная литература. Надо писать сценарии для кино или куплеты для эстрадных песен.

— Ясное дело, с литературой надо кончать, к растакой ее матери! — хрипит Просто знакомый и ловко выплескивает себе в рот содержимое стакана.

— Нет, не скажите! — мягко возражает Еще один знакомый литератор.— Не стоит упрощать ситуацию. Читатель есть. Его, быть может, не так уж много, но он неплох. Он способен многое понять и способен на благодарность. Я, к примеру, частенько получаю письма от своих читателей и читательниц и вижу, что они в целом понимают меня. И могу признаться, это приятно, это чертовски приятно — знать, что тебя читают и воспринимают как надо.

— Кретины они, твои читатели и почитатели! — рявкает Просто знакомый.— Только идиот будет писать незнакомому человеку и пускать слюни от восхищения. Настоящий читатель сдержан, он никогда ничего не пишет. Вот я никаких писем не получаю и не скорблю по этому поводу. Или у меня совсем нет читателей, и леший с ними, или у меня настоящие читатели, а не какие-то там восторженные дуры-девки!

— Не все же девки непременно дуры,— осторожно замечаю я.

— Большинство! — рычит Простой знакомый.— Только единицы кое-что соображают. Знаю я их!

— Но стоит ли так заботиться о читателях? — продолжаю я.— Не достаточно ли уже того, что мы добросовестно трудимся на ниве изящной словесности и стараемся делать свое дело как можно лучше? Давно известно, что читателю столь же необходим талант, как и писателю. Будем уповать на одаренного, умного, духовно развитого незаурядного читателя.

— Писать для избранных — пижонство! — выкрикивает Просто знакомый и столь же ловко забрасывает в рот оставшуюся в стакане водку.

— Да, это снобизм! — соглашается с ним Еще один знакомый.

— На мой взгляд, литература для немногих тоже имеет право на существование,— говорит хозяин дома.

— Да на...ать мне на ваших интеллектуалов! — орет Просто знакомый.— Надо писать для нормальных людей!

— Давайте лучше поговорим о женщинах! — предлагаю я.

Но разговор не клеится. Мы расходимся.

Час еще не поздний, и я не тороплюсь домой. Половину пути иду пешком. На мосту останавливаюсь и долго любуюсь закатом. Он необычен. Его композиция и его колорит кажутся тщательно продуманными. Он выглядит, как картина, как работа крупного мастера.

У горизонта, на спокойном, глубоком, благородном пурпуре сияет несколько слитков раскаленного, пышущего жаром золота. Над золотом, как бы прикрывая и оберегая его, висит ровная, прямая горизонтальная полоса чистейшей киновари, а над нею, на бесконечном фоне лимонно-желтого, переходящего в светло-зеленый кадмий, и далее — в берлинскую лазурь, и еще дальше — в ультрамарин, располагаются аккуратно расставленные на одинаковом расстоянии друг от друга небольшие лиловые, чуть подрумяненные снизу облачка.

«Не хватает только рамы,— думаю я,— большой, тяжелой, позолоченной старинной рамы в стиле рококо. И пусть он всегда висит над заливом, этот шедевр».

Не спеша подымаясь по своей лестнице, я прикидываю в уме, когда же закончится эта «неделька или того менее» и когда мне следует ждать телефонного звонка. На батарее, как всегда, поджав под себя лапы, сидит Катя. Проходя мимо, глажу ее по голове. Не открывая глаз и, видимо, не просыпаясь, она томно тянет голову вверх, отвечая на ласку. Так же не спеша открываю дверь, путая ключи, которые плохо видны при свете неяркой лампочки. Вхожу. Включаю свет в прихожей... Запах! Знакомый запах необычных духов! Пряный, сильный, беззастенчивый запах!

На вешалке черное пальто с собольим мехом! Тут же и соболья муфта! Тут же и соболья шапочка с цветком!

В прихожую выходит мама. У нее озадаченный вид. Приблизившись ко мне, она шепчет мне в ухо:

— У тебя гости! То есть гостья. Это та, которая называет тебя господином. Она звонила час тому назад. Я сказала, что ты, наверное, скоро будешь. А через полчаса она явилась. Я даже испугалась. Говорю: «Вы подождите! Он сию минуту придет!» И вот она сидит уже полчаса в твоей комнате, тихо сидит, ее совсем не слышно. Я зашла и говорю: «Вам, наверное, скучно? Давайте я включу проигрыватель? Да-

вайте поставлю голоса птиц? Будете сидеть как в лесу». А она: «Благодарствуйте! Не беспокойтесь, ради бога! Я так посижу». Такая вежливая, деликатная. И слово такое старинное произнесла — «благодарствуйте». Ты знаешь, она похожа на твою бабку, на мою мать в молодости. Такого же фасона платье, такая же прическа. Только бабка твоя не была такой красивой. Я правильно сделала, что пригласила ее остаться? Может быть, я что-нибудь не то...

— То, то! Милая мамуля! — говорю я тоже шепотом.— Ты сделала как раз то, что требовалось, как раз то самое! Ты у меня ужас как сообразительна!

Поглядев на себя в зеркале и ощутив томление под ложечкой, вхожу в комнату.

Она сидела под торшером в моем кресле с раскрытым журналом на коленях. На ней было строгое, плотно обтягивающее фигуру темно-серое платье с буфами на рукавах, с неизменным узким, стоячим воротничком, из-за края которого выступала белая полоска кружев. Никаких украшений, никаких драгоценностей. Только в волосах на самом затылке, где был плотно завязанный большой узел, поблескивал, лучился, брызгался искрами какой-то небольшой, прозрачный камушек.

Она смотрела на меня и улыбалась. Тень от волос падала ей на лоб. Ровные зубы сияли знакомой фарфоровой белизной. Я подошел к ней и поцеловал протянутую мне руку.

— Добрый вечер! — сказала она, не переставая улыбаться.— Где это вы гуляете так долго? И с кем? Небось с одной из своих бесчисленных поклонниц? Она, натурально, молода, наивна, восторженна и прелестна? Не так ли?

— Ну что вы! — ответил я, садясь в другое кресло напротив гостьи.— Мне пришлось провести вечер в обществе довольно нудных мужчин, предаваясь довольно унылым разговорам о литературе. Как выясняется, у меня полностью отсутствует интуиция. Я томился от скуки, но меня не тянуло домой, и никакие предчувствия меня не волновали. Безмерно благодарен за сюрприз. Ковыряхин сказал, что вы пробудете в Москве неделю или больше.

— О да, мои дела могли задержать меня в первопрестольной на неделю. Но, к счастью, они как-то быстренько устроились, и вот я здесь. Временем я не

располагала, но съездила все же на Трубную и выпустила птичку.

— Какую птичку?

— Вы что, не знаете? У москвичей есть такой милый обычай — двадцать пятого марта выпускают на волю комнатных птиц. Если у вас нет своей, вы можете отправиться на Трубную площадь, купить там птаху по своему вкусу и выпустить ее. Не правда ли, это очень трогательно? Я купила щегла. Он, дурачок, испугался и не желал выбираться из клетки. Я его вытащила, посадила на ладонь. Так он, представьте себе, и не думал улетать! Сидит, поглядывает на меня и не улетает! Его небось еще птенчиком поймали, он о свободе и понятия не имел. Потом я его подбросила в воздух, и он упорхнул. Еще подумала: «Может быть, зря я подарила ему свободу? Погибнет он с непривычки на воле-то». Приехала. Позвонила. Ваша матушка любезно сообщила мне, что вы скоро явитесь, но я немножко поторопилась и пришла раньше, чем следовало. У вас милая комната и так много книг! Но ваша квартира несколько тесновата. Почему вы не снимете себе жилище попросторнее?

— Сниму, Ксения Владимировна! Непременно сниму. И в ближайшее же время. Но мне очень неловко, что я заставил вас ждать.

— Полно, полно! Я с удовольствием рассматривала журналы. И еще я разглядывала картины. Они странные, непонятные. Но от них трудно оторваться. Это какой-то невиданный мир. В нем есть что-то знакомое, но он фантастичен. Где-то такой мир, быть может, существует. Мне даже кажется, что он мне однажды снился. Но как удалось художнику его увидеть? И кто он — автор этих полотен? Он ваш друг! Мне захотелось с ним познакомиться!

— Вы угадали,— сказал я, скромно опустив глаза, как благовоспитанная барышня, которой восхищаются впервые увидевшие ее далекие родственники.— Вы угадали, это мой лучший друг, мы дружим с ним прямо-таки с пеленок. Без него я не делаю ни шагу. Он всюду со мной, и это даже немножко надоедает. Он и сейчас здесь.

— Как — здесь? — удивилась Брянская и беспокойно оглянулась.— Я его не вижу. Или он в другой комнате?

— Нет, он здесь. Но он не только мой лучший

друг, но и мой злейший враг, непримиримый, хитрый, опаснейший враг, с которым я тоже едва не с пеленок сражаюсь непрестанно. Боюсь, что в конце концов он меня одолеет.

На лице Брянской появилась нерешительная улыбка. Вот она пропала. Вместо нее на лице уже было недоумение, которое тут же превратилось в изумление.

— О-о! — произнесла она протяжно, и рот ее остался открытым, изображая эту самую букву «о».— Так вы, дружочек, к тому же и живописец! А вот у меня интуиция имеется. Прочитав вашу книжицу, я сразу догадалась, что вы человек примечательный. Ну покажите, покажите мне ваши творения! Сначала я изучала их самостоятельно, а теперь я хочу, чтобы уважаемый автор представил их мне, и дал соответствующие пояснения, и ответил на мои глупые вопросы, и немножко просветил меня в области современного художества. У ваших картин есть названия? Правда? Как интересно! Давайте начнем вот с этой, она мне очень нравится.

— Это «Поклонение».

— Вот так, просто «Поклонение», и все?

— Да, вот так, просто «Поклонение», и все.

— Но кто же и кому здесь поклоняется?

— А разве это важно, кто и кому? Это поклонение вообще. Это, так сказать, суть поклонения. Это поклонение в чистом, оголенном виде, без деталей, без подробностей, без случайных, необязательных черт.

— А ведь и правда! Я, когда увидела, сразу подумала, что здесь чему-то поклоняются. И, между прочим, хорошо, что непонятно чему. От этого какая-то таинственность, какое-то волшебство.

— Ну вот видите! Вы сразу обо всем догадались! Как славно, что вам понятна, да притом и приятна моя живопись!

— А это?

— А это «Прелестная купальщица, или Рождение Венеры».

— Ну, знаете! Хороша Венера! Ни глаз, ни носа, ни ушей, ни волос, ни грудей! Или она изображена со спины? Но тогда должны быть видны эти... выпуклости. А впрочем, заметно все же, что это женщина и она стройна, молода, соблазнительна. Заметно даже, что это не просто женщина, а какая-то особенная, может быть и впрямь богиня. А вода и небо

великолепны! Забавно, забавно. Я никогда не видела подобной живописи. Это какое-то новое направление? Как оно называется?

— У него еще нет названия. Оно недавно возникло. Боюсь, что пока я единственный его представитель.

— Вот как?

Брянская долго смотрела на меня, не произнося ни слова. В глубине ее расширившихся темных зрачков отражался светлый абажур торшера. Потом она отвела взгляд и тряхнула головой. Из почти невидимого камушка на ее макушке вылетел целый сноп разноцветных искр.

— Пошли дальше. А это как называется?

В дверь постучали. Дверь приоткрылась. Показалась мамина голова.

— Я сварю кофе. Или лучше чай?

Вопросительно поглядел на гостью.

— Предпочту чашку крепкого чаю,— сказала она. Мамина голова исчезла.

Обойдя все четыре стены моей комнатушки, мы снова уселись в кресла. Спохватившись, я тут же вскочил, открыл дверцу своего крохотного бара и извлек из него непочатую бутылку венгерского токая, две рюмки и вазочку с шоколадными конфетами. Все это было поставлено на журнальный столик.

— Вы всегда поклонниц так угощаете?

— Как — так?

— Вином и конфетами.

— Нет, не всегда. В зависимости от обстоятельств.

— Какие же случаются обстоятельства?

— А вы, оказывается, любопытны!

— Все женщины любопытны, как кошки. Некоторые даже любопытнее.

— Ну, например, в зависимости от содержания кошелька.

— И он часто бывает пуст?

— Нет, не часто. Но и такое случается. А вы, кажется, богаты?

— Да, не бедна, грех жаловаться. Но в молодости и я копейки считала.

— Разве вы уже старушка?

— Не старушка, натурально, но и не девчонка. Дама бальзаковского возраста. Мне тридцать четыре.

— А как пришел к вам успех?

— Не знаю. Я никогда не думала об этом. Как-то все само собой получилось. Сначала была фигуранткой в оперетке. После позволили мне петь на сцене один-единственный куплет. Потом рискнули и разрешили спеть целый романс. Кое-кому понравилось. Предложили учиться. Я сызмальства была миленькой, а в двадцать сделалась настоящей красавицей. Ни один мужчина не мог пройти мимо, не споткнувшись. Появились поклонники. Появились покровители. Правда, я и сама работала, как лошадь. Мне хотелось стать настоящей певицей. Мне хотелось славы. Покровителей становилось все больше. Они расчищали мне дорогу. И я шла по этой дороге, вернее, по этой лестнице, все выше и выше. Устроили первый концерт — успех. Потом — сразу несколько концертов и еще больший успех. Потом — приглашения в эстрадные театры. Потом — первая гастроль в провинции. Меня заметили, обо мне заговорили. Дальше все пошло как по маслу — цветы, деньги, бриллианты, беснование публики. Мужчины предо мной пресмыкаются. Даже противно. Женщины меня боятся и втайне ненавидят от зависти. Дуры. Газеты то восторгаются мною, то издеваются надо мной. И все меня знают. Я получила то, что хотела.

Брянская поднесла руку к волосам и положила на журнальный столик рядом с бутылкой токая длинную, тонкую золотую булавку с тем самым скромным на вид, совсем бесцветным камушком, который обладал странной способностью вдруг вспыхивать, играть лучами и сыпать разноцветными искрами.

— Вот, возьмите. Этого вам хватит на поклонниц. Но не балуйте их, будьте сдержанны. Я ревнива.

— Да что вы! — сказал я.— Не так уж я беден. Вы меня обижаете!

— Не валяйте дурака! За ваши стихи и за ваши картины вам должны платить многие тысячи. Не платят по недомыслию. А я плачу. Я покупаю у вас «Поклонение». Вы можете продать мне эту работу? По знакомству, приватно? Булавка стоит пять тысяч. Я сразу делаю все дела, не откладывая. Денег у меня с собою нет, только на извозчика хватит. И я плачу булавкой. Согласны? Утром пришлю Дмитрия, он картину заберет.

Я налил в рюмки токай.

— Век не пила этого вина, а ведь оно мне нравит-

ся,— сказала Брянская.— Жаль, что мне можно только рюмку: вредно для голоса. Я пью за ваш талант, вернее, за ваши таланты. Дай бог вам успеха! Вы его давно заслужили!

— Спасибо! — сказал я и медленно выпил вино, глядя в смеющиеся глаза своей нежданной гостьи.— А признайтесь, милая Ксения Владимировна, милая Ксения — можно, я буду вас так называть? — а признайтесь: вам не хочется петь в опере? Ведь у вас сильный, большой, оперный голос! Вам не жалко тратить его на цыганщину?

Глаза Ксении стали серьезными.

— Хочется, конечно хочется. Кому же не хочется оказаться на оперной сцене? Я уже пробовала. Хлопают для приличия и тут же требуют романсов. Публика не способна воспринимать арии в моем исполнении. Она привыкла к моему эстрадному стилю — к задушевности, к томности, к страстности, ко всяким голосовым эффектам. Я сама приучила публику к этому. Я сама виновата. Отучить будет трудно. К тому же я избалована успехом. Я уже не могу обходиться без этого грохота аплодисментов, без этих воплей «браво», без этой лавины цветов, которая меня непрестанно засыпает. Но не будем сейчас об этом. У меня еще остался токай, а вы себе налейте. Давайте выпьем за нашу дружбу. Ведь мы с вами подружились, не правда ли? Мне давно хотелось иметь друга — мужчину. С женщинами дружить скучно. А мужчины мгновенно признаются мне в любви. Прямо тоска. Хоть бы один устоял! Вы устоите?

— Постараюсь,— ответил я, немного погрустнев,— хотя не все от меня зависит. Если вы будете слишком соблазнительны, если вы будете вести себя неосторожно, я могу и не устоять.

— А вы стисните зубы и держитесь изо всех сил!

— Даю слово! Стисну зубы и буду крепиться изо всей мочи!

— Ну вот и прекрасно! Я на вас надеюсь.

А после мы пили чай. И Ксения ела варенье, и причмокивала от удовольствия, и облизывалась, и попросила, чтобы я положил ей еще.

— Кажется, час уже поздний, я у вас засиделась,— сказала она, посмотрев на мой будильник.— Проводите меня до извозчика. Дмитрия я отпустила, знала, что задержусь.

Мы вышли в прихожую. Подавая Ксении пальто, я глядел на тонкие колечки волос, выбившиеся из ее прически и лежавшие на нежной белой шее за ушами.

— Застегните мне, пожалуйста, воротник! — попросила она.— Вот здесь, сбоку. Крючочек слишком маленький, плохо застегивается.

Почти касаясь пальцами розовой мочки ее уха, я застегнул упрямый крючок.

Вышли на улицу. Она оказалась совершенно незнакомой. Мостовая была булыжной. Тротуары были выложены плитняком. Дома стояли редко. Между ними тянулись дощатые заборы. Столь же редко поставленные старинные фонари горели неярко, как бы для себя, почти ничего не освещая. Однако было довольно светло. С неба струился мягкий, рассеянный свет. То ли за облаками пряталась луна, то ли уже начинались белые ночи, которые тихонько подкрались к городу и поселились в нем, оставаясь до поры до времени незамеченными. Где-то вдалеке прогрохотал трамвай. На углу стояла извозчичья пролетка.

— Эй, извозчик! — крикнул я.

Возница не пошевелился.

— Он уснул,— сказала Ксения.

Подошли к пролетке. Извозчик — молодой, скуластый, веснушчатый парень действительно спал, уронив голову на грудь. Я тронул его за плечо. Он вздрогнул, как-то смешно хрюкнул и поднял голову. Увидев нас, он радостно заулыбался.

— Милости просим, господа хорошие, в наш фаэтон! А далеко ли поскачем?

Я назвал адрес. Мы устроились в пролетке.

— Провожу вас до дому, чтобы не скучно было вам ехать,— сказал я.

— Н-н-но! Проснись, Дуняша! — произнес извозчик и легонько хлестнул по спине свою лошаденку.

Пролетка тронулась. Дуняша шла шагом, не спеша. Видимо, она еще не вполне проснулась.

— Н-н-но-о! — опять сказал возница и ударил лошадь посильнее, она побежала трусцой. Коляска подпрыгивала на булыжниках.

Проехали мимо городового. Он стоял под фонарем. Его усатое, круглое, желтое лицо казалось восковым. «Может быть, городовой и в самом деле сделан из воска? — подумал я.— На ночь ставят таких кукол на

улицах для острастки злоумышленников. А настоящие городовые мирно дрыхнут до утра».

Ксения сидела рядышком. Руки ее, погруженные в муфту, лежали на коленях. Мне хотелось обнять ее за плечи. Мне хотелось поцеловать ее в ухо, в висок, в щеку. «А вы стисните зубы и держитесь изо всех сил». Я стиснул зубы. Я держался.

Пролетку трясло уже поменьше. Булыжник стал более мелким, и уложен он был, кажется, получше. Улицы, по которым мы ехали, были мне уже знакомы. На них стояли знакомые дома, стояли сплошь, тесно прижимаясь друг к другу боками. Заборы почти исчезли. На многих домах виднелись яркие вывески, как тогда на Невском. У подъезда одного из домов стоял смешной, высокий, похожий на карету автомобиль, мерцавший начищенной медью, как ковыряхинский самовар.

— А почему вы не хотите купить автомобиль? — спросил я Ксению.

— Не люблю я автомобилей,— ответила она.— Они железные. А от запаха бензина меня тошнит. То ли дело — лошадка! Она живая, от нее навозцем попахивает. Мне это нравится.

— А у вас один Кавалер?

— Нет, что вы! У меня несколько лошадей. И экипажей штук пять. Но я люблю Кавалера — это красивый, умный, послушный конь. И люблю ту коляску, в которой мы с вами ездили,— она, по-моему, очень мила. Дмитрий хорошо содержит и Кавалера, и коляску. Он добрый, этот Дмитрий. А с виду сущий злодей. Его все боятся. Мне это тоже очень нравится. Он у меня за телохранителя.

Выехали на набережную. Вдоль нее стояли шхуны с убранными парусами и пароходы с высоченными трубами. Моделями таких пароходов я любовался когда-то в Морском музее. Подкатили к знакомому мосту. Он выглядел незнакомо. Быков было больше, а фермы были другие, полегче и поизящнее. При въезде на мост стояла часовня. Около нее торчал еще один городовой. Он тоже был неподвижен. На площади за мостом возвышалась большая, мрачноватая церковь. Около нее обнаружился третий городовой. Этот был явно неподдельный. Он ходил взад и вперед, заложив руки за спину. Сабля его чиркала по булыжнику, издавая неприятный, скрежещущий звук.

— Растяпа! — сказал я.— Подтянул бы ремень. Сабля по камням волочится.

— Вы ошибаетесь, городовой не растяпа! — засмеялась Ксения.— Напротив, он подтянут и даже франтоват. Это же особый шик. Сабля вот так и должна волочиться, вот так и должна дребезжать отвратительно!

Подъехали к дому Ксении. Я полез было в кошелек, но рука моя застыла в нерешительности. Сколько платить? И какими деньгами?

— Что я должен тебе, приятель?

— Три рублика! — поспешно отвечал извозчик.— Днем довез бы я вас, барин, и за два. А ночью, знамо дело, подороже берем.

Я открыл кошелек. В нем лежали ассигнации с гербами Российской империи. «Ну и ну!» — подумал я, ощутив в себе еще не утраченную способность удивляться. «Просто чудеса!» — подумал я и сунул парню голубенькую пятерку.

— Сдачи не надо! — сказал я.

— Спасибо, барин! Спасибо, господин хороший! — запел извозчик.— Дай бог тебе доброго здоровья, а барыне твоей еще пущей красоты, хотя и так у нее красоты предостаточно! Больше-то небось и быть не могёт!

Мы покинули пролетку.

— Э-э-эй, Дуняша! — вскричал парень и, раскрутив конец вожжей, лихо хлестнул ими по заду своей клячонки. Та вдруг вскинула вверх передние копыта и понеслась бодрой рысью, явно намереваясь перейти в галоп.

— Какова, однако, Дуняша-то! — сказал я, провожая глазами пролетку, которая тут же скрылась за углом.

Поднялись по ступеням.

— Спасибо вам за визит!

— А вам спасибо за радушный прием, за картину и за варенье! Ну, поцелуйте меня, что ли, по-дружески!

Я обнял Ксению за плечи. Она запрокинула белое лицо. Темно-красный приоткрытый рот был страшен. И страшны были почти черные, мерцавшие из-под ресниц глаза. Сердце мое опять стало маленьким и тяжелым. Оно прыгало в грудной клетке и больно било по ребрам.

Склонившись над мертвенно-бледным лицом, я при-

коснулся губами к кровавому рту. Поцелуй был долгим. Он длился минуту, а может быть, час, а может быть, год, а может быть, целое столетие. Черт его знает, сколько он длился. «Кажется, это конец,— подумал я,— спастись уже невозможно».

Наконец наши губы разъединились. Ксения молча глядела на меня, вплотную приблизив свое лицо к моему, будто изучая его черты, будто стараясь их запомнить. На сей раз глаза ее были широко раскрыты и выглядели огромными, а губы были плотно сжаты. Помолчав, она взяла меня обеими руками за шею, пригнула мою голову, целомудренно, как-то по-матерински поцеловала в лоб, перекрестила меня и направилась к дверям. Вдруг остановилась, обернулась, помахала муфтой.

— Через неделю в пятницу, в четыре часа я буду в «Жирафе»!

Дверь отворилась и затворилась, проглотив ее тонкую фигуру.

Пройдя по набережной канала, сворачиваю за угол и вижу желтое такси с шашечками на боку. Шофер сам приветливо открывает предо мною дверцу.

— Я решил подождать вас. Машину поймать сейчас трудно, а через двадцать минут мост разведут. Садитесь!

«Какой заботливый, какой обходительный шофер! — думаю я.— И как он похож на извозчика, который с Дуняшей!»

Сажусь рядом с шофером. Мчимся по совсем уже пустынным улицам, взлетаем на горбатых мостах. Сердце — ух! — сладко замирает. «Ага,— думаю,— значит, не вывалилось, как давеча, значит, оно при мне!»

— Ну и женщина была с вами! — говорит вдруг шофер.— Артистка, наверно? Где-то я ее видел, на какой-то открытке. И несовременная она какая-то. Теперь таких нет.

Останавливаемся у моего подъезда. Лезу в кошелек. В нем обыкновенные, современные деньги. Даю шоферу трешку и вылезаю из такси. Шофер тоже вылезает, обегает машину спереди, хватает меня за рукав и сует мне трешку обратно.

— Да вы что! — говорит он.— Вы мне только что дали пятерку, а на счетчике не было и двух рублей!

— Какой вы! — говорю я и кладу трешку в кар-

ман. Такси уезжает. «То есть как — дал? — спохватываюсь.— Я же извозчику заплатил пятерку, а не ему! И где он видел меня с Ксенией? Ничего не поймешь! Все перепуталось!»

Просыпаюсь часов в восемь. Просыпаюсь с испугом — опоздал на службу! Но вспоминаю с облегчением — сегодня день не служебный. А вчера я, кажется, поздно лег... Тут я сажусь в постели и окончательно пробуждаюсь. В моих ушах звучит голос Ксении: «Где это вы гуляете так долго?.. И кто он, автор этих полотен?.. Вот так, просто «Поклонение», и все?.. Ну, знаете! Хороша Венера!.. Вы всегда поклонниц так угощаете?.. Сначала была фигуранткой в оперетке... Боже! Варенье из черной смородины!.. Застегните мне, пожалуйста, воротник... То ли дело лошадка!.. Вы ошибаетесь, городовой не растяпа!..»

В комнате пахнет ее духами. На журнальном столике лежит ее булавка. Портьеры задернуты. В полумраке алмаз не вспыхивает и не лучится. В полумраке он сдержанно, скромно поблескивает гранями.

После завтрака снимаю со стены «Поклонение» и ставлю картину на пол. Жалко, конечно, с ней расставаться. Даже за двадцать пять тысяч. Но почему Ксении приглянулось именно «Поклонение»? Отхожу в сторону, гляжу на картину издалека. Фу ты черт! Да это же она! Столп загадочного света посередине — это же она сама! Это же ей поклоняются! Это пред нею сгибаются в пояс, пред нею стоят, онемев от восторга! Выходит, что я, еще не зная о ней, написал ее портрет! Она его и купила!

Падаю в кресло и долго сижу перед картиной, вконец озадаченный, обалдевший, с каким-то теплым туманом в голове.

Понемногу придя в себя, начинаю картину упаковывать. Оборачиваю ее большими листами бумаги. Обвязываю ее крепкой бечевкой. Для большей надежности подклеиваю бумагу клеем «Момент», который клеит все и навеки.

Раздается звонок. Выбегаю в прихожую, открываю дверь.

На пороге стоял Дмитрий. Он был прекрасен. Черная баранья шапка с голубым верхом, новенький черный кафтан, подпоясанный знакомым голубым куша-

ком, синие штаны и черные сапоги бутылками. Черная борода лопатой едва не достигала кушака. Черные глаза посверкивали из-под широких, черных же бровей. В руках было кнутовище.

Дмитрий стянул с головы шапку и низко поклонился. «Каков театр! — подумал я, любуясь кучером.— Островский! Лесков! Мельников-Печерский!»

— Здравствуй, Дмитрий! Проходи вот сюда и забирай картину. Она только что упакована. Нести ее надо осторожно, а брать следует за самые края.

Кучер вошел в комнату и остановился в нерешительности, теребя в руках шапку. Кнутовище уже было засунуто за кушак.

— Помочь тебе? — спросил я.

— Ну что вы, барин! Не извольте беспокоиться. Дотащу. Не тяжелая ноша-то.

Он взвалил «Поклонение» на плечо и стал спускаться. Перед нашим подъездом стояла не та коляска, которую я ожидал увидеть. Эта была побольше, погрубее и не такая новая. И не Кавалер был запряжен в нее, а другая лошадь — вороная и не очень стройная, и вроде бы не очень молодая. Вокруг теснились ребятишки. Они сбежались со всего нашего обширного двора и, наверное, из соседних дворов тоже. Некоторые, самые смелые, сидели на сиденье и подпрыгивали, чтобы убедиться в его мягкости. Другие же, как мухи, облепили лошадь, гладили ее по шее и по морде, ощупывали зачем-то копыта и совали ей что-то съестное. Лошади были явно обременительно такое сверхъестественное внимание к ее персоне. Она нервно мотала головой и переступала ногами. Завидя кучера с картиной на плече, ребятишки бросились врассыпную. Один совсем маленький мальчонка, торопясь выбраться из экипажа, зацепился за что-то ногой и повис вниз головой. Его отчаянный рев разнесся под двору. Кое-где приоткрылись окна. Из них высунулись головы женщин.

Дмитрий снял картину с плеча, взял мальчишку за шиворот, оторвал его от коляски и поставил на асфальт. Поглядев на кучера, тот завопил еще громче. Картина была погружена. Кучер сел на облучок и, еще раз сняв шапку, поклонился мне на прощанье. Я помахал ему рукой. Повозка тронулась. Откуда-то снова появились ребятишки. Они окружили экипаж, как почетный эскорт. Они бежали впереди, с боков и

сзади. Они кричали, визжали, свистели и хохотали. Мое (увы, теперь уже не мое) «Поклонение» покачивалось на сиденье. Дмитрий тихонько ударил вороную вожжой. Ребятишки стали отставать. Проехав ворота, экипаж пропал из виду.

Настя не звонит. Обиделась. Мне немножко совестно. Я все время обижаю Настасью. А она меня любит, а она мне предана, а она меня по театрам водит.

Набираю номер, звоню ей на работу. Мне говорят, что Анастасии Дементьевны нет, потому что у нее сегодня отгул.

Набираю номер, звоню ей домой. К телефону подходит Женька и говорит, что мамы нет дома и он не знает, куда она ушла.

...Странно. Всякий раз, когда у Насти случались отгулы, мы проводили эти дни вместе. Или я к ней приходил, или она ко мне, или мы шли в кино, или отправлялись на какую-нибудь выставку, или мы уезжали за город. И всякий раз она заранее сообщала мне, что у нее будет свободный день. А тут не позвонила, не сообщила и к тому же ушла куда-то. Обиделась.

Через час я звоню снова. К телефону подходит соседка по квартире.

— Ее нет. Позвоните попозже.

Начинаю нервничать. Самолюбие мое уязвлено. Где-то шляется! Будто трудно было позвонить! Будто трудно сказать: мол, пошла туда-то и вернусь тогда-то, мол, не беспокойся, у меня дела. Обиделась! Но разве я не имею права на некоторые причуды, на кое-какие капризы, на легкое и безвредное сумасбродство? Разве поэтическое вдохновение не стоит любовного экстаза? Разве и впрямь не могло у меня возникнуть неодолимое желание немедленно сесть к столу и писать, писать, писать? Не стану я ей больше звонить.

Проходит еще один час, и я звоню опять. К телефону подходит Настя.

— Где это ты шатаешься? Целый день терзаю телефон! Тебя нет ни на работе, ни дома. Куда ты делась?

— Была у портнихи. Она шьет мне брюки.

— Весь день просидела у портнихи?

— Нет. После зашла к подруге. К Шурочке, ты ее знаешь. Потом пробежалась по магазинам. И вообще, я не обязана пред тобой отчитываться. Я не жена твоя, и ты мне не муж.

— Но почему же не позвонила? Я даже не знал об отгуле!

— А ты почему не позвонил? Ты помнишь, я просила тебя позвонить? Я просила позвонить «завтра или послезавтра», а прошло уже две недели. Или ты все эти две недели сочинял свое стихотворение о гибельной, настоящей любви? За это время можно было настрочить поэму, а то и две! Я тебя избаловала. Ты привык, что я непрестанно тебе звоню. Я тебя распустила. Я тебе все прощаю. Я слишком добрая, и мне не хватает самолюбия, недостает гордости. А ты пользуешься моими слабостями, моим мягкосердечием, моей бесхарактерностью. А ты сидишь в своем кресле и ждешь моего очередного звонка. Ты, конечно, гений, но и гении должны быть внимательны к женщинам, особенно к преданным, любящим женщинам! Да, я ужасно тебя распустила, ты совсем отбился от рук. Я с тобой еще наплачусь. Так мне и надо, дурехе! Между прочим, что мы будем делать летом? Куда поедем — на Рижское взморье, в Палангу, в Ялту, в Коктебель? Или, может быть, в Закарпатье? Мы давно там не были.

Я молчу. Покашливаю и молчу. Каждый год мы проводили с Настей наш отпуск вместе.

— Ну что ты молчишь? Что ты кашляешь? Простудился? У тебя бронхит? Или начинается воспаление легких? Надеюсь, что чахотки у тебя еще нет? Попроси матушку, чтобы она поставила тебе горчичники, а еще лучше — банки, и все пройдет. И не пугай меня больше своим кашлем.

— Пока еще рано думать о лете,— говорю я,— время терпит.

— Вот, вот! Я так и знала, что ты не соизволил решить, что ты не соблаговолил подумать, что ты опять все свалил на мои плечи! Опять я должна обо всем думать и все решать! Когда ты придешь ко мне? Или стихи уже вполне заменяют тебе меня? Быть может, они вообще заменяют тебе женщин? Уникальный случай сексуального извращения! Он спит не с женщинами, а со стихами! Кладет их на ночь под по-

душку, и этого ему достаточно! И никаких претензий, никаких укоров, никаких слез, никаких истерик! И никаких забот о возможных последствиях! Великолепно!

— Ну, знаешь! — говорю я.— Это уже слишком! — и вешаю трубку.

На дверях висит табличка:

«Покупка золота и драгоценных камней
производится ежедневно, кроме понедельника
с 10 до 18 часов.
Обеденный перерыв с 13 до 14 часов».

У дверей стоит несколько стульев. На одном из них сидит очень тучная женщина неопределенных лет с сумочкой на коленях. На другом усаживаюсь я. Женщина достает из сумочки носовой платок и громко, старательно сморкается. Аккуратно сложив платок и спрятав его в сумочку, она обращается ко мне с вопросом:

— Вы не знаете, принимают ли здесь жемчуг? У меня от матери осталась нитка натурального жемчуга. Вот надо бы его продать. В одном месте уже была, там не взяли. Послали сюда.

— К сожалению, о жемчуге у меня нет никаких сведений,— отвечаю я.— Вы бы заглянули в эту комнату и спросили. Может быть, вам не стоит и сидеть?

— Да ладно уж, я не спешу,— говорит женщина.

Из дверей выходит статный, высокий старик с палкой в руке. Он выпятил нижнюю губу — явно чем-то расстроен. Женщина скрывается за дверью и через минуту появляется снова.

— И здесь не берут! — произносит она, сокрушенно махнув рукой.

Вхожу. У окна за небольшим столом сидит человек в белом халате, похожий на врача.

— Что у вас?

Вынимаю из кармана булавку и кладу ее на стол.

— Хм,— произносит человек и берет булавку в руку. Он вертит ее в пальцах. Он разглядывает камень на свет. Он рассматривает его в лупу. Снова разглядывает на свет. Снова хватает лупу. Снова хмыкает.— Любопытно! — говорит ювелир.— Оч-чень любопытно! Видите ли,— продолжает он, поглядывая на меня с явным интересом,— это редкая и весьма дорогая вещь. Купить мы ее у вас не сможем. Мы покупаем совре-

менные ювелирные изделия, а эта булавка старинная, если я не ошибаюсь, начала прошлого века, быть может, даже конца позапрошлого. К тому же алмаз очень крупный. Нам разрешено покупать алмазы только до определенного размера, точнее, до определенного веса. Ваш камень намного превосходит нашу норму. Попробуйте обратиться в антикварный. Там есть ювелирный отдел. Не исключено, что примут, если... если у них хватит денег.

Забираю булавку, осторожно кладу ее в карман, выхожу на улицу. Как это понять — «если у них хватит денег»? Неужели булавка такая дорогая? Ксения сказала — пять тысяч. Это много. Никогда в жизни я не держал в руках пяти тысяч. Но ведь это по курсу и на деньги 1908 года! А сейчас это, наверное, и равняется двадцати пяти тысячам — мама не ошиблась. Но разве в антикварном магазине, да к тому же в ювелирном отделе, не наскребут такую сумму? Вполне вероятно, однако, что в девятьсот восьмом булавка стоила больше. Вполне вероятно, что Ксения нарочно не назвала настоящую цену, чтобы меня не смущать. Но какой жест! Не раздумывая, не колеблясь, вытащила из волос и подарила мне целое состояние! А мы с нею и виделись-то всего два раза. Кто я ей?

От волнения у меня горит лицо. Ничего себе — «если у них хватит денег»! Стало быть, это крупный бриллиант, а он показался мне совсем небольшим.

Захожу в скверик, отыскиваю пустую скамейку, сажусь, вытаскиваю булавку, кладу ее на ладонь и долго гляжу на алмаз. В его глубине вспыхивают и гаснут разноцветные огни. Он похож на хрустальную люстру в зале филармонии. Мне даже чудится, что я слышу музыку, какую-то тихую музыку. Кажется, играет струнный оркестр... А если булавку у меня не купят, где я возьму пять тысяч, чтобы вернуть долг? Правда, скоро выйдет книжка, будет гонорар. Но мне заплатят меньше, куда меньше. Нет, пожалуй, сегодня в антикварный я не пойду. Пусть булавка еще побудет у меня. Полюбуюсь ею.

Наступает долгожданная пятница. С утра я на службе. Меня вызывает начальство. Оно говорит мне:

— Надо сделать вот это и вот это к следующей пятнице. Нет, лучше к среде. Нет, ко вторнику. Непременно ко вторнику!

Меня требует к себе другое начальство. Оно говорит мне:

— Надо написать отзыв, подробный, содержательный отзыв вот на эту рукопись. Он должен быть готов через две недели. Нет, через полторы!

Мне передают бумагу от третьего начальства: «Вам надлежит явиться на заседание в четверг. К заседанию подготовьте следующее...»

Мне грустно. Как спастись от надоедливого начальства? Куда бежать, где укрыться от вездесущего начальства? Мне тоскливо. Существует ли какое-нибудь средство от неуемного начальства? Мне одиноко и неуютно. Я беззащитен перед всемогущим начальством.

Расстроенный, покидаю свое учреждение и выпиваю рюмку водки в ближайшей рюмочной. Веселее мне не становится. Ксения скажет: «Сударь, еще далеко не вечер, а от вас уже попахивает! Не ожидала! Вы меня разочаровали. Вы безвольный, слабый человек, раб своих низменных желаний. Вы ничего не добьетесь». Да, что-нибудь такое она и скажет. И я загорюсь от стыда. Я вспыхну и буду гореть от стыда на ее глазах, пока не сгорю весь дотла. «Как быстро сгорел! — удивится Ксения.— Какой был стыдливый!» Пешком двигаюсь в сторону Лиговки. Поглядев на часы, прибавляю шагу. Еще раз взглянув на часы, бросаюсь к трамваю.

Пафнутий меня, кажется, не узнал. Снимая с меня пальто, он громко сопел, приговаривая:

— Вот так! Вот таким манером! Теперь картузик извольте!

В зале было многолюдно. Подбежал Ковыряхин.

— Желаю здравия, сударь!

Взял под локоток, подвел к знакомому столу, усадил на стул, нагнулся к моему уху, прошептал:

— Ксень Вдимна вот-вот прибудут-с! Велите что-нибудь подать?

— Нет, пока не надо. Спасибо.

— Как угодно-с!

Я разглядывал публику.

За соседним столом, подперев щеку рукою, сидел уже изрядно выпивший красномордый детина в черной суконной поддевке и в желтой шелковой косоворотке. Он что-то вяло, без аппетита жевал. Глаза его, наполненные пьяными слезами, остановились на пустом графине. Время от времени он жалостно хлюпал носом.

Далее располагалась компания студентов, кажется путейцев. Они были веселы, смеялись, громко чокались, произносили какие-то тосты.

Еще далее сидел тощий прыщавый юноша с курчавыми рыжими волосами и рыжим пушком на впалых щеках. К нему прижималась некрасивая, плохо причесанная, потасканного вида девица. Она гладила молодого человека по рукаву, а тот был серьезен и на девицу не глядел.

Еще чуть подалее... Тут я увидел Ксению. Она спускалась по лестнице. На ней было то же самое серое платье. На голове была надета черная шляпка с длинной, опущенной на лицо вуалью. Стаскивая с рук перчатки, она прошла между столиков. Я поднялся ей навстречу. Отбросив с лица вуаль, она села рядом со мною.

— Я опоздала, но я не виновата. По Невскому проезжал шведский король, и полиция задерживала все экипажи. От этих августейших гостей одно неудобство.

— Шведский король? — удивился я. Но тут же поправился: — Ах, да! Я и забыл о нем вовсе! Он ведь еще не уехал.

— Говорят, скоро уедет,— сказала Ксения,— счастливого ему пути.

— Что заказать? — спросил я.

— Закажите бутылку легкого вина и апельсинов.

Рядом с нами возник трактирщик.

— Счастлив снова лицезреть вас, несравненнейшая Ксень Вдимна, в своей жалкой харчевне-с! Счастлив видеть вас во здравии и благополучии! — Выслушав заказ, он удалился.

Она сидела, положив подбородок на сцепленные пальцы, и смотрела на меня неподвижными, широко открытыми глазами. Смотрела точно так же, как тогда, на крыльце. Только тогда, ночью, глаза были темными, а сейчас они были светлы.

— Я повесила вашу картину в гостиной на самом

видном месте. Все спрашивают: «Что это? Кто автор?» А я отвечаю: «Догадайтесь!» Все, натурально, заинтригованы. Все теряются в догадках. А вы слышали новость? В Москве наводнение! По улицам плавают на лодках! Представляете? Все думали, что наводнения — это привилегия Питера, и вдруг — в Москве! И ведь совсем еще недавно случилось наводнение в Киеве! Странный какой-то год, тревожный. Не к добру все это.

Вернулся Ковыряхин с подносом. Налил нам в бокалы мозельского. Снова удалился.

— Знаете, вы мне сегодня приснились,— продолжала Ксения.— Будто стоим мы с вами над красивой рекой с высокими зелеными берегами. Река неширокая, но видно, что глубокая,— отмелей нет, камыши у берегов не растут, и вода такая темная, тихая. «Чего же вы хотите?» — спрашиваю я вас. «Я хочу дойти до устья этой реки и узнать, куда она впадает»,— отвечаете вы. «Так идите,— говорю,— кто же вам не велит? Ступайте к устью!» Вы сбегаете вниз по склону и идете вдоль берега. Вы машете мне рукой и уходите все дальше и дальше. И вот вас уже не видно, вас уже нет. «Зачем я его отпустила? — думаю.— Зачем я ему разрешила?» Но вот вы уже возвращаетесь, вы все ближе и ближе. Вы снова машете мне рукой. Вы подымаетесь по зеленому склону. Вы смеетесь. «Ну как,— спрашиваю,— добрались до устья?» — «Нет, не добрался,— отвечаете.— Это очень смешная речка. У нее нет устья, она никуда не впадает. И она никуда не течет. Она неподвижна».— «Так чего же вы теперь-то хотите?» — спрашиваю. И вы говорите: «Я хотел бы прожить остаток жизни на берегу этой речки, которая никуда не течет и никуда не впадает. Я хотел бы бродить по ее берегам и валяться в траве на этих зеленых склонах». Странный сон, не правда ли? И река странная, хотя вроде бы и обыкновенная... И эти высокие зеленые берега... До сих пор они стоят перед глазами. Сегодня здесь много народу, и меня могут узнать. Вон тот студент с бородкой уже поглядывает в мою сторону. Подвиньтесь чуть вправо и закройте меня плечом.

— Вы боитесь публики, которая вас боготворит?

— Да, боюсь. Ее любовь слишком велика. Это жадная, ненасытная, хищная, беспощадная любовь. Публика истязает меня на концертах. Публика охотится

за мною на городских улицах. Публика преследует меня повсюду. Мне от нее не убежать. Мне от нее не спрятаться. Ее восхищение безгранично. Ее восторг безумен. О, как я мечтала когда-то о таком восторге! И я его добилась. Я победила публику, я ее покорила. Я упиваюсь ее восторгом и трепещу перед ним. Временами он поистине страшен. Иногда мне кажется: еще чуть-чуть — и публика растерзает меня, разорвет в клочки, и, захлебываясь, будет лакать мою кровь, и, урча, будет пожирать куски моей плоти. Но все же я не смогла бы жить без моей публики. Она мне необходима. Я тоже хищница, и публика тоже жертва, моя жертва. Я тоже ее мучаю, довожу ее до исступления, до умопомешательства. Я из нее веревки вью. О как мне жалко бывает мою бедную публику, которая беснуется на моих концертах, которая бьется предо мною в истерике, лишенная воли, рассудка, позабывшая все приличия, вопящая, ревущая, стонущая, плачущая, сокрушающая мебель, стучащая ногами об пол и до боли отбивающая себе ладони! «Господи! — думаю я иногда.— Что с нею творится? Неужто это я, слабая, добрая, мягкосердечная женщина, довела ее до такого состояния?» Вот так мы и живем с моею публикой, терзая друг друга. Но что делать? Всевышнему было угодно возложить тяжкое бремя славы на мои хрупкие, узкие плечи. А вас не утомляют восторги ваших читателей?

— Нет, не утомляют. Потому что читатели мои не столь многочисленны.

— Но ведь они, натурально же, пишут вам длинные послания и рассыпаются в комплиментах! Особенно девицы. Ну скажите, скажите мне, сколько у вас корреспонденток? И какие они? Красивые, умные, образованные? Я ревную вас к ним. Я чувствую к ним неприязнь. Это дурно, но я ничего не могу с собой поделать. Если бы могла, я бы их всех оттолкнула в сторону и одна осталась рядом с вами. Вы согласны променять их всех на одну меня? Ладно, ладно, не отвечайте! Натурально, скажете, что согласны. Но я вам, натурально, не поверю.

— Нет, я так не скажу. Мне хотелось бы, чтобы все они по-прежнему писали мне свои письма, хотя то, что говорите вы о моих стихах, меня волнует куда больше. Но если вы предъявите ультиматум, мне придется согласиться.

— Какой вы, однако, хитрый! И жадный! Хотите всего сразу! А я вот возьму и в самом деле предъявлю вам ультиматум: забыть о всех поклонницах и сжечь все их письма! Пепел показать мне! Если имеются фотографии — тоже сжечь!

— Я не верю, что вы столь ревнивы и столь беспощадны.

— И правильно делаете, что не верите. Это я так. Это я в шутку. Пусть пишут. Пусть усердствуют. Пусть пишут как следует, чтобы вам приятно было читать. Но ведь есть, вероятно, и такие, которым нет резона писать, потому что они видят вас, потому что вы встречаетесь с ними, потому что они живут тут, поблизости, в Петербурге? Вот этих я особенно боюсь. От них можно ждать что угодно!

— Есть и такие. Точнее, были и такие. Теперь меня уже не тянет с ними встречаться.

— Это хорошо. Это мне нравится. Это должно продолжаться и впредь. Вот видите, как много я предъявляю вам требований. Стóю ли я того, чтобы им подчиняться?

— Стоите!

— Это меня успокаивает. Сейчас этот юноша, этот студент бросится ко мне с моей фотокарточкой и потребует автограф. Вот он уже шепчется со своими приятелями, и все они смотрят на меня. Пора удирать.

Ксения опустила вуаль. Я положил на стол деньги. Мы поднялись и пошли к выходу. Студент выскочил из-за стола и преградил нам дорогу.

— Одно мгновение, один росчерк, и я буду осчастливлен вами на всю жизнь! — Упав на колено, он протянул Ксении фотографию и карандаш. Не подымая вуали, она расписалась и поставила дату. Когда мы подымались по лестнице, сзади раздались аплодисменты. Я оглянулся. Все четверо студентов стоя аплодировали. «Слава Брянской!» — крикнул тот, что получил автограф. Рыжий молодой человек, позабыв о своей девице, привстал со стула. Задрав подбородок и выпучив глаза, он смотрел на Ксению.

— Вот видите,— сказала она,— мы вовремя ретировались.

У дверей трактира, как я и ожидал, стояла знакомая коляска, в которую был впряжен красавец Кавалер. На облучке восседал величественный и грозный Дмитрий. Я с ним поздоровался.

— Здравия желаю, барин! — степенно пробасил кучер.

Мы ехали по городу. Был отличный солнечный день. Была весна 1908 года. Коляска покачивалась. Копыта Кавалера мягко стучали по торцовой мостовой. «Как быстро я освоился в девятьсот восьмом! — думал я.— Прямо-таки удивительно». Ксения прервала молчание.

— Семнадцатого мая у меня сольный концерт в Павловском вокзале. Начало в семь часов вечера. Вот вам билет. В антракте жду вас в артистической. Конечно, будет полиция. Скажите, что вы адвокат Корецкий,— вас пропустят. После концерта мы можем прогуляться по парку. Запомнили? Адвокат Корецкий!

У антикварного магазина стоит несколько машин. Около входа прохаживаются отлично одетые люди средних лет и неопределенной социальной принадлежности. Держатся они уверенно, с чувством собственной значительности. Их движения плавны, неторопливы и не лишены благородной грации. Их лица спокойны и немного надменны, в меру, не вызывающе, не отталкивающе надменны. Притом они и приветливы, опять-таки в меру.

Остановившись у витрины и делая вид, что разглядываю китайскую фарфоровую вазу с зубастым, когтистым, глазастым, огненно-красным драконом, с любопытством наблюдаю за этими привлекательными людьми. Иногда они подходят друг к другу и о чем-то негромко говорят. Иногда они останавливают входящих в магазин и о чем-то их спрашивают. Время от времени кто-то из них, взяв под руку о чем-то спрошенного, скрывается с ним в ближайшей подворотне. Огненно-красное пучеглазое чудище глядит на меня плотоядно. Я вызываю у него аппетит. Не исключено, что драконы этой породы питаются именно стихотворцами-неудачниками, гонорары которых никогда не достигают пяти тысяч.

Вдоволь налюбовавшись вазой и подмигнув на прощанье дракону, направляюсь ко входу в магазин. Меня тут же ласково берут под руку.

«Что несете?» — спрашивают нежным полушепотом. «Сердце в груди и голову на плечах»,— отвечаю уклончиво. Меня отпускают и что-то говорят мне в спину, но уже не столь нежно.

На двери табличка:

«Принимаются только часы и ювелирные изделия, изготовленные не позже 1910-х годов».

Как раз то, что мне надо! Смело распахиваю дверь. Небольшая комнатушка сплошь заставлена часами всевозможных размеров и фасонов. Все часы тикают. Каждые на свой манер. Остановившись на пороге, внимаю хору разнообразнейших металлических голосов. Хор звучит стройно. Часы явно спелись, стикались. «А хорошо у них получается! — думаю.— Быть может, у них есть дирижер? Быть может, существуют такие дирижеры, которые специализируются на часах? Быть может, имеются и композиторы, сочиняющие часовую музыку? Но почему не устраиваются часовые концерты? Слушатели наверняка бы нашлись».

Старинный стол с львиными лапами на концах ножек. На столе старинная лампа под зеленым абажуром, старинные настольные часы с кокетливо улыбающимся позолоченным Эротом и вполне современный красный телефон. За столом сидит человек в белом халате, точно такой же, как тот, в ювелирном магазине. И обращается он ко мне с точно таким же вопросом: «Что у вас?» Но, увидев булавку, он произносит не «хм» а «о-о-о». Далее следуют уже знакомые мне манипуляции: появляется лупа, камень подносится к самой лампе, отодвигается от нее в тень, снова подносится. Это сопровождается кряхтеньем, сопеньем, причмокиваньем, шмыганьем носом, скрипом стула и постукиваньем ноги об пол, что неплохо вписывается в звучание хора часов. Зорко на меня поглядев, антиквар набирает номер телефона и просит зайти к нему какого-то Федора Филипповича, который немедленно является и оказывается плешивым стариком в больших очках с массивной оправой под черепаху. Он берет двумя пальцами булавку и долго смотрит на нее сквозь очки. После он подымает очки на лоб и смотрит прищурясь, уже без очков. Потом он тоже берет лупу и сразу откладывает ее в сторону.

— Простите за нескромность,— обращается он ко мне,— но каким путем попала к вам эта вещь? Мой вопрос чисто профессионального, так сказать, свойства, поймите меня правильно.

— Это... своего рода семейная реликвия,— отвечаю я, слегка запинаясь.— Но в нашей семье никто уже толком не помнит, откуда она взялась. Кажется, она

принадлежала моей прабабке, которая давным-давно померла. А как она ей досталась, узнать уже невозможно. Впрочем, если бы за это дело взялся профессиональный историк...

— Так, так,— говорит Федор Филиппович, как бы задумавшись.— Стало быть, от прабабки...

Наступает пауза, во время которой я чувствую себя как-то нехорошо. Мне начинает казаться, что я приобрел булавку нечестным путем, что я украл ее где-то, что я кого-то ограбил, а может быть, даже убил, что булавка ни в коем случае не должна мне принадлежать, и то, что она у меня, вопиющая несправедливость.

— Мы не сможем купить у вас булавку,— продолжает Федор Филиппович, глядя на меня испытующе.— Это не просто антиквариат, это ценность музейного масштаба. Предложите ее Эрмитажу. Если они вам откажут, приходите к нам снова. Между прочим, у нас и денег таких сейчас нет. Они появятся недели через две, не раньше.

— Простите меня тоже за нескромность,— говорю я, весь напрягшись,— но сколько же... сколько же она может стоить, хотя бы приблизительно?

— Затрудняюсь вам сказать,— отвечает Федор Филиппович,— право, затрудняюсь. Мне редко попадались вещи такого класса.

— Ну а все-таки? — настаиваю я.

— Ну, если уж вы так хотите, если вам необходимо...— Федор Филиппович снимает очки и тщательно протирает их замшевой тряпочкой, предварительно вынутой из нагрудного кармана пиджака.— Ну, если уж вы так настаиваете... От сорока до шестидесяти тысяч. Полагаю, что на большее алмаз не потянет. Хотя... как знать. Ежели дело дойдет до покупки, нам придется вызвать эксперта из Эрмитажа. Он определит точную цену.

Федор Филиппович медленно и явно нехотя кладет загадочную булавку мне в руку.

— Советую вам быть осторожнее,— добавляет он.— Этот алмаз может причинить вам крупные неприятности. По возможности никому не показывайте булавку. И не ходите с нею по улицам.

«Как интересно! — размышляю я, направляясь к автобусной остановке.— Дьявольски интересно! Ксения не дает мне скучать. Цена сверкающего камушка стремительно растет. Уже шестьдесят тысяч!»

Кто-то трогает меня сзади за плечо. Оглядываюсь, чуточку испугавшись. Рядом стоит тот антиквар, что был в белом халате.

— На минутку! Давайте отойдем в сторону.— Отходим.— У меня к вам деловое предложение. Хотите завтра же получить за булавку три с полтиной?

— Не понимаю,— говорю я.

— Тридцать пять тысяч,— поправляется антиквар.— Я дам вам телефон одного человека. Назначите ему свидание, где хотите. Лучше без свидетелей, конечно. Он придет с деньгами. А с Эрмитажем дело затянется. И вообще, неизвестно, как там все обернется, в Эрмитаже-то. Вам небось придется вспомнить, кто была ваша прабабка.

Благодарю антиквара за предложение, записываю номер телефона. В автобус не сажусь. Долго иду пешком, время от времени оглядываясь. Оглянувшись в последний раз и не заметив ничего подозрительного, кидаюсь в метро. Сидя в вагоне, исподтишка разглядываю соседей: люди как люди, опасений не вызывают. Немного успокаиваюсь, как бы невзначай кладу руку в карман пиджака и нащупываю бесценную булавку. Она на месте.

...Жулику ее продавать не хочется, с жуликами лучше не связываться. А в Эрмитаже и впрямь могут спросить о «прабабушке». Быть может, в Эрмитаже знают о существовании этой булавки? Не исключено, что сохранились фотографии Ксении, где хорошо виден алмаз. Влипну я, как кур в ощип. Лучше раздобыть как-нибудь пять тысяч. Будет гонорар. И часть тех денег, что дала Ксения, я, наверное, не истрачу. Конечно, конечно не истрачу! Как же я сразу не сообразил? Булавку же оставлю себе на память. Ксении скажу, что, слава богу, продал за ... за восемь тысяч. Или за девять. Для большей естественности за девять, а не за десять.

Дома, прежде чем снять пиджак и повесить его на спинку стула, я снова засовываю руку в карман. Он пуст!

Ощупываю пальцами все уголки и складки кармана — пустота! Выворачиваю карман — из него выпадает старый, пожелтевший троллейбусный билет. Выворачиваю все остальные карманы пиджака — булавки нет. Бросаюсь к пальто и обшариваю его карманы. Булавки нет! Сажусь в кресло, вытираю пот со лба и пытаюсь

успокоиться. Что за чертовщина? Что за наваждение? Куда она делась? Украли? Когда? Где? Каким образом? Как удалось?

Закрываю лицо руками и припоминаю еще и еще раз, как ехал в метро, как подымался на эскалаторе, как шел по улице, как шел по двору, как вошел в парадное, как ехал в лифте. Какой я кретин! Ведь сказали мне — будьте осторожны! Ведь предупредили — будьте начеку! Катастрофа — булавка пропала! Караул — булавка исчезла! И никому не скажешь об этом! И в милицию не заявишь.

Хватаю пиджак и трясу его изо всех сил, верчу его так и сяк, подкидываю его к потолку, швыряю его на пол, в ярости кусаю его воротник. Но тщетно. Ничего не вываливается из пиджака. Остается одно — спокойно, без истерики начать все сначала.

Почти спокойно опускаю руку в злосчастный карман. Пальцы скользят по гладкой материи подкладки. Но вот мизинец за что-то зацепился, куда-то провалился. Дырочка! Маленькая дырочка в кармане!

Быстро ощупываю полы пиджака. Вот что-то твердое и продолговатое с утолщением на конце. Она!

Хватаю ножницы, отпарываю подкладку. Булавка с легким звоном падает на пол. Приседаю и смотрю, как спокойненько, скромненько лежит на полу уникальная драгоценность музейного масштаба.

Ночью снятся всякие ужасы. Мне угрожают, меня преследуют, за мною гонятся, в меня стреляют, но, к счастью, не попадают: я бегу зигзагами, не так-то просто меня подстрелить. Погоня продолжается. Пытаюсь спрятаться, но неудачно. В меня снова стреляют и на сей раз попадают в плечо. Я весь в крови. Кровь течет по мне потоком. «Как много во мне крови! — удивляюсь.— Все течет и течет! Когда же она вся вытечет?» Кто-то говорит мне в ухо: «Советую быть осторожнее. Эта кровавая рана может причинить вам крупные неприятности, огромные неприятности, колоссальные неприятности...» И вот я наконец-то прячусь в каком-то темном, пыльном чулане среди ржавых тазов и ведер, среди дров и старых толстых книг в добротных, но грязных переплетах. Открываю один из томов, натыкаюсь на портрет автора и узнаю в нем себя. «Не читают! — думаю с тоской.— Собрание моих сочинений вышвырнули в чулан! На растопку!» От непереносимой жалости к себе просыпаюсь. Приподымаю

голову, гляжу: в ночной темноте на журнальном столике непостижимым образом светится бриллиант. Опускаю ноги с тахты, нащупываю ногами тапки, шлепаю к столику, беру булавку, возвращаюсь к тахте, кладу булавку под подушку и снова ложусь. «Нет, никому ее не продам,— думаю засыпая,— ни за сорок, ни за шестьдесят, ни за сто... ни за двести... ни за пятьсот тысяч ... ни за какие деньги... ни за... какие...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

мая (17 по старому стилю). Шесть часов вечера. Витебский вокзал.

Автомат похож на циклопа. У него один-единственный зеленый глаз (правда, не уверен, что у циклопов были зеленые глаза). Автомат глядит на меня многозначительно, будто намекая на что-то такое, что известно только ему и мне. Кормлю его монетами. Проглотив пятак и два гривенника, он выплевывает мне в руку розовенький билетик до Павловска. Подхожу к большому табло с расписанием пригородных поездов, нахожу нужный мне поезд. «Как раз успею,— думаю,— как раз успею к началу!» Тут же замечаю висящую под табло небольшую бумажку. Читаю:

«Поезда до Павловска на 18.20, 18.48, 19.10 и 19.25
отменяются по техническим причинам».

О проклятье! Я обречен на опозданье! Приеду лишь ко второму отделению! Да и ко второму-то, наверное, не поспеть!

Скрипя зубами от злости, хожу взад и вперед по перрону. Неподалеку кто-то кричит: «Жареные пирожки с капустой! Горячие жареные пирожки с капустой!» Вспоминаю, что с утра ничего не ел, покупаю пару пирожков и с каким-то остервенением их жую. Теперь мне хочется пить. Покидаю вокзал и забираюсь в маленькое привокзальное кафе, битком набитое нетрезвыми мужчинами. Беру бутылку «адмиралтейского» пива и устраиваюсь на уголке высокого, предназна-

ченного для стояния стола. Надо мною на стене висит табличка с тривиальным текстом:

«Приносить с собой и распивать спиртные напитки
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ»

Рядом со мною расположились два приятеля. У одного лицо длинное, носатое, бледное, но уши, как ни странно, ярко-розовые, довольно красивого оттенка. У другого лицо круглое, курносое, кирпично-красное, уши же, как ни поразительно, совершенно белые, какие-то гипсовые, ненастоящие. У длиннолицего голос низкий, хриплый, прокуренный, испитой. У круглолицего же голос высокий и на удивленье чистый. Водка находится в кармане у длиннолицего. Не вынимая бутылку из кармана и прикрываясь пиджачной полой, он ловко разливает водку в стаканы. Приятели чокаются, пьют, крякают, проводят рукавами по губам и закусывают размазанной по тарелкам кабачковой икрой совершенно непристойного цвета. Я гляжу то на них, то на пивную пену в своем стакане. Злость моя проходит.

Длиннолицый подмигивает мне дружественно и, распахнув пиджак, тычет пальцем в бутылку.

— Спасибо,— говорю я,— нет настроения.

— Хлопнешь полстакана — и настроение прибежит! — настаивает длиннолицый.

— В другой раз! — говорю и, поглядев на часы, снова отправляюсь на перрон.

Электричка как электричка. Вагоны как вагоны. Пассажиры как пассажиры. Еду. За окнами обычный современный пейзаж. «Напрасно поехал,— думаю,— приеду к шапочному разбору. А после концерта к Ксении будет не пробиться».

Выхожу. Хорошо знакомый вокзал, давно уж не новый, но притом и не старый. Где же здесь поют? Где здесь зрительный зал? Непонятно.

Обхожу вокзал кругом. Захожу внутрь. Вестибюль, залы ожидания, буфет, кассы. Все, как положено. Все, как на обычном вокзале. В недоумении сажусь на скамейку. Ксения, конечно, хороша! Ничего не объяснила! Павловский вокзал, и все! И вдруг меня осеняет: ведь старый вокзал стоял на другом месте, в парке, напротив дворца!

Срываюсь со скамейки, бегом пересекаю вокзальную площадь, торопясь, то и дело переходя на бег, топаю по аллее.

Впереди меня шли двое. На ней было платье знакомого покроя — длиное, узкое в талии, с буфами на плечах. На нем — узкие коротковатые брючки, узкий пиджачок и котелок.

Ага! Вот то, что мне надо!

Обогнал парочку, поспешил дальше. Предо мною уже двигался господин в зеленом чиновничьем мундире и в фуражке, с тростью в руке. Чудесно! Я не ошибся!

Из-за деревьев показался старый вокзал. Я узнал его, я видел его на фотографиях. Он был весь прозрачный, ажурный, почти сплошь стеклянный. У перрона стоял поезд с маленькими смешными вагончиками и с маленьким паровозиком, у которого была, однако, большая толстая труба конусом. Паровозик сердито пыхтел. Белый пар клубился у его колес.

У входа теснилась толпа. Протискался вперед. На крыльце стояли полицейские. Человек шесть или семь. Спросил стоявшую рядом девицу, началось ли уже второе отделение.

— Полчаса как началось, скоро уж кончится,— ответила она.

Из зрительного зала доносился искаженный преградами, еле слышный голос Ксении. Пение прерывалось шумом аплодисментов. Вот аплодисменты стали громче. Они длились долго-долго. Слышались какие-то крики.

— Второе отделение кончилось, сейчас начнется третье,— сказала девица.

— Разве в концерте три отделения? — удивился я.

— Нет, просто Брянская сейчас станет петь на «бис»,— пояснила всезнающая девица.

Я все стоял в толпе перед вокзалом, а Ксения все пела и пела. И аплодисментам не было конца. А паровозик, слышно было, все пыхтел. Он тоже ждал окончания концерта, чтобы отвезти публику в Питер. Но вот он дал гудок, ему надоело ждать. Поезд отправился, а концерт все продолжался. «Сколько же можно петь? — думал я.— Зачем так баловать публику? Зачем ей так потакать? Сама же говорила, что публика ее истязает!»

Наконец аплодисменты стихли. Двери отворились. Люди стали выходить. У всех были возбужденные лица, все что-то говорили и усиленно жестикулировали. «Чего же я здесь стою! — спохватился я.— Надо караулить Ксению у артистического подъезда!» Растолкал толпу, выбрался на волю, обежал здание вокзала

и увидел другую толпу у других дверей. Уже выходили музыканты — сегодня Брянская пела в сопровождении оркестра. Вот музыканты вышли. Толпа притихла.

Почему-то я приготовился увидеть Ксению в чем-то сверкающем. Почему-то мне казалось, что она выйдет на крыльцо, как на сцену. Не удивился бы, наверное, если бы при этом она еще и запела, хотя сегодня она спела уже достаточно. Но Ксения была одета скромно: после концерта она, естественно, переоделась. На ней была коричневая, плотно обтягивающая бедра юбка, коричневая, недлинная, но широкая пелерина с высоким, упиравшимся в подбородок воротничком и коричневая небольшая шляпка с черными матерчатыми цветами. Остановившись на крыльце, она принимала восторги самых страстных, самых фанатичных своих обожателей. Она махала им рукой и посылала воздушные поцелуи. Полицейские, образовав цепь, с трудом сдерживали натиск неистовых поклонников и поклонниц.

Собравшись с силами, энергично работая плечами и локтями, я протиснулся вперед. Ксения заметила меня, заулыбалась мне радостно. Сделав последнее отчаянное усилие, я прорвался к полицейским. Они меня пропустили. Ксения бросилась ко мне.

— Где вы? Что с вами? Что случилось? Я ждала вас в антракте и даже с опозданием начала второе отделение!

— Простите, ради бога! Вины моей нет! Глупая случайность! Отменили сразу четыре поезда! Я слушал вас на улице, кое-что было слышно.

— Жаль, что так вышло. Для вас я бы постаралась. Для вас я бы спела как следует. Давайте убежим в парк!

Взяв меня под руку, Ксения храбро двинулась на толпу. Полицейские расчищали нам проход. Вокруг были лица, множество человеческих лиц — мужских и женских, молодых и старых. Лица были выразительны. Они выражали возбуждение, любопытство, изумление, воодушевление, восхищение, умиление. Лица двигались, колебались, раскачивались, закрывали друг друга. Лица сливались в одно огромное, лишенное конкретных черт, расплывчатое лицо взбудораженной толпы.

Разрезав толпу надвое, мы заторопились. Полицейские нас прикрывали. Ксения подхватила юбку, и мы пустились бежать со всех ног. Ксения хохотала:

— Ой, сейчас я упаду! Сейчас умру! Сердце зашлось! Сто лет так не бегала! Ха-ха-ха! Тысячу лет так не бегала! Ха-ха-ха! Никогда в жизни так не бегала! Ха-ха-ха-ха-ха!

Толпа скрылась за деревьями. Мы перешли на шаг. Наконец, остановились.

— Жарко! — сказала Ксения и сняла шляпку. Расстегнув воротник, она повернулась ко мне спиной и сбросила пелерину мне на руки, оставшись в совсем простой белой кофточке с широкими рукавами.

Медленно шли по безлюдной аллее. Вечер был теплый, светлый, совсем летний. Листва на деревьях была еще негустая, светло-зеленая, прозрачная, а трава была еще невысокой. В траве желтели одуванчики. Несмотря на поздний час, летали бабочки и стрекозы. В кустах свистели и щелкали птицы. В неподвижной, еще не покрывшейся ряской воде Славянки отражался дворец.

— Господи, благодать-то какая! — прошептала Ксения, глубоко вздохнув.— Я все пою и пою, и ничего не замечаю. А на земле весна. Одуванчики цветут, пташки щебечут.

— Вы и впрямь распустили свою публику,— сказал я.— Сколько романсов вы сегодня спели на «бис»?

— Не так много. Восемь романсов. И еще одну небольшую арию из «Летучей мыши».

— Но ведь это же целый концерт! Вместо одного вы дали два концерта в один вечер!

— Увы, я кроткая, покладистая женщина. Они просят, они требуют, они настаивают, они ненасытны. И я пою. Нехорошо отказываться, если просят. Нехорошо упираться, если настаивают. Не по-христиански.

— А ваш муж слушает вас на концертах?

— Слушает. Иногда. Когда не играет в карты.

— Он картежник?

— Да, увлекается. Собственно, он мне уже не муж. Я с ним рассталась, хотя еще и живу с ним в одном доме. Он надеется, что я вернусь. Ходит за мной по пятам, умоляет, унижается, укоряет, угрожает. Но я не вернусь. Жаль, что он этого не понимает.

— Вы его разлюбили?

— Разлюбила. А впрочем, наверное, и не любила никогда. Только казалось мне, что любила. Он хороший, благородный, вполне достойный человек. Но не хватает ему чего-то. Какого-то света в душе. На жизнь он глядит, как на плац для военных учений. К тому же

зверски ревнив. Никого не подпускал ко мне ни на шаг, ни на два шага. Три раза из-за меня стрелялся. Слава богу, никого не убил. Только ухо прострелил своему лучшему другу. Тот на балу слишком долго со мною танцевал, а после слишком усердно целовал мне руку.

Перед нами на фоне зелени белела колоннада Храма Дружбы. Перед нами возвышался прекрасный призрак давно погибшей Эллады.

Из-за колонн выбежали две юные нимфы. Складки хитонов струились по их телам. Смеясь и подпрыгивая, они бежали по лужайке. Останавливались, нагибались, срывали одуванчики. Смеясь и подпрыгивая, бежали дальше, пока не скрылись за пригорком. Оттуда, из-за пригорка, еще слышался их беспечный смех.

— Счастливые нимфы! — сказала Ксения.— Я им завидую.

— Люблю павловский парк,— сказал я.— Здесь мне легко и спокойно, как после смерти, как в Садах блаженных.

— Но вы же еще не пробовали умереть,— улыбнулась Ксения.— Вдруг после смерти вам станет тяжело и тревожно? Вдруг не понравятся вам Сады блаженных?

— Все может быть. Но если обнаружится, что они хоть чуточку похожи на павловский парк, я буду вполне удовлетворен. Однако стало прохладно. Не пора ли нам вспомнить о пелерине?

— Вы правы, уже нежарко,— сказала Ксения, подставляя мне свою спину.

Я задержал руки на ее плечах. Она повернулась. Мы поцеловались.

Солнце уже спряталось за деревья. Птицы пели не умолкая. Над Славянкой повисла тонкая пелена вечернего тумана. В небе над нами распласталось облако необычных очертаний, похожее на того дракона, которого я видел недавно на китайской вазе.

— Какое диковинное облако! — произнесла Ксения, подняв глаза к небу.

— Да, странноватое облако,— согласился я и привлек ее к себе. Мы еще раз поцеловались. Пелерина распахнулась. Ксения прижалась ко мне. Я чувствовал ее грудь под тонкой кофточкой, ее колени под суконной юбкой.

Из-за пригорка выбежали знакомые нимфы. Они

направлялись прямехонько к нам. В руках они держали венки из одуванчиков. Ксения легонько от меня отстранилась. Нимфы приблизились. Одна из них возложила золотой венок на волосы моей возлюбленной (теперь я уже знал, что это она, теперь уже не было в этом сомнений). А другая надела венок на мою голову. Так, с венками на головах, мы и пошли обратно, к вокзалу.

На перроне было еще многолюдно. Я поглядел на часы — половина одиннадцатого. Что это они до сих пор не уехали? Что они здесь околачиваются в столь поздний час?

Едва мы поднялись на перрон, на нас стали оглядываться, за нашими спинами стали шушукаться. Стоявшие вдалеке стали подходить поближе.

— Плохи наши дела! — прошептала Ксения.— Теперь они нас живыми не отпустят. Они ждали. Они знали, что мы вернемся. И полиции уже нет. О господи!

Перед нами появилась девица, та самая, которая стояла рядом со мною в толпе. Молитвенно сложив ладони, она не мигая глядела на Ксению круглыми сумасшедшими глазами.

— Умоляю вас! — простонала она.— Умоляю, умоляю, умоляю вас! Позвольте мне поцеловать край вашей одежды!

Не дождавшись разрешения, девица нагнулась и впилась губами в уголок пелерины. Ксения испуганно отшатнулась, и я увидел совсем рядом лица, те самые лица, которые глядели на нас из толпы час тому назад. Со всех сторон протягивались жадные растопыренные пальцы. Они хватали Ксению за рукава, за плечи, тянулись к волосам, ощупывали ее, как вещь, как куклу.

— Не сметь! — крикнул я.— Опомнитесь! Это безумие!

Рядом возник высокий человек со светлыми волосами. Расставив руки, он стал отодвигать толпу в сторону. «Успокойтесь, господа! Успокойтесь, господа! — повторял он настойчиво.— Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, господа!» «Ковыряхин! — подумал я.— Откуда он взялся?»

Бледная, трясущаяся Ксения сделала резкое движение, и шляпка выпала из ее рук. Это было спасение. Толпа набросилась на шляпку. Слышался треск рвущейся материи и пыхтение потерявших рассудок

почитательниц. В их руках мелькали несчастные черные цветочки. Кому-то досталась подкладка, кому-то — ленточка.

Мы бегом спустились по ступеням и кинулись к ближайшему извозчику.

— Гони! — крикнул я ему.— Живее! В Царское село!

Через час мы были в Питере. На площади перед вокзалом толпилось множество извозчичьих пролеток. Мимо не спеша проползали уже виденные мною допотопные трамваи. Я держал Ксению за руку. Я чувствовал, что она все еще дрожит, все еще не успокоилась. Вдруг она рассмеялась.

— Как они терзали шляпку! Какая прелесть! Все цветочки растащили по одному! Но ты, милый, проявил отвагу и сообразительность! Ты меня спас!

«Но ты, милый»,— повторил я про себя. «Но ты, милый». Стало быть, мы уже на «ты»!

— А знаешь,— продолжала Ксения,— после всех этих увлекательных приключений я ужас как проголодалась! Не поужинать ли нам где-нибудь вместе?

Снова взяли извозчика и отправились в «Европейскую».

У ярко освещенного подъезда гостиницы выстроились в ряд автомобили и экипажи. Вращающаяся дверь пропустила нас в вестибюль. Гардеробщик, поклонившись, принял из моих рук пелерину Ксении. Поглядев в зеркало, я вспомнил о венках из одуванчиков. Мы потеряли венки при бегстве из Павловска. «Жаль,— подумал я,— их следовало сохранить на память».

По устланной ковровой дорожкой лестнице поднялись в ресторан. Свободных мест почти не было. Публика была отборная: золотые погоны, белые крахмальные воротнички, голые спины женщин, запах цветов, духов и дорогих сигар. На эстраде, на фоне большого витража, изображавшего колесницу лучезарного Аполлона, расположился небольшой оркестр — звучали популярные мелодии из оперетт.

Подскочил, изогнувшись, метрдотель во фраке. Посмотрел на Ксению с затаенным восторгом. Конечно, узнал.

— Господа, вполне свободных столиков, к моему

величайшему огорчению, нет! Прошу следовать за мной!

Усадил нас рядом с юной парочкой. Молодой человек был с тонкими чертами лица, с высоким бледным лбом. У барышни были иссиня-черные тяжелые волосы и темные усики над уголками нежного рта. Взглянув на Ксению, молодые люди покрылись румянцем и опустили глаза. И все время, пока мы сидели пред ними, они молчали, лишь изредка произнося шепотом отдельные слова. «Черт подери! — подумал я.— Все ее тут же узнают, все млеют, обмирают, краснеют, бледнеют, а после начинают кидаться на нее, как дикие звери!»

Метрдотель подал карточку. Я заказал шампанского, самого дорогого французского коньяку, каких-то немыслимых закусок, каких-то неведомых блюд, ананасов, шоколаду и еще чего-то.

Метр ушел, но тут же вернулся с большим букетом белых гвоздик в высокой хрустальной вазе. Ваза была поставлена перед нами.

— От кого? — спросила Ксения.

— Не велено сообщать! — потупясь, ответствовал метр.

«Ну вот,— подумал я,— конца этому не видно!»

Появился официант с подносом. За ним следовал второй, тоже с подносом. За вторым показался третий, естественно, с подносом. Весь стол был заставлен бутылками, тарелками, соусниками, салатницами... Мне стало неловко — молодые люди ужинали скромно, без вина, с сельтерской и кофе.

Снова прибежал метрдотель. Он поставил перед Ксенией узкий хрустальный бокал с каким-то причудливым, серебристым и вроде бы даже неживым цветком. «Орхидея!» — догадался я, совсем помрачнев. Ксения погладила меня по руке.

— Не злись, милый! Ну что поделаешь, если я так знаменита! Это и есть бремя славы. Ты видишь — нигде нет покоя. Не ходить же мне в маске? Но ведь и в маске меня начнут узнавать!

Официант налил в бокалы шампанское. Я глядел, как лопаются в хрустале прозрачные пузырьки. Не о такой ли известности мечтал я в отрочестве? Не о ней ли я бредил в юные годы? Не ее ли я жажду и теперь, переступив черту своего сорокалетия?

— Да, конечно, слава обременительна,— сказал

я.— Без нее живется спокойнее. И все же я хочу выпить за твою славу, радость моя, за нынешнюю и будущую твою славу! За вечную, неувядающую, бессмертную твою славу!

Мы чокнулись и выпили. Девушка с усиками бросила на меня быстрый взгляд. Она изнемогала от любопытства: «Кто этот человек? Кто этот счастливчик? За что удостоен он такой чести?»

Опять появился метр с цветами. На сей раз это был букет нежнейших бледно-желтых нарциссов. На столе места не оказалось. Вазу поставили у ног Ксении. «Что же это делается! — думал я уже весело.— Через полчаса нас не видно будет из-за цветов!»

Неподалеку сидела компания молодых щеголеватых офицеров. Они держались несколько развязно. Пухлогубый стройный блондин с наглыми выпуклыми глазами то и дело оглядывался и беззастенчиво разглядывал Ксению. Я снова стал злиться.

— Если он оглянется еще раз, я подойду и отвешу ему оплеуху! — сказал я сквозь зубы.

— Ты с ума сошел! — громко зашептала Ксения.— Он же застрелит тебя на месте! Или зарубит саблей! Ты не знаешь нравов этих военных!

— Выходит, я должен терпеть его наглость?

— Да не гляди ты на него! Он того не стоит. Глупый, самовлюбленный мальчишка. Я с ним знакома. Он из компании Одинцова. Адъютант. Гвардеец. С очень громкой фамилией.

— И конечно, влюблен в тебя без памяти?

— Натурально, влюблен. Все мужчины в меня влюблены. И ты тоже.

— Ты сравниваешь меня с этим породистым животным?

— Нет, милый, не сравниваю. Успокойся. Давай лучше выпьем за то, чтобы и к тебе пришла заслуженная слава. Она где-то заблудилась, потеряла дорогу. Выпьем, чтобы она больше не блуждала!

Я налил себе коньяку, а метрдотель уже тащил большой букет красных тюльпанов в расписном фаянсовом кувшине. Тюльпаны разместились на полу, рядом с нарциссами. Я сказал:

— А не открыть ли нам цветочный киоск? Куда нам столько цветов?

— Я уже подумала об этом,— ответила Ксения.— Но жалко продавать цветы, я их очень люблю. Лучше

мы откроем книжную лавочку и начнем торговать твоими сочинениями.

— Не возражаю! — согласился я и, выпив коньяк, закусил чем-то невероятно вкусным. То ли это было мясо, то ли это была птица, но, кажется, это была не рыба. И снова приблизился неугомонный метр.

— Ксения Владимировна! Вы наше божество! Мы все в вас души не чаем! Не откажите! Посетители ресторана слезно просят вас спеть романс, один-единственный романс, какой вы сами захотите!

— Придется петь,— вздохнула Ксения,— столько цветов надарили!

Она встала, поправила юбку и волосы и пошла к эстраде. Сияющий, величественный, вполне античный и вполне прекрасный Аполлон несся ей навстречу на квадриге великолепных длинногривых коней. За его плечами подымалось солнце, раздвигавшее клубящиеся облака. «Вот мужчина, достойный Ксении!» — подумал я. Сидевшие за столиками начали привставать и вытягивать шеи. Ксения шла медленно, опустив руки вдоль бедер и слегка покачивая плечами. Ее простая, будничная одежда среди нарядов ресторанных дам выглядела почти изысканно. Взойдя на эстраду, она что-то сказала музыкантам. Те понимающе закивали головами. В зале стало тихо.

— Романс «Мы одни»,— объявила Ксения и запела:

Как благостны, прозрачны вечера!
Как радостны, благоуханны дни!
Как упоительна весенняя пора!
Нас только двое в мире, мы одни!

Я сидел и слушал затаив дыхание. И все в ресторане сидели и слушали не дыша. Только официанты с переброшенными через руку салфетками и импозантный метрдотель в своем безукоризненном фраке слушали стоя у стены, но, разумеется, тоже затаив дыхание.

Послушай — что-то шепчет нам трава.
А вот цветы нам улыбаются — взгляни.
О, как кружится, милый, голова!
Нас только двое в мире, мы одни!

И небосвод бездонно-голубой,
И звезд полуночных бессчетные огни —
Все это, милый, лишь для нас с тобой.
Нас только двое в мире, мы одни!

Ксения спела и поклонилась. Все сидевшие встали и долго хлопали. Я крикнул «браво!», и тут же со всех сторон понеслось: «Браво! Браво! Брависсимо!»

Ксения вернулась, и мы выпили за ее талант, то есть выпил я, а она лишь сделала глоток шампанского. Вслед за этим принесли сразу три больших букета — еще один из гвоздик, только розовых, еще один из нарциссов, только белых, и третий — из чайных роз.

Выбрав самую крупную розу, Ксения протянула ее барышне с усиками.

— Это вам! Вы очень милы! Вы мне нравитесь!

Девица вся зарделась, щеки и уши ее запылали, глаза увлажнились, рот приоткрылся. Видимо, она намеревалась произнести слова благодарности, но у нее это не вышло. Погрузив лицо в желто-фиолетовые лепестки, она замерла.

— Спасибо! — сказал за нее молодой человек.— Мы сохраним эту розу до конца наших дней!

Я позвал официанта. Он выписал счет. Я положил на стол несколько бумажек. Ксения взяла счет, пробежала его глазами, отобрала три четвертных, а остальные деньги сложила и сунула мне в карман.

— Откуда у тебя этот купеческий шик? — сказала она сердито.

— Найдите нам, пожалуйста, извозчика поприличнее! — обратился я к официанту.

— Будет сделано! — ответил тот и поспешно направился к выходу, но тотчас вернулся:

— А не желаете ли таксомотор? У гостиницы как раз стоянка.

— Так уж и быть, прокатимся разочек на автомобиле! — покорилась Ксения.

Шофер открыл перед нами дверцу. Уселись на мягкое сиденье с высокой, как у дивана, спинкой. Официант притащил огромную охапку цветов и положил ее рядом с нами. Ксения зевнула и склонила голову мне на плечо.

— Я все пою и пою,— забормотала она в полудреме,— мне все хлопают и хлопают... И не надоело им хлопать... И не наскучили им мои романсы... И не противно мне еще петь... Куда мы едем? — спросила она, подняв голову.

— Ко мне,— ответил я.— Куда же нам еще ехать?

— И правда,— послушно согласилась Ксения,—

куда же нам еще ехать? А твоя матушка? — спросила она опять и опять подняла голову.

— Матушка на даче, уже неделя как на даче.

— У тебя славная матушка! — сказала Ксения.

Вошли в квартиру. Я положил цветы на стул в прихожей. Несколько тюльпанов упало на пол. Подойдя к Ксении, я снял с нее пелерину. Потом я обнял ее. Целуя, я почувствовал, как послушно ее тонкое мягкое тело. Провел Ксению в комнату, усадил в кресло.

— Я совсем засыпаю,— сказала она и закрыла глаза.

Пошел в ванную, взял большой таз для стирки белья, налил в него воды, принес из прихожей цветы и поставил их в воду. Получился гигантский разноцветный букет. Притащил таз в комнату, водрузил его на письменный стол. Ксения открыла глаза и вскрикнула:

— Ой, что это?

— Это твои честно заработанные цветы,— ответил я и принялся стелить постель на тахте. Постелив, поднял Ксению и поставил ее на ноги.

— Милый,— шептала она,— ты прости, что я такая сонная, такая квелая. Я так устала, я так нервничала там... в Павловске... на перроне. Я так перепугалась. Они ведь... они совсем обезумели, совсем... озверели... Какой это был ужас! Какой... ужас!

Дрожащими пальцами я стал расстегивать ее кофточку, но она почему-то не расстегивалась. Ксения тихо смеялась:

— Ну вот, какой ты у меня неловкий! Ты совсем не умеешь раздевать женщин! Это хорошо. Это значит, что ты чистый, что ты... не распутник. Сейчас я сама.

Ничуть меня не стесняясь, она принялась раздеваться, аккуратно складывая одежду на кресло. И вот на ней остались только чулки, черные ажурные чулки с узкими синими подвязками. Она повернулась ко мне лицом. Я прищурился — ее нагота слепила.

Глубокие ямки ключиц. Небольшие, совсем девичьи груди с розовыми сосками. Мягкая округлость живота. Маленький пупок. Упругие, но плавные линии бедер. Темный, ровный треугольник лобка. Чистая, гладкая, белая кожа...

— Ну как, не безобразное ли у меня тело, не

старое ли оно? — спросила Ксения.— Может быть, тебе нравятся женщины в другом стиле?

...Ночь была бредовая, фантастическая, непереносимая. На меня обрушилась вся сила женственности — этой непобедимой слабости, этой необоримой мягкости, этой бесстрашной робости, этой неотразимой покорности. Я блуждал в знакомом и неведомом — натыкался на податливые преграды, проваливался в манящие пропасти, скользил по гладким пологим склонам, взбегал на крутые высокие холмы и повисал над бесконечными неоглядными равнинами. Я терял рассудок и обретал его снова. Я распадался на куски и тут же сливался воедино. Я покидал себя и тотчас в себя возвращался. Я исчезал и возникал заново. Во мне что-то вспыхивало и гасло. Я горел, как маяк над ночным морем. Я корчился от счастья. Хорошо знакомая мне грамматика любви вдруг усложнилась до невероятия. Мне открылось, что в сакральных текстах Эроса я читал до сих пор не главы и даже не фразы, а лишь отдельные бессвязные слова. Непостижимая сложность нежности предстала предо мною. И в этой непостижимости поджидало меня упоение на грани безумия и гибели.

Под утро я проснулся. Было уже светло. Я увидел на стенах свои картины. Я увидел книжный шкаф и в нем, за стеклом, мои книги. Я увидел свою простенькую, дешевенькую люстру, свисающую с потолка. Я увидел знакомое пятно на потолке. Повернувшись на бок, я увидел совсем рядом лицо Ксении. Она крепко, мирно спала. Дыхания ее не было слышно. Бледное лицо казалось мраморным, но на виске еле заметно пульсировала голубая жилка и ноздри чуть-чуть шевелились в такт дыханию.

Сердце мое заныло от любви и восторга. Полчаса я пролежал неподвижно, боясь пошевелиться. Потом я тихонько встал, на цыпочках подошел к креслу и стал разглядывать то, что на нем лежало. Подобных предметов женского туалета я никогда не видел, разве что на рекламе в старинных журналах и иногда, мельком, в кино.

Нижняя юбка, белая, длинная, с кружевами по подолу. Сорочка, тоже белая, тонкая, с узкими лямочками, с кружевными прошивками на груди и на боках. Панталончики. Трогательные, какие-то детские, доволь-

но длинные бледно-голубые панталончики, почти сплошь кружевные.

А где же корсет? Неужели в девятьсот восьмом женщины уже не носили корсетов? Впрочем, певицы, наверное, их вообще никогда не надевали — давит на грудь, затрудняет дыхание. Да, конечно, певицы не должны были их носить!

Возвратился в постель. Снова стал глядеть на мраморное лицо. Незаметно заснул. Когда проснулся, Ксения глядела на меня и улыбалась.

— С добрым утром, милый! — сказала она и поцеловала меня в переносицу.

— С добрым утром, моя радость! — сказал я и поцеловал ее в уголок рта.

Уже одетые, сидели за журнальным столиком и пили кофе.

— Будто ты жена моя! — сказал я.

— А разве это не так? — ответила Ксения и поглядела на меня как-то строго.— Пред богом я теперь жена твоя, хотя мы и не венчаны, хотя с Одинцовым я еще не разведена, хотя еще никто на свете не знает о том, что случилось сегодня ночью на этой тахте. Между прочим, она довольно мягкая, но не мешало бы ей быть немножко пошире. Забыла сказать тебе, милый: скоро я опять уеду по делам в Москву, мне заказали там несколько концертов. А из Москвы я собираюсь направиться прямо в Крым — надо как следует отдохнуть перед гастролями в приволжских городах, где меня давненько поджидают. А ты не хочешь понежиться в Ялте? У меня там есть небольшая дача. Приютить тебя я, к сожалению, не смогу — может нагрянуть мой бывший супруг с приятелями. Но ты устроишься в каком-нибудь приличном пансионе. Их там великое множество, на любой вкус и на любой карман.

— Да, да,— встрепенулся я,— мне уже обещали путевку... то есть место в специальном пансионе для литераторов! И как раз на это время!

— А я и не знала, что бывают такие пансионы! — удивилась Ксения.— Вот и чудесно!

Пелерина была надета.

— Какое бесстыдство! — усмехнулась Ксения.— Возвращаюсь домой утром и к тому же без шляпки.

— А цветы? — спросил я.

— Пусть остаются здесь и напоминают обо мне!

Довез ее на извозчике до дому.

— Я напишу тебе из Москвы, дай мне твой адрес,— сказала она.

Вырвав листок из записной книжки, записал адрес. Ксения сложила листок и спрятала его в маленький кармашек на юбке.

Долго стою перед ее домом. Шторы на окнах, как всегда, опущены. Упитанные гипсовые купидоны, сидящие над окнами, поглядывают на меня с ухмылкой.

В душе моей полнейший разгром. Все сдвинуто с места, все разбросано, разворочено, опрокинуто, смято, скомкано, перевернуто вверх дном, вывернуто наизнанку, рассыпано, перемешано и перепутано. Все двери и дверцы распахнуты настежь. Все ящики, шкатулки и коробки пусты — их содержимое свалено в кучу. С ужасом гляжу на свою разоренную душу. Что же мне с нею делать?

Все еще торчу перед домом Ксении. Дверь парадного открылась. Появился знакомый швейцар. Он распахнул дверь пошире и склонился подобострастно.

Быстро вышел высокий, статный, плечистый, усатый офицер со шпорами на сапогах и с шашкой на боку. Пуговицы его сияли, шпоры звенели, шашка бренчала по ступеням.

— Эй, извозчик! — крикнул он.

Проезжавшая мимо извозчичья коляска остановилась. Офицер сел в нее, поставив шашку между ног. Коляска уехала.

Одинцов! Вот он какой! Эффектен! И рост, и осанка, и усы... И шпоры позвякивают так музыкально...

Шатаюсь по городу. Гляжу по сторонам. Стараюсь не глядеть в свою разгромленную душу. Замечаю свое отражение в стекле витрины: рост средний, плечи умеренной ширины, пиджачок заурядный, брюки поглажены неделю тому назад, ботинки не слишком модные, шпоры отсутствуют, шашка — тоже, в лице некая грусть и некая неуверенность, и даже некая виноватость... Что она во мне нашла? На кого променяла своего гвардейца? Любопытно, как бы я выглядел со шпорами на пятках и с шашкой на бедре? Наверное, это утомительно — весь день таскаться с шашкой. Она тяжелая, длинная, за все цепляется, того и гляди, где-нибудь застрянет.

Неожиданно для себя забредаю в издательство. Мне говорят, что я вовремя явился, что я легок на помине, что уже есть корректура моей книжки, что ее надо немедленно забрать, тщательно прочитать, исправить все ошибки и опечатки, подписаться, поставить дату и поскорее вернуть ее обратно. Приятная новость не производит на меня впечатления. Спокойно засовываю корректуру в карман и продолжаю слоняться по городу.

Ночное дежурство в учреждении. Никто не любит дежурить. И я — тоже. Дежурить скучно, тоскливо, неприятно, утомительно. Дежурить ночью — вдвойне утомительно. Спать нельзя, да и негде, но под утро нестерпимо хочется вздремнуть. Приходится сражаться со сном. А после дежурства весь день спать почему-то не хочется, но голова становится чугунной, глаза слезятся и ноги как-то плохо удерживают тело в вертикальном положении.

И все же в ночном дежурстве есть некие преимущества. Ночью в учреждении безлюдно и тихо. Делать дежурному решительно нечего. Разве что пройтись по лестницам и этажам, погасить две-три напрасно горящие лампочки и убедиться в том, что вахтер у главного входа пребывает на своем посту и не подвластен коварному Морфею. В течение восьми часов можно спокойно читать, писать, размышлять и даже рисовать. Ты предоставлен самому себе, никто тебя не беспокоит, никто не нарушает твоего уединения, никто не помешает твоим вдохновенным занятиям или твоему постыдному безделью.

Во время этих вынужденных ночных бдений я пишу стихи или письма знакомым, предаюсь воспоминаниям о минувшем и мечтам о несбыточном. Меня забавляет причудливость ситуации: все спят, а я — нет. Меня волнует романтика ночи.

Передо мною на столе три телефона — белый, черный и красный. В любой момент мне могут откуда-то позвонить, что-то спросить или приказать. Но телефоны молчат. Никто, разумеется, не звонит, не спрашивает, не приказывает. Я и сам, между прочим, могу кому-нибудь позвонить, кого-нибудь потревожить, разбудить, напугать ночным звонком, поднять с постели и спросить, как спится и хороши ли сны. Но я, конечно, никому

не звоню и не задаю издевательских вопросов в столь поздний час. Я сижу перед тремя телефонами, подперев ладонью лоб, и размышляю.

...Со мною случилось нечто непоправимое. Много лет моя лодка дремала в тихой заводи у прибрежных кустов. И вот меня подхватило течением и понесло, и завертело, и закружило, и закачало. И вот меня несет черт знает куда. Удастся ли мне спастись? Лодчонка у меня утлая, а весла на берегу остались. Да и зачем оно мне — спасение? Пусть уносит меня в океан, в безбрежность, в простор бесконечный! Пусть утону я в этом океане!

Встаю из-за стола, подхожу к окну. Белая ночь беззвучна и неподвижна. Похожа на привидение. Как все привидения, она светла, холодна и прозрачна. Давно когда-то была она, вероятно, живой, теплой, темной, звездной ночью. И вот теперь бесплотным светящимся фантомом появляется каждый год на севере, тревожа всех робких, изумляя всех впечатлительных и восхищая всех восторженных.

Пишу заявление о предоставлении мне очередного отпуска на неделю раньше запланированного срока. Указываю причину: имею путевку в Дом отдыха литераторов. Лгу, потому что путевки у меня еще нет. Но желанный отпуск мне дают. Мне верят.

Добываю путевку. Добываю с великим трудом. Все сроки уже давно прошли, все путевки уже давно разобраны. Прошу, умоляю, выдумываю какую-то чепуху, доказываю, что мне смертельно необходимо в Ялту на конец июня и весь июль, что от этого зависит мое здоровье, которое вдруг странно пошатнулось, моя творческая судьба, которая меня тревожит, моя личная жизнь, которая у меня не устроена,— словом, все у меня повисло на волоске: или путевка, или я погиб. Сначала мне говорят, что на путевку нет никакой надежды, что раньше надо было пошевелиться и похлопотать, что лучше мне не терзать себя понапрасну, а успокоиться и позабыть о Ялте. После признаются, что одна свободная путевка все же есть, но на нее претендует ветеран и инвалид и у меня нет ни малейших шансов. Но тут обнаруживается, что ветеран серьезно заболел и ехать на юг не в состоянии, что мне здорово повезло и я завтра же могу приходить с день-

гами. Назавтра я прибегаю с деньгами, и мне объявляют, что произошла ошибка, что, хотя ветеран и захворал, путевки все же нет, потому что кто-то уже перехватил ее, кто-то раньше пронюхал о болезни инвалида, кто-то оказался проворнее меня. Тут я впадаю в отчаянье, пытаюсь рвать на себе волосы, но вовремя спохватываюсь — мало того, что я не обладаю шашкой и шпорами, у меня и волос не будет! Ксения скажет: «Как быстро ты, милый, облысел!» И бросит меня к лешему. Но приходит чудесное спасение — совершенно неожиданно отыскивается вторая свободная путевка, и мне ее торжественно вручают.

Звонит Настя.

— Ну как, ты решил что-нибудь с отпуском?

— Да, решил. Поеду в Ялту, в Дом отдыха литераторов.

— А я?

— А тебе советую отдохнуть на Рижском взморье. Для твоего организма это полезнее.

— Благодарю за дружеский совет! — говорит Настасья и вешает трубку.

Звонит А. Спрашивает, как дела, какие новости. Давно не встречались мы с А. Нехорошо. А. я люблю. Он не дурак. Он все понимает. У него нет предрассудков. И душа у него всегда чистая, без паутины по углам. Договариваемся с А. о встрече.

Еще один звонок. К телефону подходит матушка и говорит мне:

— Она!

— Кто — она?

— Твоя артистка!

Голос Ксении доносится издалека-издалека, с другого конца земли, откуда-то из Австралии, из Аргентины, с островов Туамоту.

— Здравствуй, миленький мой!

— Здравствуй, радость моя!

— Как поживаешь, миленький мой? Думаешь ли обо мне?

— Хорошо поживаю, радость моя. Только и думаю, что о тебе.

— Напрасно, напрасно, миленький мой, думаешь ты только обо мне!

— Отчего же напрасно, радость моя, объясни толком!

— Оттого напрасно, миленький мой, что устанешь ты скоро думать обо мне.

— О нет, никогда, радость моя, не устану я о тебе думать! Вот увидишь!

— Ну, коли так, то я разрешаю — думай, пожалуйста, только обо мне, обо мне, обо мне! А цветы еще не завяли?

— Нет, цветы еще совсем свежие. Благоухают. Матушка не может на них наглядеться. А я видел твоего Одинцова. Изумительный мужчина. Одна шашка чего стоит!

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! — хохотала Ксения где-то на Мадагаскаре.— Ой, со мной от смеха грех может случиться! Не смеши меня больше! Ты знаешь, что я хочу тебе сказать...

— Знаю. Хочешь сказать, что ты от меня без ума, и...

— Ну надо же! Как ты догадался? Какой умница! И еще я хочу назначить тебе свидание в Крыму, в Ялте, у отеля Левандовского 14 июня в 11 часов утра. Запиши, а то забудешь!

Я взял записную книжку и записал.

— А теперь ступай к своему письменному столу и сочиняй обо мне стихи. Ты должен воспеть меня наилучшим образом. Привет твоей матушке. Я до сих пор не могу опомниться от ее варенья. Поцелуй меня на прощанье! Целуешь?

— Целую!

— А как целуешь?

— Нежно, страстно и продолжительно.

— Вот, правильно! Так и всегда меня целуй. Ну, до свиданья, милый! По утрам, как проснешься, сразу вспоминай меня! Слышишь?

— Слышу.

— И весь день на хорошеньких женщин смотреть не смей! Слышишь?

— Слышу.

— Жди моего письма из Москвы!

— Жду.

Вешаю трубку. Продолжаю сидеть на стуле у телефона. Мама выходит из своей комнаты.

— А как же Настя?

— Не знаю, мамочка, не знаю...

Продолжаю сидеть у телефона. В моей руке раскрытая записная книжка. В ней запись: «14 июня 11 ч.

гост. Левандовского». Господи! У меня же путевка только с 25-го! Но тут же вспоминаю: это по старому стилю! Зачеркиваю написанное и пишу заново, крупно и аккуратно: «ЯЛТА. ГОСТИНИЦА ЛЕВАНДОВСКОГО. 27 ИЮНЯ. 11 ЧАСОВ УТРА».

Встретившись с А. у входа в зоопарк, мы идем с ним по аллее.

— Куда ты пропал? — говорит А.— Месяца три тебя не видел. Звонил несколько раз, и все матушкин голос, и все «его нет», «не знаю», «позвоните завтра». Дела? Или очередная стрела этого кудрявого мальчугана, этого стервеца, этого малолетнего преступника засела в твоем покрытом шрамами сердце? Зря ты Настю мучаешь. Женился бы, угомонился бы, устроился бы поудобнее и посвятил остаток жизни святому искусству. Настя — баба хоть куда и души в тебе не чает. Немножко взбалмошная, но это пикантно. Тихие, кроткие женщины скучноваты.

Мимо нас, как бы иллюстрируя слова А., громко цокая каблуками, проходит миловидная блондинка, немножко похожая на Настасью. Я провожаю ее взглядом. И А. провожает ее взглядом. Он тоже неравнодушен к голубоглазым блондинкам.

— В лице твоем появилось нечто новое,— продолжает А.,— что именно, пока не понимаю. Ты несомненно чем-то обеспокоен, озабочен, озадачен, а может быть, даже потрясен, так сильно потрясен, что никак не можешь прийти в себя. В общем, если я не ошибаюсь, ты здорово сбит с панталыку. Но чем? Или кем? Это тайна?

Садимся на скамейку, закуриваем, и я, опуская подробности, рассказываю свою историю.

Сначала А. поглядывает на меня иронически, со скрытой улыбкой. Она прячется в его глазах, в его губах и даже в подбородке — он недоверчиво подрагивает. Потом ирония исчезает. В лице появляется какая-то странная неподвижность, мертвенность, окаменелость. Таким лицо А. я, пожалуй, еще никогда не видел. В конце же моего рассказа лицо А. наполняют всевозможные чувства, которые он не в состоянии скрыть: изумление, растерянность, страх, восхищение и еще что-то, и еще...

— Ну вот,— говорю я.— Теперь и ты обеспокоен,

озабочен, озадачен. Теперь и ты потрясен, так сильно потрясен, что никак не можешь прийти в себя. Словом, совершенно очевидно, что теперь и ты полностью сбит с панталыку. Проглоти-ка парочку пилюль валерьянки. Тебе вредно так волноваться.

С остановившимися глазами, бледный и весь какой-то взъерошенный, А. машинально глотает пилюли, машинально раздавливает в пальцах окурок, машинально закуривает новую сигарету.

— Вот тебе моя тайна,— говорю я.— О ней знаем только мы с тобой. И немножко Знобишин. Но он не верит, конечно, не верит. И не мудрено. В такое трудновато поверить. У матери моей тоже появились, наверное, некоторые подозрения. Небось еще тогда, когда она в первый раз услышала голос Ксении по телефону.

— По телефону? — вскрикивает совсем одуревший А.— Она звонит по телефону из тысяча девятьсот восьмого года? Невероятно!

— Разумеется, невероятно,— соглашаюсь я, стараясь вконец не разнервничаться вместе с ним.— История, брат, неслыханная. Представляешь, каково мне? Тут еще Настя психует, устраивает истерики.

— Но послушай,— продолжает А.,— но послушай, разве она не замечает... некоторых странностей? Разве ее не удивляет современный вид города, современные автомобили, метро наконец? Ты же видел ее в метро!

— Это для меня непостижимо. Перемещение во времени, как известно, теоретически возможно. Фантасты давно уже успели побывать и в отдаленном прошлом, и в неведомом будущем. Но там все ясно — прошлое так прошлое, будущее так будущее. А здесь прошлое как бы слегка наползает на настоящее. Не полностью, заметь, а только одним краешком, одним уголком. И настоящее в этом уголке ненадолго, обрати внимание, проваливается в прошлое. И есть в этом некая односторонность. Я-то понимаю, что болтаюсь между прошлым и настоящим, я-то сознаю, что творятся вопиющие чудеса, а она остается там, в тысяча девятьсот восьмом году, хотя и ездит в метро. Кстати, непонятно, зачем ей метро, если у нее несколько отличных экипажей. Да и на такси денежек ей хватило бы. Видимо, ее привлекает передвижение под землей. Но, признаюсь, я не могу поклясться, что видел в метро

именно ее. Она была от меня далеко, да и толпа была плотная...

Мы оставляем скамейку и движемся к Петропавловке. А. все не может успокоиться. Он размахивает руками, сдвигает шляпу на затылок, нахлобучивает ее на лоб, снимает ее, снова надевает.

Проходим по деревянному мосту, идем вдоль кирпичной крепостной стены, входим в крепостные ворота. На площади перед собором несколько кучек туристов. В центре каждой кучки — экскурсовод. Его не видно, только иногда над головами показывается рука, делающая красивый указующий жест. А. идет задумавшись, глядя на булыжник, которым замощена площадь, и держа шляпу за спиной. Из ближайшей кучки выбирается тоненькая девушка с коротко подстриженными соломенными прямыми волосами.

— Сейчас мы с вами осмотрим пушку, которая стреляет в полдень,— произносит девушка.— На этом наша экскурсия окончится.

— Ниночка! — кричит А. и бросается к светловолосой девушке. Через минуту он подводит ее ко мне. Знакомимся.

— Хотите еще разочек побывать в соборе? — обращается Ниночка и к А., и ко мне одновременно.

— Хотим,— отвечает А.

— Тогда подождите меня вон там, у ограды,— говорит Ниночка и возвращается к туристам.

— Итак,— продолжает А. прервавшийся разговор,— ты являешься стороной пассивной. К тебе приходят «оттуда», тебя уводят «туда», тебе показывают Петербург начала века, тебя возят в шикарной коляске, тебе поют романсы и дифирамбы тоже, в тебя уже, кажется, влюбились (и кто влюбился!), а ты для этого и пальцем о палец не ударяешь. Везет же тебе! Но берегись. Подполковник Одинцов не простит тебе твоих шалостей.

— Но откуда тебе известно, что он подполковник? — недоумеваю я.

— Да ты же мне сам только что сообщил, что, судя по погонам, он подполковник гвардии!

— Ах, да! Я уже забыл. Что-то с памятью у меня стало плохо.

— Так вот, подполковник Одинцов застрелит тебя! Просто так застрелит, «в состоянии аффекта», или вызовет на дуэль.

— Пусть вызывает! — говорю я.— В конце концов, я тоже немножко военный — лейтенант запаса. И даже стреляю сносно. Приглашу тебя в секунданты. Ты знаешь, каковы обязанности секунданта? Не знаешь. Вот то-то. Посмотри литературу, подготовься, чтобы не попасть впросак, чтобы не осрамиться.

— Но у тебя же нет пистолета!

— Зато у Одинцова наверняка имеются приличные дуэльные пистолеты: он отъявленный дуэлянт. Ксения говорила, что из-за нее он уже трижды стрелялся. Один раз кому-то ухо прострелил.

— Все это чертовски интересно! — восклицает А. и снова закуривает сигарету.

Прибегает Ниночка. Входим в совершенно пустой собор — музей уже закрылся. В окна бьют косые желтые лучи вечернего солнца. Солнечные пятна лежат на плитах пола. Тихо бродим между надгробиями российских императоров и императриц по двум не очень тихим векам российской истории. Издалека доносятся пушечная пальба, звон сабель, звон бокалов, конское ржанье, крики «ура», крики «долой», хрипы повешенных, русские протяжные песни, французская речь, матерная ругань, стук топоров, скрип уключин, взрывы самодельных бомб, церковное пение, колокольный звон, гудки паровозов, музыка духовых оркестров, скрежет железа о железо и опять пушечная пальба, и опять звон сабель, и опять звон бокалов.

— Давайте я покажу вам чердак! — предлагает Ниночка.

Подымаемся по неширокой каменной лестнице, открываем толстую, обитую большими гвоздями дверь и оказываемся в огромном полутемном зале. Высокие кирпичные арки. Контрфорсы. Мощные, почерневшие от времени деревянные балки. Золотистая пыль в узком оранжевом солнечном луче.

— Эффектно! — говорю я.— Похоже на Пиранези.

— Пошли дальше! — говорит Ниночка.

Возвращаемся на лестницу и подымаемся по ней еще выше. Выходим на широкую площадку, посреди которой возвышается причудливое металлическое сооружение, состоящее из гигантских зубчатых колес, каких-то рычагов, втулок и крюков. С колес свисают толстые цепи, а наверху, над колесами, висят колокола, большие и маленькие.

— Это башенные часы! — объявляет Ниночка.— Их бой разносится над всем городом!

«Вот оно, время! — думаю я.— Вот оно какое жуткое! Вот эти самые колеса, эти зубья и перемалывают нас! Вот они-то и перетирают все на свете в мелкий порошок, в пыль, в ничто!»

Самое большое колесо рывком поворачивается. Сдвигаются с места и колеса поменьше. Что-то громко звякает. Что-то обо что-то стукается. Что-то скрипит и скрежещет. И вдруг над самым моим ухом оглушительно ударяет колокол, ударяет всего один раз и умолкает. Помещение до отказа наполняется звуком. Пол мелко-мелко дрожит, и колеса тихо гудят, вторя колокольному звону.

— Четверть седьмого! — провозглашает А., взглянув на свои ручные часы.

— Восемнадцатое июня! — добавляю я.

— Тысяча девятьсот восемьдесят третьего года! — продолжает Ниночка.

— Новой эры! — заключает А.

Подхожу к небольшому окошку. Предо мною река, мосты, купола, шпили и крыши, крыши, крыши до самого горизонта. По мостам ползут машины и трамваи. По реке в разные стороны плывут буксиры с баржами и речные катера. Город!

Здесь, в вышине, грозное, зубчатое, металлическое, неумолимое и необоримое время царит над городом. Через каждые пятнадцать минут колокола напоминают городу о власти времени, о его немыслимом могуществе.

Спускаемся. Никто не произносит ни слова.

— Ох уж это время! — говорит наконец А., нарушая молчание.— О нем ходят легенды. О нем сочиняют небылицы. Его воспевают. Им ужасаются. Его жаждут понять. О нем пытаются позабыть. Некоторые утверждают, что его и нет вовсе, что это фикция, самообман, смешное, но опасное заблуждение. Кто-то выдумал его. Выдумка понравилась, и пошло: время! время! проклятое время! прекрасное время! у нас так мало времени! о, мы живем в такие времена! пользуйтесь полуфабрикатами — экономьте время! как безрассудно мы тратим свое время! не спорьте со временем! не заботьтесь о времени! не пеняйте на время! времени не вернешь! время не остановишь! не отставайте от времени! ваше время уже прошло! делу время — потехе час! а времечко-то бежит! — и так далее, и тому подобное.

А другие твердят, что только время и существует, а фикция — все остальное, и всем остальным можно безнаказанно пренебречь. Одни верят, что время — это лента, у которой нет ни начала, ни конца. А другие убеждены, что время — это кольцо, это бублик с дырой посередке, и тот, кто проваливается в эту дырку, тот и бессмертен. Одни полагают, что время — это слоистый пирог с разнообразнейшей начинкой: первый слой — мясо, второй — капуста, третий — грибы, четвертый — варенье, и тут кому как повезет — кто всю жизнь сидит в грибах, а кто весь свой век давится капустой. Другие же совершенно уверены в том, что время — это гигантская куча песка: каждая песчинка — человеческая жизнь, у каждого смертного свое личное время, а общее время не стоит и искать — бессмысленное занятие. Но послушай! — шепчет мне А.— Тебе же придется делать ей дорогие подарки! Где ты возьмешь деньги?

Я уже открываю рот, чтобы рассказать романтическую и почти детективную историю о бесценной булавке, но почему-то все же ее не рассказываю, воздерживаюсь.

— Она не дура,— шепчу я.— Она понимает, что я бедный стихотворец, что я не люблю и не умею добывать деньги, что богатый поэт — это нонсенс и неприличие.

— Что вы шепчетесь? — обиженно спрашивает Ниночка.— Шептаться при даме нехорошо!

— Простите, дорогая Ниночка, тут одно очень щекотливое дельце,— отвечает А.

— Да, да, простите нас, пожалуйста! — подхватываю я.— Тут и впрямь обстоятельства несколько необычные, несколько даже зловещие.

— Не пугайте меня,— говорит Ниночка,— я очень пуглива.

Письмо из Москвы. На конверте марка с двуглавым орлом. У орла довольно хищный, неприятный вид. Косой, торопливый, знакомый уже почерк. Старая орфография — еры и яти.

«С.-Петербург, Васильевский остров,
... линия, дом № ..., квартира ...,
господину...»
Разрываю конверт.

«Здравствуй, милый!

Соскучилась по тебе безумно! А прошло-то всего две недели, как мы расстались!

Москва хороша. Здесь все такое русское, беспорядочное, бестолковое и веселое. Днем езжу по улицам и хожу по церквам. Вечером пою. Сегодня была в Кремле, смотрела на Царь-пушку и Царь-колокол. Зашла в Успенский собор, помолилась, попросила Царицу небесную простить мне мои прегрешения.

Состоялось уже три концерта. Как всегда, успех. В Москве кричат еще громче, чем в Питере. А ногами так колотят об пол, что просто страшно. Все жду: вот-вот пол провалится и будут из-за меня человеческие жертвы.

Делаешь ли то, что я тебе велела? Напоминаю:

1) меня надо вспоминать каждое утро, едва проснешься;

2) на молодых привлекательных женщин смотреть запрещается;

3) весь день следует сидеть за письменным столом и писать обо мне прекрасные стихи.

На последнем концерте произошел курьезный случай. Какой-то купец прорвался в антракте в мою комнату и стал требовать, чтобы я продала ему туфлю со своей ноги за тысячу рублей. Сбежался народ, стали его выталкивать. А он всех расшвырял (сильный оказался мужчина), выхватил из кармана револьвер (тут я чуть в обморок не свалилась) и заорал: «Если не продадите — застрелюсь! И грех падет на вашу душу!» Я, натурально, перепугалась до смерти и отдала ему туфлю безвозмездно. Хорошо, что у меня с собою была еще одна пара. А наутро в гостинице подают мне пакет, и в нем — тысяча. Ну, думаю, раз мне выпало такое счастье... Поехала на Кузнецкий и купила туалетный прибор из хрусталя с серебром самого модного стиля. Но теперь меня совесть гложет — следовало бы эти дурные деньги нищим раздать.

О господи, до чего же я по тебе соскучилась! Даже удивительно!

Твоя К.

Не забудь про 14 июня!»

Сижу в аэропорту. Мой ночной рейс откладывается. Симферополь не принимает самолеты, там густой туман.

Давно замечено, что часы длительного ожидания, часы вынужденного томительного безделья благотворны для души и интеллекта. Организм ожидающего стремится компенсировать свою неподвижность мозговой работой и внутренней эмоциональной активностью. В такие часы посещают нас порою блистательные мысли или приходит к нам раскаянье в совершенном неправедном поступке. И как бы сами собою решаются головоломные задачи, казавшиеся абсолютно неразрешимыми, и возникают намерения, представлявшиеся совершенно невозможными, и исчезают сомнения, от которых было не отвязаться. С глаз спадает некая пелена, а сердце освобождается от привычной, будничной, сковывающей его скорлупы.

Просидев часов пять в аэропорту и вдоволь наглядевшись на торчащие за окнами хвосты неподвижных самолетов, блудные мужья хватают чемоданы и бросаются к своим зареванным женам и ничего не соображающим по малости лет ребятишкам; чрезмерно щепетильные, обидчивые невесты, опомнившись, убегают к своим вполне достойным, но не слишком тактичным женихам; почившие на мягких, но явно незаслуженных лаврах живописцы устремляются вдруг в покинутые ими комфортабельные мастерские и начинают торопливо выдавливать из тюбиков краски на тщательно вымытые скипидаром палитры, а еще не закоренелые, сохранившие человеческий облик правонарушители, выплюнув недокуренную сигарету, идут сдаваться в уголовный розыск. В эти часы люди сильные, становясь еще сильнее, решаются на отчаянные поступки, а людям слабым открывается вся безнадежность их противоборства с неумолимым роком. Одним словом, иногда весьма полезно проторчать на аэродроме ночь или день, или даже целые сутки, помня, однако, что это и небезопасно.

Сдав свой чемодан в камеру хранения и подремав полчасика в удобном кресле, я отправляюсь гулять по залам ожидания, разглядывая сидящих на диванах людей, сувениры в витринах киосков и многочисленные светящиеся табло со всевозможными объявлениями, разъяснениями и предписаниями.

...Что же получается? Я влюбился в призрак, в тень, в женщину, которой давно уже нет и которая всеми забыта. С какой стати? Разве мало вокруг безусловно живых и достойных внимания представительниц неж-

ной половины человечества? Странный казус! Непостижимый курьез!

Но какова тень! Она живее всех живых женщин, которых я знал!

Или все это только мнимость, иллюзия, мираж? Или мне только мерещится, что я влюбился?

Но каково обаяние мнимости! Какова сила иллюзорности! Сколь правдоподобно, убедительно то, что мне мерещится, кажется, чудится!

Или все это мой собственный вымысел, порождение сорвавшейся с цепи оголтелой фантазии? Я в свой вымысел уверовал, я в него погрузился с головой, и он мне дороже, чем любая реальность?

Но какой причудливый, диковинный вымысел! И отчего с такой готовностью я в него погрузился?

Я раздваиваюсь. Я живу в настоящем и в прошлом, в реальности и в мечте, в существующем и в призрачном. Меня целого уже нет. Мое бытие фрагментарно.

Однако конверт с маркой, на которой запечатлен двуглавый орел, вполне реален, и это можно проверить — он у меня в чемодане. ...Лучше не думать об этом. Лучше любить Ксению, целовать ее, писать ей стихи и ни о чем не думать. Лучше спокойно пребывать в начале и в конце двадцатого века одновременно и не изумляться. Мало ли чего не случается? Мало ли чего не бывает? Ну, чудо! Ну и что?

Побродив по залам аэровокзала, я снова усаживаюсь в кресло. Рядом со мною вдоль балконного парапета стоят корытца с комнатными растениями. Несмотря на явный недостаток света, они не выглядят хилыми. Их листья зелены и мясисты. Кое-где даже виднеются бутоны и распустившиеся цветы. Эти растения терпеливы, как мой приятель — филодендрон. Им ничего не остается, как только смириться, покориться, приспособиться. И они смиряются. Но ни один луч солнца к ним не проникает, ни одна капля дождя не падает на них и ни одно дуновение ветерка их не шевелит.

Объявляют посадку на мой рейс, и я отправляюсь в камеру хранения за чемоданом.

Просыпаюсь от голоса стюардессы: «С добрым утром, граждане пассажиры! Наш самолет совершает посадку на крымской земле. Температура воздуха в

аэропорту города Симферополя — плюс двадцать градусов. Прошу пристегнуть ремни!»

Смотрю в окошко. Подо мною проплывает бесконечная равнина. Она поделена на квадраты, полосы и прямоугольники, раскрашенные в серый, желтый, коричневый и зеленый цвета. Квадраты и прямоугольники становятся все крупнее и движутся все быстрее. Где-то там, внизу, только немножко южнее, только в тысяча девятьсот восьмом году, в спальне своей ялтинской виллы безмятежно спит знаменитая певица Ксения Брянская, которая никогда не видела таких огромных, фантастических самолетов. Если бы увидела, испугалась бы, перекрестилась и наотрез отказалась лететь. Сказала бы: «После слетаю».

Солнце еще только взошло. Его лучи пронизывают самолет насквозь. Я подымаю ладонь — она розовая, ярко-розовая, как малиновый сироп. Подношу ладонь к носу — увы, малиной она не пахнет. Любит ли Ксения малину? Конечно, любит! Какая женщина не любит малину?

Земля уже бешено несется мимо окон. Все слилось в разноцветные полосы. Немножко страшно. Что-то подкатывает к горлу. При посадке всегда немножко страшно. Вот толчок. Быстро сбавляя скорость, самолет катится по бетону. Еще одно воздушное путешествие закончилось благополучно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

се уже было создано: и небо с солнцем, луной и звездами, и земная твердь с равнинами и горными хребтами, и колеблемые ветрами океанские воды, и деревья, и травы, и благоуханные цветы. Остался незаконченным и вроде бы пропущенным по ошибке лишь кусок земли рядом с морем, не такой уж большой, между прочим, кусок земли рядом со вполне удавшимся сине-зеленым, на удивленье прозрачным морем. И сказал Бог: «Отдохнем немного!» И вытер лицо рукавом, и напился из родника, и прилег на траву в тени тамариска.

И приснился ему сон.

Синие, зубчатые, грозные горы возносятся к облакам. Их склоны отвесны и чисты — ничто не может расти на них. Они, как стены гигантской, неприступной и вечной крепости, охраняют море.

У их подножия растут деревья сказочной красоты, журчат ручьи и шумят водопады. А еще ниже из моря вздымаются скалы. Они неслыханно живописны. Волны бьются о них с глухим сдавленным стоном. Розы и глицинии оплетают их. Чайки садятся на их уступы. Дельфины резвятся около них. И солнце смотрит на этот земной рай с удовольствием.

И проснулся Бог, и взялся за дело. И сотворил Бог все точно так, как видел во сне.

Из моего окна открывается вид на парк. Раскидистая, царственно-величавая пиния стоит под охраной черных, прямых, неподвижных кипарисов. К ней тянутся голубые, плоские ветви растущего поблизости ливанского кедра.

Ксения где-то рядом. Где-то за этой пинией или чуть подальше, чуть правее, чуть левее. Ксения уже совсем рядом, и она ждет меня. Сегодня двадцать пятое, или двенадцатое по старому стилю.

На автобусе еду в Ливадию. Сижу под старым каштаном, гляжу на дворец. Он белый, такой же белый, как павловский Храм Дружбы, даже еще белее. Он вопиюще, беззастенчиво, вызывающе белый. Он сияет на фоне голубого неба, синего моря и темно-зеленых магнолий. Цветы магнолий — осколки его белизны.

Вокруг дворца бродят толпы экскурсантов. Им что-то говорят, что-то рассказывают. Они благоговейно слушают. После они фотографируются: первый ряд сидит на корточках, второй ряд стоит. Они бесстрашно фотографируются на фоне невыносимо белых дворцовых стен.

Медленно обхожу дворец. Долго гляжу сквозь решетку на итальянский дворик. Он тоже белый. По нему летают ласточки. Они свили гнезда под сводами галерей.

Подхожу к фонтану, разглядываю тонкую вязь арабской надписи. В наполненной водою мраморной чаше лежат монеты. Таков обычай: побывавший в Ливадии бросает сюда пятак или гривенник. Я бывал здесь неод-

нократно, но ни разу ничего не бросал. Достаю из кошелька полтинник, держу его над чашей, любуюсь игрой светлых бликов на ее дне. Разжимаю пальцы. С тихим всплеском полтинник падает в воду и, скользнув по наклонному краю чаши, ложится на дно. Светлый блик дрожит на полтиннике.

Отхожу от дворца. Оглядываюсь. Белоснежный, как айсберг, возвышается он под кобальтом знойного неба. Увидит ли его Ксения? Ведь он еще не построен. Его воздвигнут через шесть лет.

Не спеша спускаюсь к морю. Восхищаюсь пиниями, удивляюсь секвойям, глажу ветки земляничного дерева, подбираю шишки крымской сосны. Спускаюсь все ниже и ниже. Дорожка петляет. Снизу, с пляжа, уже доносится гомон. В просвете среди листвы показывается море. По нему шныряют катера. На горизонте темнеет силуэт грузового судна.

Покупаю билет, вхожу на пляж, отыскиваю свободное местечко, раздеваюсь и располагаюсь на гальке, сложив рядышком свою одежду. Неподалеку спиной ко мне сидит женщина, чем-то напоминающая Ксению: прическа похожа, и линия плеч, и локти... Встаю, ковыляю к воде (трудно с непривычки ходить босиком по крупной гальке), оборачиваюсь: у женщины некрасивое, грубое лицо, на носу бумажка от загара.

Не торопясь плыву, глядя на горизонт, на грузовое судно. Оно заметно переместилось в сторону и уменьшилось. У ржаво-красного буйка останавливаюсь. Что-то скользит по ноге. Гляжу в зеленую, неправдоподобно прозрачную воду. Вокруг меня множество медуз. Их бледные, студенистые тела парят над темно-синей пугающей бездной. Ловлю одну, подымаю руку над водой. Медуза похожа на кусок тающего на солнце льда и, так же как лед, холодит руку. Ее края беспомощно свисают с моей ладони. Отпускаю ее. На моих глазах она погружается все глубже и глубже и растворяется в синем мраке.

Вечером выхожу на набережную, заполненную публикой. Публика совершает ритуал вечернего гулянья. Публика священнодействует. Два потока курортников движутся навстречу друг другу. Два потока друг друга разглядывают и при этом показывают себя.

Дамы и девицы в лучших своих нарядах. И не просто

в лучших, а в специально сшитых, приобретенных, раздобытых для этой цели — для ежевечерних торжественных гуляний по знаменитой, фешенебельной, вечно манящей, волнующей и что-то сулящей ялтинской набережной.

Дамы, которым далеко за сорок, а может быть, и за пятьдесят, облачены в длинные платья из шелка, бархата, парчи или тюля. Плечи и спины их обнажены, хотя они вряд ли способны кого-либо соблазнить и лишь едва напоминают о прошлой своей соблазнительности. В руках у некоторых дам веера, которыми они усердно обмахиваются.

Девицы, а также и дамы, не достигшие критического возраста, одеты в соответствии с наиновейшей модой. Все они в пикантных комбинезончиках, декольтированных спереди и сзади ровно на столько, на сколько это физически возможно. Лямочки, на которых держатся их одеяния, почти невидимы. Кажется, что комбинезончики вовсе ни на чем не держатся, что вот еще секунда — и они падут к ногам своих очаровательных владелиц. При этом все женщины скажут «ах!», а мужчины воскликнут «черт подери!», наслаждаясь зрелищем почти ничем не защищенной обольстительной наготы. На ногах и у дам, и у девиц субтильнейшие, изящнейшие туфельки на чрезвычайно высоких и невероятно тонких каблуках преимущественно серебряного или золотого цвета. «Как они ходят, бедняжки?» — недоумеваю я, глядя на ступни женских ног, находящиеся в совершенно вертикальном положении и опирающиеся только на кончики пальцев.

Молодые, а также и еще не старые мужчины красуются в белых, плотно обтягивающих зады брюках. Их торсы прикрыты разноцветными, расстегнутыми до пояса рубашками или трикотажными безрукавками с разнообразными надписями, чаще всего на английском языке.

Насладившись зрелищем гуляющей ялтинской публики, я беру в киоске бокал холодного рислинга. Подойдя к парапету, маленькими глотками потягиваю вино и наблюдаю, как причаливает к пирсу теплоход «Айвазовский». Он величав и белоснежен, как Ливадийский дворец. Около него суетятся два портовых буксирчика. Они осторожно разворачивают корабль и подтаскивают его к берегу. Вдоль борта «Айвазовского» выстроились туристы, которые глазеют на город и на гуляющую публи-

ку. На пирсе собирается толпа, которая глазеет на теплоход.

Быстро темнеет. Загорается неоновая реклама, освещаются витрины магазинов. Гуляющих становится меньше. Из ресторанов уже доносятся вопли вокально-инструментальных ансамблей. Слышится голос диктора: «Внимание, внимание! В двадцать один час теплоход «Александр Грин» совершит часовую прогулку в открытое море. Билеты продаются на пристани в кассе номер четыре».

Отыскиваю четвертую кассу, приобретаю билет, забираюсь на катер, гордо именуемый теплоходом. Он дает гудок, отчаливает, выходит из гавани и плывет в темноту. Море и небо одинаково черны. Только на небе — звезды. А сзади полно света, сзади сияет ночная Ялта.

...Что делает сейчас Ксения в своем девятьсот восьмом? Ужинает? Пьет чай? Да, наверное, сидит на балконе, пьет чай и смотрит на море. По морю ползет какое-то суденышко с зеленым огоньком на мачте. На палубе суденышка в девятьсот восемьдесят третьем сижу я и гляжу на удаляющуюся Ялту. Послезавтра в 11 утра Ксения встретится со мной у отеля Левандовского. Но где находится этот отель? Я же понятия об этом не имею! Надо спросить каких-нибудь старушек, зайти в краеведческий музей... А вдруг в Ялте уже никто, решительно никто не знает, где располагался отель Левандовского? Нет, этого не может быть! Завтра утром приступаю к поискам отеля!

Просыпаюсь на рассвете. За моим окном в саду кто-то говорит громко и гулко: «Хватит спать! Хватит спать! Хватит спать!»

«Что за наглость! — думаю.— Будят в такую рань!» И снова засыпаю. Через полчаса просыпаюсь опять. Теперь за окном спрашивают: «Как спалось? Как спалось? Как спалось?»

Подхожу к окну, высовываю голову наружу — никого не видно.

— Спасибо,— говорю,— спалось неплохо.

Постояв у окна, снова ложусь. А из сада уже доносится: «Не сердитесь, пожалуйста! Не сердитесь, пожалуйста! Не сердитесь, пожалуйста...»

Опять вскакиваю и подбегаю к окну. С верхушки ближайшего кипариса, с самого ее острия, срывается

крупная светло-коричневая птица. Она, значит! Ее это голос! Любит, значит, поговорить по утрам!

В столовой на моем столе стоит бутылка из-под кефира. Из нее торчит букетик темно-красных роз. Подходит официантка с подносом, ставит предо мною завтрак.

— Как приятно, что столы украшают цветами! — говорю я.

— Это для вас цветы! — говорит официантка, смущенно улыбаясь.

— От кого? — изумляюсь я.— И по какому поводу?

— Это за ваши стихи! — отвечает официантка.— А от кого — неважно.

«Ага! — думаю.— Вот и мне дарят цветы! Читает кто-то мои творения! Нравятся они кому-то! Правда, цветов не так много, как у Ксении... Но дело не в количестве!»

К столу приближается старушка в белом халатике, собирающая грязную посуду. Я обращаюсь к ней с вопросом:

— Вы случайно не знаете, где находился когда-то отель Левандовского?

— Та ни,— отвечает она,— не знаю я никакого хотелю!

После завтрака спускаюсь на набережную и разглядываю фасады домов. На них множество балконов и всяческих лепных украшений. Все эти фасады в начале века принадлежали гостиницам и пансионам. Один из них мне, вероятно, и нужен. Но какой?

На скамейке сидит загоревший до черноты старик с белой щетиной на небритых щеках. На нем тельняшка с отрезанными рукавами. На тельняшке висит какая-то медаль с грязной, засаленной ленточкой. Старик сосредоточенно курит. Сигарета вставлена в мундштук с изображением головы Мефистофеля. Спрашиваю его об отеле.

— Та кто ж ехо знает! — отвечает он.— Столько лет утекло. Тут хостиниц-то этих была тьма-тьмущая. Куда ни плюнь — в хостиницу уходи́шь. Хозяева большой доход имели. Ахрома-адный!

Направляюсь в краеведческий музей, расположенный в здании бывшей церкви. Нахожу научного сотрудника, который является мне в образе девчонки в синем платьице с белыми крупными горохами. Глаза у сотрудника карие, ресницы лохматые, носик вздернутый, волосы темные, короткие, но челка длинная, до бровей. Науч-

ный сотрудник не лишен привлекательности и напоминает мне известную французскую певицу. Но выясняется, что он ничем не может мне помочь. Материалы по истории Ялты тех времен плохо сохранились, а их остатки хранятся в Симферополе, в областном архиве.

— А зачем вам эта гостиница? — вопрошает курносый сотрудник, помахав красивыми ресницами.

— Видите ли,— пытаюсь я ответить поубедительнее,— это нужно для книги. Я писатель. Пишу исторический роман. Мне известно, что в Ялте существовал этот отель, но для того, чтобы его описать, необходимо на него поглядеть. Если же отеля уже нет, мне хотелось бы побывать на том месте, где он стоял.

— Так вы писа-а-атель! — произносит нараспев девчонка-сотрудник, и в ее глазах вспыхивает любопытство.— Жаль, что я ничего не знаю про этот отель. А может быть, вам еще что-нибудь нужно?

— Нет, пока мне ничего больше не требуется.

— А может быть, вам после еще что-нибудь понадобится? Я буду рада помочь, приходите. Меня зовут Зоя Борисовна. Я сижу в музее с десяти до шести. Запишите на всякий случай мой телефон.

Записываю телефон. Прощаюсь. В кофейно-шоколадных глазах Зои Борисовны сожаление и вроде бы просьба, вроде бы даже мольба: «Ну зайдите же, зайдите еще разок! Чего вам стоит! Ведь так интересно общаться с писателем!»

— Ой, позабыла совсем! — говорит она, уже попрощавшись.— У нас тут есть один старик. Он увлекается стариной — открытки собирает, фотографии, вырезки из газет. Ему, наверное, что-то известно про вашу гостиницу. Ему про Ялту многое известно.

Записываю адрес, фамилию, имя и отчество старика. Еще раз прощаюсь и выхожу из бывшей церкви на многолюдный бульвар.

Узкая улица, извивающаяся по склону холма. Высоченная подпорная стена, выложенная из грубо обработанного серо-зеленого камня. Плети глицинии, сползающие со стены. Толстые, кривые ветви старой сосны, нависающие над стеной. Небольшой проем с аркой, прорезающий стену. Над аркой нужный мне номер дома. Вхожу под арку, подымаюсь по крутой каменной лестнице и оказываюсь на верхней площадке рядом со

стволом сосны. Оглядываюсь. Внизу, подо мною, ялтинский порт, мол с маяком, краны у мола. В порту стоит красавец — «Айвазовский».

Ныряя под развешанное белье, подхожу к запущенному, но все еще импозантному особняку с высокой черепичной кровлей. На ступенях крыльца сидит девочка лет пяти с большими розовыми бантами, повязанными на коротеньких, смешно торчащих над ушами хвостиках. Спрашиваю ее, здесь ли живет Василий Панкратович Братанчук.

— Здесь! — охотно отвечает девочка.— Я вам сейчас покажу!

Она ведет меня в глубь дома и подводит к давно не крашенной двери с медной табличкой:

Капитан 2-го ранга в отставке
почетный пенсионер
В. П. БРАТАНЧУК

Стучусь. Из-за двери доносится «входите». Вхожу. Вижу бритоголового, не очень старого человека с седыми висячими, запорожскими, усами. Человек сидит за столом и что-то ест. На столе тарелка и алюминиевая кружка.

— Простите! Кажется, я не вовремя вас побеспокоил!

— Нет, нет! Я уже пообедал! Чем могу служить? Садитесь!

— Я литератор и собираюсь писать роман, действие которого будет происходить в Ялте в 1908 году. Сейчас собираю материалы, и вскоре мне предстоит деловое свидание с одной несколько эксцентричной особой у бывшего отеля Левандовского. Особа не объяснила мне, где находится это здание, и в краеведческом музее тоже не смогли мне этого объяснить. Вынужден обратиться к вам.

Рассказывая о цели своего визита, поглядываю на стены комнаты. На них висят репродукции с картин Богаевского и многочисленные фотографии в рамках и под стеклом. На полках — книги и альбомы. И толстые папки с завязками. На шкафу — грубо выполненная модель парусника с пыльными серыми парусами.

Заметив, что я рассматриваю комнату, старик говорит, тихонько откашлявшись:

— Один живу, по-холостяцки. Супруга моя давно померла. А я на старости лет стариной увлекся, истори-

ческим, так сказать, материалом, остатками минувшего. Оч-чень это любопытно. Собираю сведения об ушедшем безвозвратно. Полагаю, что от этого не только мне удовольствие, но и польза для общества. О нем, минувшем-то, все же память должна храниться. Беспамятство — штука опасная. Из музеев иногда приходят. Из киностудии раз пожаловали. Вот и вам вдруг понадобился Левандовский. И, не скрою, приятно, что я кому-то нужен.

Братанчук снимает с полки толстый альбом и раскрывает его. В альбоме открытки с видами старой Ялты.

— Вот! — говорит он, ткнув пальцем в открытку с фотографией хорошо знакомого мне дома на набережной.

Перебросив пару страниц, он снова стучит пальцем по открытке.

— И вот!

Наклонившись, я внимательно разглядываю цветное изображение незнакомого мне фасада, наполовину заросшего плющом.

— Значит, у Левандовского в Ялте было две гостиницы? — спрашиваю я.

— Нет! — отвечает старик.— Их было три! Но третья уже не существует. Ее снесли, когда расширяли главную площадь. Впрочем, если угодно, она выглядела так.

На открытке тоже неизвестное мне сооружение с легкой аркадой по второму этажу. Пристально всматриваюсь в открытку, стараясь запомнить его облик. «Похоже,— думаю я с тоской,— что завтра утром мне придется стоять одновременно у трех гостиниц. Иного выхода нет».

— А кто он был, этот Левандовский?

— Он был известным виноделом. Его винные подвалы снабжали крымскими винами Одессу, Севастополь и Южный берег. Кроме гостиниц у него в Ялте была еще собственная вилла. Она, кстати, цела.

«Итак,— мысленно подвожу я итог,— завтра я разорвусь натрое, и каждая моя треть будет дежурить у одного из отелей винодела. Интересно, какие вина хранились в его подвалах?»

— Не смущайтесь! — обнадеживает меня почетный пенсионер.— Самым известным заведением Левандовского было то, что находилось на набережной. В Ялте все его знали. В ресторане этой гостиницы пили и куро-

лесили до самого утра. Дебош у Левандовского считался особым шиком. Его позволяли себе офицеры из хороших семей и купчики с хорошим капиталом. Офицерам приходилось все прощать, а купцов поутру отмачивали в море. Так что ступайте на набережную и ждите вашу эксцентричную особу. Странная, однако, затея — свидание у отеля Левандовского! Эта дама не лишена фантазии. И откуда она могла проведать о Левандовском, если даже в краеведческом о нем не ведают? Простите за нескромность — кто она, чем она занимается?

— Она певица,— отвечаю я,— эстрадная певица. И мать у нее была певица, и бабка, представьте себе, тоже пела. Такое у них, знаете ли, поющее семейство. От бабки-то она и слышала об отеле Левандовского, так я полагаю.

— А как фамилия бабки, если не секрет? — любопытничает Братанчук.

— Ее бабка — Брянская, Ксения Брянская. Слыхали о такой?

— Ну как же, как же! — восклицает старик.— Конечно слыхал! Ну как же — Брянская! Она в Ялте давала концерты. И дача у нее здесь была. У меня даже есть фотография ее дачи. Так вы знакомы с внучкой Брянской! Но позвольте... У нее ведь, кажется, не было детей?

— Это ошибочные сведения,— говорю я уверенным тоном.— Дети были.

27 июня. Ясное ветреное утро. На моих часах без четверти одиннадцать. По Морской улице я вышел на набережную. Остановился. Стал глядеть на публику, на ялтинский порт.

Публика выглядела соответствующе. Все женщины были в длинных белых платьях, в широкополых шляпах и с небольшими зонтиками (зачем же зонтик при такой шляпе?). Все мужчины — в белых костюмах, в соломенных канотье и с тросточками (жарко ведь в таких-то костюмах!). На углу торчал типовой городовой. Он тоже был весь в белом, кроме сапог. Порт выглядел очень скромно. Морского вокзала, естественно, не было, а краны были какие-то нелепые и маленькие. У мола был пришвартован довольно большой белый пароход с двумя тонкими, высокими, черными трубами. Трубы стояли косо, склоняясь к корме, на которой бился

под ветром незнакомый флаг. Надпись на носу парохода я не смог разобрать.

Приблизился к отелю, встал в тени пальмы, посмотрел на часы. Стрелки показывали уже без пяти одиннадцать. Появилась тревога. Вдруг позабудет? Но ведь сама же назначила время и место! Вдруг я не там все же стою? Но ведь она же не уточнила, какой именно отель Левандовского имела в виду! Вдруг что-нибудь ей помешает? Мало ли что может произойти!

Ксению увидел издалека. Она тоже была в широкополой шляпе и с зонтиком. Она шла быстро, придерживая шляпу рукой,— сильный был ветер. Рядом с нею двигался столбик пыли — маленький смерч. Ксения тоже увидела меня. Остановилась, помахала мне зонтиком, снова пошла. Столбик пыли исчез. Я бросился ей навстречу.

Сидели в кафе на крыше гостиницы. Над нами трепетал на ветру полосатый тент. Перед нами простиралось море. По нему откуда-то с юга бежали бесчисленные стада белых, кудрявых, кротких с виду овец. Подбежав к набережной, овцы с неожиданным грохотом разбивались о бетон. Ксения тянула через соломину кофе-гляссе и поглядывала на меня насмешливо.

— Ну, признавайся: ты делал то, что я тебе велела?

— О да! Бог свидетель! Едва проснувшись и даже еще не протерев глаза, я принимался думать о тебе. И весь день я продолжал думать только о тебе, не обращая ни малейшего внимания на хорошеньких женщин. Впрочем, на дурнушек я тоже не глядел.

— А стихи обо мне писал?

— Разумеется! И еще какие! Я написал о тебе штук десять отличных, почти гениальных стихотворений.

— Хвастунишка! А что, если ты заблуждаешься и они не так уж хороши? И когда же ты их мне подаришь?

— Скоро. Пусть немножко отлежатся. У меня такой метод: напишу, прочту, поправлю и отложу на время. После снова прочту, и снова поправлю, и снова отложу Потом еще разочек перечитаю, и если мне все понравится, и если мне не захочется больше ничего поправлять, значит, дело сделано, значит, стихи можно кому-то дарить и даже тащить их в редакции журналов.

— Хорошо, я подожду. Я терпелива. Какое море сегодня! Какие волны! Какой грохот! Когда шла к тебе, ветер сорвал мою шляпу. Сорвал, подхватил и чуть не унес ее в море. Я кинулась за ней вдогонку. Бегу, а шляпа все

летит предо мною, все в руки мне не дается — такая ловкая! У самого парапета поймал шляпу мою какой-то важный генерал. Я подбежала, говорю: «Премного благодарна!» А он с поклоном: «Счастлив оказать вам, мадам, эту скромную услугу! Ваша прелестная шляпа летает, как аэроплан. Все помешались теперь на воздухоплавании, даже дамские шляпы!» И к ручке приложился, и поглядел на меня зорко-зорко так. Тоже признал небось. А я соскучилась по тебе, милый, изрядно!

Ксения положила ладонь на мою руку и погладила ее. Я сжал ее пальцы.

— Ой, мне больно! Ты, я вижу, тоже стосковался. Давай возьмем извозчика и укатим куда-нибудь подальше на целый день! А вечером я привезу тебя к себе. Прислугу я отпустила до утра. Мы будем одни. Тебя устраивает такой план?

Спустились на набережную, поймали извозчика, покатили в Мисхор.

Ехали по узким городским улицам мимо бесчисленных дач и пансионов, вдоль бесконечных каменных подпорных стен, мимо каменных лестниц, таинственно уходивших куда-то вверх и куда-то вниз. Ехали по мрачным кипарисовым коридорам. Ехали под зелеными сводами акаций и каштанов. Проезжали под длинными, протянутыми над улицей руками пиний. Из тени выезжали на солнце и снова въезжали в тень.

Выбрались на пыльное ливадийское шоссе и стали медленно, зигзагами, взбираться на высокий холм. Ялта опускалась все ниже и ниже, а горы росли, а гор становилось все больше, и пейзаж делался все грандиознее.

— Красота-то какая! — сказала Ксения.— Прямо дух захватывает!

На шоссе попадались извозчичьи экипажи. Проехал длинный, черный, открытый автомобиль. В нем сидели офицеры с дамами. Дамы были все в тех же шляпах. Протопала рота солдат с фельдфебелем во главе. Лица солдат были серы от пыли и полосаты от потеков пота.

Подъем кончился. Въехали в лес. Миновали Ливадию и Ореанду. Затарахтели под горку. Извозчик натягивал поводья, сдерживая лошадь. Деревья расступились, и нам открылся романтический пейзаж с зелеными, поросшими лесом холмами и голыми отвесными скалами, торчащими из-за покатых спин. Снова показалось море.

Не торопясь, шагом, ехали над морем.

— Почему ты мне не снился? — спросила она.— Я все ждала, думала, вот-вот приснишься. А ты почему-то все не снился и не снился, и меня это начало немножко злить. Отвечай, почему ты мне не снился? Разве трудно было присниться хоть разок? Ведь я тебе снилась?

— Да, и я благодарен тебе за это.

— Вот, видишь! Я тебе старательно, добросовестно снилась, а ты мне — нет! И какие же были сны? Светлые, радостные? Или мрачные, тревожные? Или они были так себе, ни то и ни се?

— Сны были разные. Один был радостным, другой — мрачным, а два — ни то и ни се.

— Что же было в мрачном сне?

— О, это было страшно! Рассказывать даже неохота.

— Ну расскажи, расскажи, миленький! Расскажи, я тебя прошу!

— Пожалуйста, если так просишь. Ты превратилась в дерево. В сосну. В высокую стройную сосну. Ты росла на песке у самого моря. Кажется, где-то у Куоккала или у Келломяк. Твои корни торчали из песка. По твоей коре бегали муравьи. На твои ветки садились птицы. Твою пышную крону раскачивал ветер. Я пришел к морю, сел рядом с тобою на песок и стал гладить руками твои корни. Ты шумела под ветром и что-то мне говорила, но я ничего не понимал, и мне было очень горько. «Вот несчастье! — думал я.— Как же мне теперь быть-то? Что же мне теперь делать? Не превратиться ли мне тоже в сосну и расти рядом с нею на песке у моря? Тогда я стану понимать, что она говорит мне, шумя под ветром». Я глядел снизу вверх на твою хвою, и мне чудилось в ней твое лицо. И море шумело почти так же, как сейчас. Только это было другое море.

— Какой красивый, какой трогательный, какой поэтичный сон! — сказала Ксения.— Чего же в нем страшного?

— Но разве не страшно, что ты превратилась в дерево?

— Нет, ни капельки не страшно. В своей следующей жизни я бы с радостью стала такой сосной. Как хорошо, наверное, расти у самого моря! А если бы ты и впрямь рос рядом со мною, большего счастья я бы не желала.

Дорога шла вдоль обрыва.

— Останови, любезный! — сказала Ксения извозчику.

Вылезли из коляски. По сухой, пряно и горько пахнувшей колючей траве подошли к самому обрыву. Шум прибоя усилился. Далеко внизу огромные зеленые волны с мрачным упорством бились о берег, пытаясь его расшатать, расколоть, искромсать и раскрошить. Они разбивались о каменные глыбы, подымая тучи белых брызг, откатывались назад и снова кидались на мощную, неколебимую отвесную стену, и снова разбивались, превращаясь в мелкую водяную пыль. Море сверкало под солнцем. Вблизи будто кипело расплавленное олово. Но, может быть, это было и серебро. А дальше, ближе к горизонту, кипящий металл превращался в непереносимо яркую, слепящую белую полосу.

— Глазам больно! Невозможно смотреть! — сказала Ксения.

Мы целовались, стоя над обрывом, на виду у моря и чаек, которые, пролетая мимо, поглядывали на нас с интересом. Неподалеку сбегала вниз вырубленная в каменной стене лестница.

— Я хочу вниз! — крикнула Ксения и бросилась к ступеням.

Долго и осторожно спускались. Ксения то и дело вскрикивала от страха и прижималась ко мне, и нервно смеялась, и старалась не глядеть в пропасть. Внизу был крохотный, уютный галечный пляжик, окруженный камнями. На камнях неподвижно сидели чайки, повернув головы в одну сторону — против ветра. Вода бурлила, забираясь в щели между камнями. Выброшенный волной маленький краб быстро-быстро, боком спешил к воде. Острый запах водорослей ударял в нос.

Ксения сбросила туфли и, приподняв юбку, стала бегать у самой воды, играя с волнами. Откатывающуюся волну она преследовала, а от набегающей пускалась наутек, оглядываясь — не настигает ли?

Я сидел на камне, следил за этой игрой и глядел, как мелькали розовые пятки, как блестела влажная галька, как пузырилась стекавшая по гальке вода. Ксения нагнулась, подобрала камушек и бросила его в меня. Он ударился о мое колено.

— Ишь какой важный! — сказала она.— Сидит, молчит, наблюдает! Разулся бы лучше и поиграл вместе со мною!

В этот момент огромная волна обрушилась на пляж и окатила ноги Ксении выше колен. Она с визгом кинулась ко мне и шлепнулась рядом со мною на камень. Мокрый подол прилип к ее ногам, по ступням струилась вода.

— Доигралась! — сказал я смеясь.— Теперь ты выглядишь чудесно!

— Подумаешь! — сказала Ксения, отжимая подол руками.— Платье быстренько высохнет. Зато я насладилась игрой с грозной морской стихией. А что толку, что ты сухой?

Тут она спихнула меня с камня и с хохотом повалила на гальку. Я притянул ее к себе. Соленые брызги долетали до нас. Любопытные чайки кружились над нами.

— Ты с ума сошел! — шепнула Ксения, крепко сжав мою руку.— С обрыва нас могут увидеть!

Она села и принялась поправлять волосы. Я тоже сел. Рядом с нами валялись помятая шляпа и туфли, а зонтика не было.

— Ну вот,— вздохнула Ксения,— мы наказаны за наше бесстыдство. Пока мы обнимались, ветер унес зонтик в море. Следовало вести себя приличнее.

Я встал и полез на камни искать зонтик. Он быстро нашелся. Слава богу, ветер не унес его в море. Ветер спрятал его среди камней.

— Поехали дальше,— сказал я, вернувшись с зонтиком.— Платье высохнет, пока едем.

Долго-долго подымались по страшной лестнице. И опять Ксения вскрикивала и прижималась ко мне, и говорила: «Ой, упаду! Ой, ужас какой! Ой, держи меня! Ой, не могу я больше!»

Извозчик, заскучавший от безделья, хлестнул лошадь, и мы поехали скорой рысью. За нами клубилась пыль.

Слева из-за поворота показалась торчащая из моря острая скала, на верхушке которой стоял маленький сказочный замок с круглой башней.

— Что это? — удивилась Ксения.— Я никогда не видела этой крепости. Ее построили генуэзцы?

— Нет,— ответил я,— ее построили наши соотечественники, и к тому же совсем недавно. Эффектная затея, надо сказать.

В Мисхоре гуляли по парку. После сидели на скамейке под старым платаном. Под вечер отправились

в ресторан. Он был довольно паршивый и больше смахивал на трактир средней руки. Однако он выглядел куда роскошнее, чем ковыряхинский «чуланчик». Пели цыгане. Пели, в общем-то, плохо. Пытались плясать, но и это у них не получалось. Мы совсем уж было собрались уходить, но конферансье объявил, что сейчас выступит цыганка Глаша, которая исполнит романсы из репертуара знаменитой Ксении Брянской.

— Это забавно! — сказала Ксения, и мы остались.

Вышла стройная, красивая цыганка с длинными черными косами, вся в лентах, серьгах, перстнях и монистах. Гитарист заиграл, она запела. Ксения внимательно слушала, подперев щеку рукою. Слушала и улыбалась.

У Глаши был приятный голосок, и пела она с чувством. Но голосок нисколько не был поставлен, чувства было чрезмерно много, а держалась она грубовато. Получалась пародия на Ксению. Притом, было очевидно, что по наивности Глаша не ведает, что творит.

Ксения перестала улыбаться и нахмурилась.

— Пора домой! — сказала она и встала из-за стола.

Ехали молча. Коляска катилась по темному шоссе между темных деревьев. Кое-где тускло горели фонари и светились окна домов. Издалека доносился гул прибоя.

— Не расстраивайся! — сказал я.— Она же не нарочно. Просто у нее так получается, лучше она не умеет.

— Да,— отозвалась Ксения,— глупо на нее обижаться. Но я не без пользы ее послушала. Поделом мне.

Тут она всхлипнула.

— Ну полно, полно! — сказал я.— Ты знаменитая певица. Все тебя любят, все по тебе с ума сходят, все пред тобою преклоняются, а ты плачешь, как девчонка, и щеки у тебя мокрые, и нос у тебя мокрый, и подбородок у тебя мокрый, и даже шея у тебя мокрая от глупых слез. Ну что ты плачешь? Тебе надоело петь цыганские романсы? Тебе опротивел успех у столичного купечества и провинциального офицерства? Но кто же тебя неволит? Расстанься с этим сомнительным жанром, оставь эстраду, подготовь несколько оперных партий и приучи публику к Брянской — оперной певице, как приучила ты ее к Брянской — исполнительнице песен о нестерпимой роковой страсти. Ведь у тебя настоящий голос и подлинный талант. Надо быть смелее. Надо сделать

решительный шаг. Надо прорваться в оперу. Манера пения изменится. Можно брать уроки у лучших учителей. Можно отправиться в Италию, наконец! Ты же богата! Богата и свободна! Делай что хочешь! И верь в свою победу! А в случае неудачи через два, три года ты можешь вернуться на эстраду, и твои триумфы будут еще более шумными.

— Да, да, милый, ты прав! Да, да, мне надо решиться! Надо решиться! Надо набраться храбрости, зажмуриться и прыгнуть... с обрыва в море. С того самого обрыва, по которому мы с тобою карабкались.Но... скажи честно — то, что я пою, это действительно пошлость?

— Нет, радость моя, это не пошлость. Ты блестяще делаешь свое дело на эстраде. Ты делаешь его своеобразнее, эффектнее, изящнее, добротнее, убедительнее, чем все прочие эстрадные певицы. В своем жанре ты выше всех похвал. Ты уникальна. Ты просто чудо. Но само твое дело с изъянцем, сам жанр чуточку легкомыслен, легковесен и от большого полноценного искусства стоит на некотором расстоянии. Ты даришь публике то, что ей хорошо понятно, то, чего она ждет, то, что она предвкушает, заранее облизываясь. Ты доставляешь ей почти чувственное удовольствие, ты развлекаешь ее, ты делаешь ее будничное существование более уютным. А искусство подлинное вырывает человека из привычности земного бытия и погружает его в мир непривычный, в мир великих страстей, высоких помыслов и возвышенной красоты. Это искусство дарит нам радости, которым нет цены. Оно не стареет и не умирает. Оно вечно.

Мы замолчали. Стучали копыта. Поскрипывали колеса. В придорожных кустах звенели цикады. Над дорогой с тревожным криком пролетела какая-то ночная птица. Шум моря стихал. Ветер угомонился. Вскоре показались огни Ялты. Они были непривычно тусклыми и редкими. Через полчаса Ксения открыла железную калитку в каменной невысокой ограде, и мы пошли по усыпанной гравием дорожке к освещенному неярким фонарем крыльцу ее дачи. Поднявшись по изогнувшейся дугой деревянной лестнице и миновав недлинный коридор с обшитыми деревом стенами, мы оказались в небольшой комнате с мягкой мебелью в стиле модерн и со множеством цветов в разнообразных вазах. Цветы старательно благоухали, и было

душно, несмотря на открытую стеклянную дверь, которая вела, по-видимому, на балкон.

— Это мой будуар,— сказала Ксения,— а рядом моя спальня. А вот здесь нам приготовлен скромный холодный ужин. Ты, натурально, уже успел проголодаться? Да и я не прочь чуточку перекусить.

Проснулся я от щекотки. Ксения щекотала мне ухо прядью своих волос.

— Наконец-то ты открыл глаза! — сказала она.— Тебя не добудиться. Я уже решила потихоньку встать, одеться и отправиться гулять. А ты бы так и проспал здесь весь день, соня! Быстренько одевайся! Уже десять часов! На курорте преступно так долго спать!

Я послушно встал, быстро умылся, оделся, причесался, подошел к постели, сказал: «Я готов!» — и поцеловал Ксению в голое плечо.

— Молодец,— сказала она.— Давно бы так! А теперь буду одеваться я. Ступай в соседнюю комнату и не подсматривай. Я не люблю, когда кто-то наблюдает за мной исподтишка.

Я вышел в будуар, не закрыв за собой дверь, и сел в кресло у маленького, инкрустированного яшмой столика, на котором в беспорядке лежали иллюстрированные столичные журналы. Рядом была дверь на балкон, открытая настежь и занавешенная тюлем. Легкий утренний ветерок осторожно шевелил занавеску, приподымал и морщинил ее, надувал ее парусом, потом вдруг резко подбрасывал ее вверх, а после затихал и вроде бы оставлял занавеску в покое, но вскоре, как бы спохватившись, снова надувал тюль и снова его морщинил. Видимо, он любил это развлечение, и оно ему не надоедало.

Я увидел Ксению в дверном проеме. Она подошла к туалету. На ней был полупрозрачный голубой пеньюар с глубокими прорезями на рукавах и на подоле. Солнечный зайчик, пробравшийся в спальню откуда-то из сада, дрожал на ее спине.

Ксения уселась на обитый синим шелком маленький пуф, закинула руки за голову, сгребла волосы с плеч, высоко подняла их над головой, подержала их так, глядя на себя в зеркале, потом бросила волосы, и они снова рассыпались по плечам. Посидев с минуту

неподвижно, она начала причесываться. Мне стало неловко, что я все же подглядываю, и я погрузился в журналы.

Почему-то я читал одни рекламы. Они казались мне забавными и по-детски наивными. И, как во всем детском — в детских рисунках, в детском лепете, в детских ужимках, в детском озорстве, в детских капризах,— в них было что-то приятное.

КРАСИВЫЕ УСЫ
мечта всякого юноши с пробивающимся пушком
над верхней губой
Но при употреблении
ПЕРУИНА-ПЕТО
через удивительно короткое время вырастают
длинные, пышные, роскошные усы
Успех поразительный!

Ксения колдовала над своими волосами. Она разделяла их на пряди, тщательно расчесывала их гребнем, закручивала их, сплетала, укладывала, завязывала узлом, закалывала шпильками. Руки ее танцевали какой-то замысловатый, ритмически сложный танец. Здесь были прыжки, пробежки, эффектные наклоны и повороты, подрагивания, покачивания и мастерски выполненные вращения на одном месте. «Какой балет!»— думал я, поглядывая все же в соседнюю комнату.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВОЙ!
КРЕМ РЕНЕССАНС
создает, поддерживает и возвращает красоту
берегите себя от обмана
появились подделки

— Радость моя, тебе ведь еще придется надевать платье! — сказал я.— Ты испортишь это величественное сооружение из волос и шпилек!

— Увы, дорогой мой, мне действительно придется надеть платье, и мысль об этом меня угнетает, потому что на дворе невыносимая жара. А что, если я выйду в пеньюаре? Он широкий, свободный. В нем прохладно. Клянусь, многие не поймут, в чем дело. Решат, что это новейшая мода — прогуливаться на курорте в пеньюаре.

— Нет, Ксения, не согласен,— ответил я.— Ты надеваешь платье,— кстати, интересно будет поглядеть, как у тебя это получится при такой-то прическе,— и отправляешься со мною гулять в приличном виде. А стихи я все равно тебе напишу, так и быть.

— О! — воскликнула она и, повернув голову, взглянула на меня.— Ты не лишен благородной способности к самопожертвованию! Но, знаешь, мне не нравится, что ты зовешь меня «Ксения». Слишком сухо. Как в паспорте. Придумай, пожалуйста, что-либо интересное, какое-нибудь милое прозвище. Или хотя бы называй меня чуть поласковей. Поклонники, из тех, которым особенно повезло, которым не возбранялось целовать носки моих туфель и край моего платья, называли меня Ксаной или Ксюшей. Первое по-дворянски слащаво. Второе по-крестьянски простовато. И все же второе, кажется, приемлемо. Матушка зовет меня Ксенюшей. Этот вариант тоже неплох, хотя в нем есть нечто чрезмерно родственное.

— Хорошо,— заключил я,— остановимся на «Ксюше». Меня это устраивает.

В РАССРОЧКУ без поручителей по всей Российской империи ЛУЧШИЕ ГРАММОФОНЫ в 10 р. 20 р. 35 р. 65 р. 85 р. 125 р. и дороже
предлагает
торгово-промышленное товарищество
ВИНОКУРОВ
ЗЮЗИН и
СИНИЦКИЙ

— Что ты там затих? — спросила Ксюша сквозь зубы — в зубах была зажата шпилька.— Ты отыскал в этих старых журналах нечто любопытное?

— Тут написано,— отозвался я,— что можно в рассрочку и, представь себе, даже без поручителей приобрести лучший в мире граммофон ценою от десяти до ста двадцати пяти рублей и дороже.

— Это хорошо, что без поручителей,— процедила Ксюша,— но, к сожалению, у меня уже есть граммофон, даже два граммофона, и тоже лучших в мире. Правда, один из них, кажется, уже неисправен.

— Еще сообщают, что чашка какао Ван-Гутена — безусловно наилучший удобоваримый завтрак и что из одного фунта получается сто чашек.

— Пила я это какао. Оно действительно ничего себе,

но не такое уж дешевое. А из одного фунта никак не получается сто чашек. Вранье.

— Еще предлагают хороший побочный заработок, который можно иметь посредством вязания на новой автоматической вязальной машине фирмы Томас Виттик и К°. Сбыт продукции гарантируется.

— Вот это для меня! Скоро публике надоест крушить стулья на моих концертах, и тогда мне, бедняжке, придется прибегнуть к скромному побочному заработку. Не так уж плохо вязать носки и варежки. А если научиться вязать шерстяные модные жакеты, то это вполне заменит профессию певицы. К старости все женщины начинают вязать. Хочешь, милый, я свяжу для тебя шикарные полосатые носки из оренбургской шерсти? Тебе будет в них тепло и удобно. Надевая и снимая их ежеутренне и ежевечерне, ты с благодарностью, а может быть, и с нежностью, а быть может, даже с любовью будешь вспоминать обо мне. Хочешь? Сами носки будут белые, а полосы — синие. Или носки будут серые, а полосы я сделаю коричневые. Что тебе больше по душе? Или ты мечтаешь о желтых носках с красными полосами? А?

— Да бог с тобою, Ксюша! — простонал я.— Такое пекло, а ты о шерстяных носках!

Отбросив тюлевую занавеску, я вышел на балкон. Совсем рядом, на уровне моей груди, торчали верхушки двух пальм. За ними зеленели кроны каких-то густых деревьев. Далее возвышался мавританский купол соседней виллы, а за ним распахивалась панорама Ялты: черные пики кипарисов, серые каменные стены, красные черепичные крыши, башни и башенки, шатры и купола, балконы и веранды, разноцветные маркизы. Далее простиралось море. Оно было таким, каким и положено ему быть,— ярко-синим, густо-синим, безнадежно-синим, ошеломляюще-синим, одуряюще-синим. По синему морю плыл знакомый белый пароход с двумя высокими наклонными трубами. Из труб клубами валил черный дым. А еще дальше стояло небо. Его было очень много. Его цвет был непонятен: то ли тускло-голубой, то ли бледно-серый. Словом, он был какой-то перламутровый.

— Это пароход «Таврия»,— услышал я голос Ксении за своей спиной — она тихонько вслед за мною вышла на балкон,— хороший, комфортабельный и еще совсем новый пароход. На нем почти не качает. Только

машины очень гудят. Я на нем плыла однажды из Севастополя в Одессу. Всю дорогу нас сопровождали дельфины. Всю дорогу они плыли рядом с нами, то и дело выпрыгивая из воды. Всю дорогу я ими любовалась.

Тут я оглянулся и поглядел на Ксюшу. Она была в полном порядке. Прическа выглядела блестяще — каждая прядь лежала на своем месте и изгибалась, как ей было положено, ни один волосок не торчал, уши были прикрыты ровно на столько, на сколько требовалось, лоб был весь открыт и удивлял своей белизной. Одета она была не так, как вчера. Белое холстинковое платье плотно облегало стан и бедра, а ниже колен внезапно расширялось, покрываясь многочисленными оборками. Руки почти до локтей были закрыты тонкими нитяными перчатками. В одной руке был пока еще сложенный, белый, тоже не вчерашний зонтик. К запястью другой на тонкой серебряной цепочке был подвешен шелковый белый веер. Волосы слегка прикрывала плоская соломенная шляпа, украшенная букетом нежно-голубых искусственных фиалок.

— О-о-о! — сказал я.

— Что, недурненькая девчушка? — спросила Ксюша, величаво приподняв подбородок и отставив в сторону руку с зонтиком.

— Так себе,— ответил я,— разве что не замухрышка.

— Ах вот ты как! — возмутилась Ксюша и ударила меня зонтиком по плечу. И опять, не удержавшись, я обнял ее за талию, а она сопротивлялась, а она кричала: «Преступник! Ты снова изуродуешь мою прическу!» А после, не бросая зонтика, она закинула руки мне за спину и нежно, спокойно поцеловала в губы. И я представил вдруг на секунду, как смешно мы сейчас выглядим — у меня на спине болтаются зонтик и веер.

Потом мы долго спускались по длинной, длинной, длинной лестнице. По бокам стояли кипарисы. Они источали изумительный, ни с чем не сравнимый запах Крыма. Я держал уже раскрытый зонтик. На сгибе моей руки лежала Ксюшина рука в нитяной перчатке. На ней висел, плавно покачиваясь, веер. Другой рукой Ксюша поддерживала подол платья. «Вот так бы и идти по этой бесконечной лестнице между этих кипарисов под этим кружевным зонтиком с этой женщиной! — думал я умиленно.— Вот так бы

всю жизнь и спускаться с нею к морю, которое синеет там, внизу! Вот так бы целую вечность!»

— О чем ты думаешь? — спросила Ксения, заглянув мне в лицо.

— Я думаю о том, что мне не будет обидно, если эта лестница окажется бесконечной,— ответил я.

— Пожалуй, я тоже не стала бы обижаться,— сказала Ксения.

Мы шли по живописной узкой улочке, которая, извиваясь, тянулась вдоль берега в сторону Массандры. Встречавшиеся пешеходы пропускали нас, прижимаясь к стене. Или мы прижимались к стене, пропуская встречных пешеходов. Над нами нависали деревянные резные балконы и полотняные тенты. Из открытых дверей татарских лавчонок тянуло запахом копченой рыбы. Крутые, совсем узенькие лестницы сбегали вниз, в уютные маленькие дворики с верандами, оплетенными виноградом, с непременным бельем на веревках. Красные черепичные крыши уплывали в бесконечную синеву моря. В тени акации у серой каменной стены, поджав под себя ноги, сидел старик-татарин с жидкой седой бороденкой. Он торговал раковинами. На каждой была латунная пластинка с выгравированной надписью: «Привет из Ялты!». «И сейчас ведь торгуют раковинами,— подумал я.— Только они стали помельче».

Из обогнавшего нас автомобиля кто-то крикнул: «Ксения Владимировна!» Автомобиль остановился. Дверца открылась. Вышел уже немолодой господин в светлом костюме свободного покроя. За ним выпорхнула молодая пикантная дама в розовом платье, сплошь покрытом рюшами, лентами и кружевами. Мы подошли к ним. Господин и дама радостно улыбались.

— Позвольте представить вам, господа, петербургского поэта...— Ксения назвала мое имя и мою фамилию.

— Аделаида Павловна Корецкая! — сказала дама, наклонив голову и разглядывая меня с нескрываемым любопытством.

— Николай Адамович Корецкий! — произнес господин, подавая мне мягкую маленькую, почти женскую ладонь.— Судя по всему, вы направляетесь в Массандру,— добавил он, поцеловав руку Ксении.— Мы будем счастливы вас подвезти!

— Благодарствуйте! — ответила Ксюша.— Нам хочется пройтись пешком и полюбоваться пейзажами старой Ялты. Но я буду рада, если вы нанесете мне визит. Давно ли из Петербурга?

— Всего лишь третий день блаженствуем в Крыму! — пропела Корецкая, слегка картавя.— Еще ни разу даже не купались. Николя не любит купаний.

Корецкие снова уселись в автомобиль. Николай Адамович помахал нам шляпой. Аделаида Павловна помахала платочком. Автомобиль тронулся, выпустив облачко белого вонючего дыма.

— Это мои петербургские друзья,— сказала Ксюша.— Корецкий помогает мне в моих финансовых делах. Неглупый, интеллигентный, приятный человек. Адель — глупышка, но добрая и, в общем-то, милая.

Не заметили, как оказались в Массандровском парке. В нем было безлюдно и немножко запущенно. В нем стояли высокие, очень старые кипарисы с толстыми, разветвленными, серебристыми стволами и не менее старые, развесистые крымские сосны с кривыми ветвями, опускавшимися до самой земли. Порхали бабочки. Пели птицы. Воздух был сух и горяч. Над вершинами кипарисов по тусклой от зноя голубизне неба скользили обрывки прозрачных белых облаков. Солнце светило неярко. По дорожке невдалеке от нас проползла толстая, длинная светло-коричневая змея устрашающего вида. Ксюша вскрикнула и прижалась ко мне.

— Это желтопузик, он не кусается, он совсем безвреден,— сказал я.— Хочешь, я его поймаю?

— Ты с ума сошел! — крикнула Ксения и прижалась ко мне еще крепче.

В конце аллеи мелькнула высокая сутулая фигура в белом; нескладная, длиннорукая фигура в белом. Ковыряхин? Неужто он? Стало быть, он тоже в Крыму? Или я обознался? Да, наверное, я обознался. А впрочем, отчего бы ему не съездить в Ялту? Отчего бы ему не поплескаться в море, не полакомиться свежими фруктами, не посидеть в винных погребках и ресторанах и не сфотографироваться на память рядом с самой красивой пальмой? Трактир он оставил на попечение Пафнутия. А то еще и нанял кого-нибудь Пафнутию в помощь...

Сели на скамейку под деревом неизвестной мне породы.

— А может быть, это и есть моя судьба — петь душещипательные романсы для столичного купечества и провинциального офицерства? Может быть, для этого я и на свет родилась? — сказала вдруг Ксения, ковыряя зонтиком песок.— В конце концов, какая разница, кому петь — петербургскому приват-доценту, окончившему два университета и владеющему четырьмя языками, или армейскому прапорщику из захолустного гарнизона, окончившему с грехом пополам юнкерское училище и не прочитавшему за свою жизнь и двух десятков книг? Люди мне рукоплещут, люди с жадностью слушают мое пение, людям нравится мой голос, люди обожают мои романсы, люди млеют от моей улыбки. Не лучше ли петь игривые романсы для многих тысяч, чем оперные арии для нескольких сотен? Не лучше ли делать то, что у тебя уже получается, чем мечтать о том, что, быть может, у тебя никогда не получится? Не лучше ли быть хорошим матросом, чем дурным капитаном, хорошим каменщиком, чем никуда не годным архитектором, хорошим суфлером, чем бездарным трагиком?

— Ах, Ксюша! Ты точь-в-точь повторила слова одного знакомого мне живописца! Он тоже убежден, что создан лишь для того, чтобы всю жизнь простоять у входа в настоящее искусство, что входить ему туда не следует. Пусть, мол, другие входят, если желают, а я скромный, я и тут постою. Должен же кто-то стоять у входа! Я тебя с ним познакомлю. Кстати, он любит мою живопись, хотя и не покупает у меня картин, как ты. Свои же полотна он продает за приличную цену. А между тем все в мире стремится от простейшего к сложному, от примитивного к совершенному, от хорошего к наилучшему — это закон вселенной. Мой знакомый не уверен в себе. Он боится, что не станет сложным, совершенным, наилучшим. Ты тоже в себя не веришь? Ты тоже боишься? Ты тоже всю жизнь проторчишь у входа, глядя, как другие бесстрашно входят, спалив за собою мосты? Прекрасен успех, который дарует нам искусство. Но и успех в стороне от искусства до крайности соблазнителен. Чего же ты хочешь — искусства или успеха? Успехом ты уже насытилась. Не пора ли вкусить искусства? Оно тебя ждет!

Было душно. Воздух стал густым и с трудом пробирался в легкие. Ксения вытерла лоб платочком.

— Нечем дышать,— сказала она.— Кажется, будет гроза.

Где-то далеко, над горами, глухо и как бы нерешительно, как бы стесняясь, пророкотал гром. Стайка стрижей с криком пронеслась над вершинами кипарисов. С севера на Тавриду надвигался мрак.

Взявшись за руки, мы побежали по аллее вниз, туда, где у входа в парк располагалось небольшое кафе. Первая капля упала мне на щеку и, приятно холодя кожу, потекла к подбородку. Где-то совсем рядом, над парком, и уже безо всякого стеснения ударил гром. Едва мы успели спрятаться, как сверху полилась вода. В небе что-то взрывалось, разламывалось, разваливалось. В небе шло грандиозное побоище. Какие-то непримиримые противники сошлись на небесном ристалище, стараясь одолеть друг друга. На земле тоже творилось нечто невообразимое. Деревья шумели и раскачивались под ветром. По дорогам неслись бурные мутные потоки. Две дамы, врасплох застигнутые дождем, в насквозь промокших, прилипших к телу платьях, приподняв безо всякой надобности юбки, вброд переходили дождевую реку. Ксения была в восторге.

— Какой ливень! Какое дивное зрелище! И откуда в небесах берется столько водищи? Поразительно!

Мимо кафе, накрывшись мешком и шлепая по лужам босыми ногами, пробежал какой-то парень. Проехала телега на двух высоких колесах. С возницы, с лошади, с колес текли ручьи.

— Сумасшедшие! — смеялась Ксюша.— Куда они торопятся? Подождали бы! Никогда в жизни не видывала такого дождя! Потоп! Конец света!

Гроза уже бушевала над морем. Слепящие зигзаги молний вонзались в кипящую серо-зеленую воду. На горизонте была беспросветная темень. Туча уходила на юг, за море, к Трапезунду, к минаретам Стамбула. Омытое ливнем крымское побережье пахло свежей зеленью, цветами, мокрой землей.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. С деревьев падали крупные капли. Дождевые реки мгновенно обмелели. В облаках появились голубые просветы. Мы вышли из-под крыши кафе.

— Какой аромат! — сказала Ксюша, нюхая воздух. Ноздри ее раздувались. Я поцеловал ее ноздри —

сначала одну, потом другую. Она легонько меня оттолкнула.

— На нас смотрят!

И действительно, на нас уже смотрели. Кажется, Ксению опять узнали.

— Ты очень неудобная женщина,— сказал я.— С тобой нельзя показаться на людях, с тобой нельзя гулять по улицам, с тобой нельзя ходить в рестораны, с тобой надо быть все время настороже.

— Да, милый,— вздохнула Ксюша,— я тебе сочувствую, тебе не повезло.

На другое утро мы опять встретились у гостиницы Левандовского. Ксения пришла не одна — она держала за руку хорошенькую девочку лет пяти в пышном светло-зеленом платьице и очень милой белой шляпке с длинными светло-зелеными лентами. На плече у девочки висела белая шелковая сумочка, в которой, как вскоре выяснилось, лежали шоколадные конфеты. Подойдя ко мне, она сделала глубокий книксен и сказала, что ее зовут Аля. В свою очередь я представился ребенку.

— Аля — моя племянница,— пояснила Ксюша.— Она отдыхает в Ялте со своими родителями. У нас с нею преотличные, вполне дружеские отношения.

— Я люблю тетю Ксану! — пролепетала Аля, обняв Ксению за талию и заглядывая ей снизу в глаза.

— А я люблю Алю! — произнесла Ксюша и, нагнувшись, поцеловала племянницу в щечку.

После мы гуляли по набережной, любовались морем, и Аля непрерывно ела конфеты, доставая их одну за другой из своей сумочки.

Я подозвал пробегавшего мимо мальчишку-газетчика, купил газету и подмигнул Але.

— Сейчас мы сделаем бумажный корабль и пустим его в море!

Аля запрыгала и захлопала в ладоши.

— Сделаем, сделаем! Пустим, пустим!

Я пробежал газету глазами. Существенных событий в мире не происходило. «Заседания Государственной думы... Успех Международной строительно-художественной выставки в Петербурге... Принятие новых законов в германском рейхстаге... Британские суфра-

жистки продолжают борьбу... Беспорядки в Персии... Северо-Американские Соединенные Штаты...»

Корабль получился большой и красивый. На его борту оказалась фотография, изображавшая стычку лондонских суфражисток с полицией, а на самом носу пристроился один из павильонов петербургской выставки. Мы спустились по ступеням к воде, я поставил корабль на воду и оттолкнул его Ксюшиным зонтиком от берега.

— Ура! Он поплыл! — закричала Аля.

— Ну вот,— засмеялась Ксения,— ты, мой дружочек, ко всему прочему и корабельный мастер!

— А он вернется? — спросила Аля.

— Разумеется! — ответил я.— Через год мы придем сюда, и наш корабль, проплыв все моря и океаны, посетив далекие материки и архипелаги, одолев все штормы и тайфуны, причалит к этим ступеням.

Аля снова запрыгала от восторга.

— Ура! Ура! Он к нам вернется. Он нас не забудет!

Вытащив из сумочки очередную конфету, она развернула серебряную бумажку. Конфета была отправлена в рот. Алина щека оттопырилась.

— Господи, ты же подавишься! — испугалась Ксюша.— Разве можно глотать конфеты не жуя?

— Я жуу,— смиренно ответило дитя,— я не готау не жуа.

— Поразительный ребенок! — продолжала Ксюша.— Может слопать сотню конфет за один час! Даже непонятно, как они в ней умещаются.

Прощаясь, мы договорились о вечерней встрече у меня, в Доме отдыха писателей. Я объяснил, как проехать.

— Жду тебя ровно в шесть,— сказал я, целуя Ксюшины пальцы,— буду встречать у входа. До свиданья! — улыбнулся я девочке.— Ровно через год, Аля, мы торжественно встретим наш бумажный корабль. К тому времени ты постарайся подрасти, но не ешь слишком много конфет, будь благоразумна.

В винном подвальчике у рынка покупаю бутылку новосветского шампанского и бутылку массандровского муската. На рынке покупаю крупные яркокрасные помидоры и маленькие, хрустящие на зубах свежепросольные огурчики особого, пряного, ялтин-

ского посола, а также синий сладкий лук, пучок петрушки, нежную янтарно-желтую черешню, не менее нежные, покрытые светлым пушком абрикосы и сочные, полупрозрачные сливы. В мясном отделе гастронома покупаю небольшую молодую курицу. Воротясь в Дом отдыха, направляюсь на кухню и прошу зажарить мне курицу поаппетитнее.

В половине шестого мой пиршественный стол, то есть журнальный столик, выглядит уже довольно внушительно. Посередине, на большой тарелке, взятой из столовой, возлежит спинкой кверху подрумянившаяся, соблазнительно пахнущая курица, обложенная помидорами, огурцами, луком и петрушкой. Рядом, на другой тарелке, горкой возвышаются фрукты. Композицию дополняет уже открытая бутылка муската. Не хватает только шампанского, оно пока еще в холодильнике, который стоит в коридоре и предназначен для общего пользования.

Отойдя в дальний угол комнаты, я внимательно разглядываю натюрморт. Он вполне меня удовлетворяет. После сажусь в кресло и начинаю потихоньку нервничать, то и дело поглядывая на часы. В пять сорок пять выхожу из спального корпуса и усаживаюсь на скамейку поблизости от входа. Теперь я нервничаю уже изрядно. Вдруг извозчик завезет ее куда-нибудь не туда? Вдруг что-нибудь помешает ей приехать? Вдруг... вообще все кончится — я очнусь, проснусь, и уже никогда, никогда...

В шесть часов три минуты из-за поворота дороги показался извозчичий экипаж. Он подъехал к крыльцу и остановился. Серая, довольно породистая лошадка скребла копытом асфальт. Усатый извозчик был неподвижен, как истукан.

На других скамейках сидели и дышали прохладным вечерним воздухом мои коллеги-писатели, имена которых я так и не удосужился узнать, а также и жены писателей, с которыми я и подавно не был знаком. При виде экипажа они оживились.

Проворно подскочив к пролетке, я подал руку безупречно одетой Ксении, и она величественно сошла. Литераторы, а также их жены, а также случайно оказавшиеся у крыльца посторонние граждане взирали на этот спектакль ошеломленно.

Ксюша знакомым жестом подхватила подол платья. Мы взошли на крыльцо, миновали портик ионического

ордера и вступили в полумрак вестибюля. По устланной ковровой дорожкой лестнице поднялись на третий этаж.

— У вас тут неплохо,— заметила Ксюша.— Чисто. И мебель хорошая. Всюду ковры. Пансион довольно богатый. А кому он принадлежит?

— Обществу писателей,— ответил я.

— Как много здесь вкусного! — воскликнула моя гостья, поглядев на приготовленное угощение.— Накорми меня поскорее, я страшно проголодалась!

Я сбегал за бутылкой шампанского, мы уселись и немедля приступили к трапезе. Ксения неустанно восхищалась.

— Прекрасное шампанское! Изумительный мускат! Чудесная курица — ей-богу, никогда не пробовала такой! А огурчики! Где тебе купили такие огурчики? На рынке? Неужели там продают нечто подобное? Завтра же сама еду на рынок с огромнейшей корзиной! Но сливы, сливы! Откуда тебе известно, что я люблю именно этот сорт? Про абрикосы не скажу ни слова. Их и есть-то даже совестно.

За окном стемнело. Я зажег свет.

— Я совсем пьяная! — прошептала Ксюша, откинувшись на спинку кресла.— Мускат такой вкусный, такой ароматный... Я увлеклась и выпила лишнего. У меня кружится голова... А почему ты меня не целуешь? Уже разлюбил? Я тебе уже наскучила? Рядом с тобою сидит такая очаровательная и к тому же такая хмельная женщина, а ты даже не пытаешься ее поцеловать! Безумец!

— Уже целую! — сказал я, касаясь губами ее виска.

— Ты меня вовсе не любишь,— говорила Ксюша, надув губы.— Ты меня соблазнил и скоро бросишь. Я знаю.

— Да полно! — отвечал я, целуя ее волосы.— Да что ты такое говоришь! Да как ты можешь! Да как у тебя язык-то поворачивается!

— Ну, скажи, скажи, как ты меня любишь! — шептала Ксения.— Ты ведь еще ни разу не говорил мне об этом. Ну, расскажи, расскажи мне, милый, о своей любви! Какая она?

— Она огромная. Она необозримая. Она безбрежная. Я пытался было добраться до ее берегов, но ничего не вышло.

— А на чем ты плыл?

— Куда?

— К берегам любви.

— Я плыл на легкой, но прочной яхте под высоким, острым, треугольным парусом.

— И ты не боялся бури?

— Боялся, конечно. Немножко боялся.

— А какая она еще, твоя любовь?

— Она нежная. Ее нежность не с чем сравнить. Она невиданно нежная. Разве ты этого не ощущаешь?

— Ощущаю. А еще?

— Она страстная. О, какая она страстная! Все во мне кипит и клокочет, едва я увижу кончик твоей туфли или колечко волос на твоем затылке.

— Какой кошмар! Я боюсь! Чего доброго, ты загрызешь меня в порыве страсти!

— Но тебе же хочется, чтобы любовь была страстная?

— Натурально, хочется! А еще?

— А еще она вечная. Она навсегда. Если я умру, я буду любить тебя и после смерти. А если ты умрешь, я буду любить тебя мертвую, будто ты жива. Только уж ты не помирай, пожалуйста, окажи мне такую любезность!

— На то будет Божья воля. Ежели Господу захочется взять меня к себе, я не посмею противиться.

Около полуночи мы вышли из дверей спального корпуса. На скамейках у крыльца еще сидели писатели. Завидя нас, они перестали разговаривать и застыли в неподвижности. Потом они зашептались за нашими спинами. Спустившись по дорожкам парка на улицу, мы взяли извозчика и вскоре подъехали к калитке Ксюшиной дачи. Открытые окна гостиной были освещены. В одном из окон стоял человек. На его плечах поблескивали погоны. Лицо его время от времени освещалось огоньком папиросы. На лице явственно обозначались темные усы.

— Явился! — жалобно вздохнула Ксения.— Теперь мне не будет покоя. Послезавтра ровно в полдень жди меня у входа на мол!

Стоял у входа на мол. Как раз на том месте, где теперь стоит морской вокзал. К молу только что причалил пароход «Тирасполь». Он был не очень велик и не очень красив. У него была только одна высокая черная

труба с белой полосой. На палубах толпилась публика. На верхних — почище, понаряднее, на нижней — попроще, погрязнее. Портовые рабочие катили по молу бочки. «Небось вино,— подумал я.— Небось из подвалов господина Левандовского». Неподалеку от меня стояло десятка полтора извозчичьих колясок и несколько автомобилей. Они поджидали прибывших на «Тирасполе». Из-за ближайшего автомобиля появилась Ксения. Как и прежде, вся в белом. Как и прежде, в большой шляпе. Приблизилась. Я поцеловал ей руку. Отошли в сторонку, в тень, под деревья.

— Думал обо мне?

— Нелепый вопрос! О ком же мне еще думать, радость моя?

— Женщины любят задавать нелепые вопросы, милый, и надо иметь терпение на них отвечать.

— Терпения у меня предостаточно. Спрашивай дальше.

— И что же ты обо мне думал?

— Я думал о загадочности твоего обаяния. Ты, разумеется, красива. Ты очень красива. Ты феноменально хороша. И еще от тебя исходит сияние славы. Оно опьяняет и ослепляет. Но это не все. В тебе есть нечто непонятное, неуловимое, не поддающееся осмыслению. Я немножко боюсь тебя.

— Ха-ха-ха! Не бойся, миленький мой, не бойся! Я сама тебя побаиваюсь. Иногда мне кажется, что ты послан мне Господом. А иногда... Ты у меня тоже чуточку таинственный.

— Жду дальнейших вопросов и готов ответить на них с полнейшей откровенностью.

— Больше вопросов пока нет. Можешь и сам о чем-нибудь спросить, я разрешаю.

— Ну, что Одинцов?

— Одинцов ужасен. Он кидается на меня, как смертельно раненный носорог. Я чудом жива. Кто-то из прислуги выследил нас с тобой, и ему известно о твоем ночном визите. Он сказал, что мы все трое погибнем, что участь наша уже решена. Сначала он убьет тебя, после меня, а напоследок и сам застрелится. Вчера утром он упражнялся в стрельбе — продырявил в трех местах мою любимую картину. Как бы и впрямь не выкинул какую-нибудь штуку. Кажется, нам будет полезно на время расстаться. Через неделю я уезжаю на гастроли по городам Поволжья: Астрахань, Царицын, Самара,

Нижний. Натурально, буду писать тебе отовсюду. А ты не пиши мне попусту — твоим письмам за мной не угнаться. В конце августа вернусь в Питер и сразу же буду тебе телефонировать.

Я погрустнел и умолк. Гастроли ей нужнее, чем я. Не увижу ее два месяца!

— Не печалься, милый! — Ксюша положила руку мне на грудь.— Так будет лучше. У Одинцова есть серьезные основания для того, чтобы тебя убить. И суд его оправдает: он совершит преступление, побуждаемый жгучей ревностью. Но он может убить тебя и вовсе безнаказанно — на дуэли.

— Ну, положим, на дуэли я и сам его застрелю.

— Не храбрись, милый. Одинцов военный и стреляет лучше тебя. Его рука не дрогнет, и он с наслаждением отправит тебя на тот свет. Я этого не перенесу. Пожалей меня ради Христа и пречистой Богородицы!

После завтрака дежурная по спальному корпусу вручает мне конверт без марки и без адреса. На нем энергично, по-мужски написана лишь моя фамилия в дательном падеже. В конце вместо точки стоит небольшая клякса. Писавший был явно неспокоен. Писавший несомненно нервничал. Вскрываю конверт, читаю:

«Милостивый государь!

Известные Вам обстоятельства оскорбляют меня как мужа, как дворянина и как русского офицера. Возникшую коллизию может разрешить только дуэль.

Завтра, двадцатого июня, ровно в пять утра я буду ждать Вас с Вашим секундантом на Рыночной площади, откуда мы направимся к месту поединка. Мои дуэльные пистолеты к Вашим услугам.

Подполковник Гвардии Е. И. В.

А. Г. Одинцов».

Ну вот, допрыгался. Не все коту масленица. Любишь кататься, люби и саночки возить. Как веревочка ни вейся... Умница А. Будто в воду глядел.

Какое это красивое, легкое, певучее слово — дуэль! Его хочется произносить нараспев: дуэ-э-эль! В нем есть что-то манящее, призывное, неотразимо обольстительное и несказанно поэтичное. Буква «э» придает ему аристократическую утонченность. Его хочется рифмо-

вать со словами «свирель» и «колыбель», которые столь же музыкальны. А сколько реминисценций оно вызывает! И какая бездна романтики в нем заключена! Для поэта так естественно быть убитым на дуэли! Для поэта прямо-таки почетно погибнуть на дуэли! Стало быть, он не бездарь, если кому-то хочется всадить ему пулю в живот. Значит, он чего-то добился, если кому-то не терпится продырявить ему голову. Ксения, конечно, будет рыдать и долго-долго станет носить траур. А после она будет говорить: «Из-за меня он стрелялся и был убит наповал. Я любила его безумно». Или: «Я сделала все, чтобы дуэль не состоялась. Но он был горд и упрям, а судьба была жестока». Или: «Я знала, что это должно случиться, и это случилось. О, как он любил меня!»

Но где же мне взять секунданта? Как назло, в Ялте и на всем побережье сейчас ни одного знакомого. Да и в Доме отдыха я ни с кем не успел сдружиться. Разве что Евграф Петрович? Но он испугается, но он, конечно, откажется наотрез. Дело-то щекотливое. Если кто-нибудь будет серьезно ранен, придется воспользоваться услугами больницы. А рана-то окажется пулевой — тут же сообщат в милицию. Но другой кандидатуры попросту нет.

В столовой за моим столом кроме меня сидят еще двое. Один из сотрапезников отнюдь не литератор. Кто он, не разберешь. Мрачен, молчалив. Ест быстро, жадно, будто долго голодал и все никак не может насытиться. Все съев, тут же встает и уходит, буркнув: «Приятного аппетита!» Второй — Евграф Петрович. С ним мы потихоньку познакомились.

Евграфу Петровичу за семьдесят, но выглядит он молодцом — не страдает ожирением, не сутулится, не втягивает голову в плечи, не волочит ноги. К тому же он не плешив, хотя две глубокие залысины несколько уменьшили его волосяной покров, возымевший от легкой седины благородный платиновый оттенок. Даже мешки под глазами у него невелики и кажутся не столько следствием старости, сколько печатью весьма распространенного, но не смертельно опасного недуга почек. Словом, больше шестидесяти двух ему не дашь. Когда он хмурится, когда он чем-то озабочен, можно предположить, что ему шестьдесят четыре. Но не шестьдесят пять — упаси бог! Голос у него негромкий, мягкий, довольно высокий, но скорее баритон, нежели тенор. Любит Евграф Петрович употреблять давно уже вышед-

шие из употребления словечки. Говорит «дабы» вместо «чтобы», «понеже» вместо «поэтому», «зело» вместо «очень», «тем паче» вместо «тем более». И, надо сказать, это не выглядит у него пошловатым кокетством, этакой ставшей ныне модной игрой в старину. Обликом и повадками своими Евграф Петрович напоминает скромного, небогатого помещика конца прошлого века из какой-нибудь там Воронежской губернии или скромного же провинциального актера, допустим, из того же Воронежа.

Из двух-трех бесед, которые были у нас с ним за столом, я успел понять, что он недурно знает как старую, так и новую отечественную прозу, стихов не любит, а зарубежной литературой не интересуется вовсе. Некоторая узость литературных интересов Евграфа Петровича, а также полнейшее его равнодушие к массандровским винам ограничивают возможности нашего общения. Встречаемся мы только в столовой. Он меня к себе не приглашает, я его к себе — тоже. Однако несомненная порядочность и несомненная интеллигентность его мне симпатичны.

После ужина мы с Евграфом Петровичем медленно спускаемся по лестнице в парк.

— Не хотите ли посидеть? — предлагаю я.— Здесь есть одно тихое, уютное место.

— Извольте! — с готовностью соглашается Евграф Петрович, и вскоре мы уже сидим на удобной скамейке в зарослях каких-то экзотических кустов.

Поговорив для виду минут десять о только что прочитанном мною новом романе популярного прозаика, я хватаю быка за рога.

— У меня к вам большая просьба, Евграф Петрович. Только, ради бога, не пугайтесь! Видите ли, в Ялте, кроме вас, у меня нет знакомых, а завтра утром мне предстоит дуэль, мне придется стреляться, и... нужен секундант.

Евграф Петрович откидывается на спинку скамьи и смотрит на меня приоткрыв рот.

— Дуэль? Вы шутите! Какие же теперь дуэли? Не понимаю. Ничего не понимаю! Решительно ничего не понимаю! Зело странно!

— Да что же тут понимать-то, милейший Евграф Петрович! Самая обыкновенная, самая заурядная дуэль. На пистолетах. С пятнадцати шагов. Помните: «Евгений Онегин», «Княжна Мери», «Отцы и дети»,

«Война и мир», «Бесы», «Поединок». Вся русская литература — сплошные дуэли, беспрестанная пальба.

— Но ведь это же противозаконно! Пользоваться огнестрельным оружием гражданским лицам запрещено! Да нас же посадят! Да вы с ума сошли! Да это же черт знает что такое!

— Успокойтесь, успокойтесь, дорогой Евграф Петрович! — говорю я и беру старика за руку.— Нам с вами сейчас необходимо хладнокровие. Я и сам, признаться, волнуюсь. Ведь завтра утром меня, быть может, не станет, и мне осталось жить меньше суток. Но положение безвыходное, совершенно безвыходное. Тут затронута честь прекрасной, удивительной, ослепительной женщины! О, если бы вы ее видели! Впрочем, вы, наверное, ее действительно видели на старых фотографиях.

— Какая женщина? Какие фотографии? Или вы и на самом деле помешались, или это я умом тронулся, или оба мы с вами рехнулись! — не унимается Евграф Петрович.

— История очень загадочная,— продолжаю я.— Очень запутанная, очень мудреная история. Я не могу вам всего объяснить, потому что и сам почти ничего не понимаю. Но, умоляю вас, войдите в мое положение! Уверен, что все обойдется, что никто не будет убит или серьезно ранен. Вас это нисколько не обременит. Вы просто будете при этом присутствовать. Не могу же я остаться без секунданта! Понимаете, положен секундант! Необходим секундант! Нет, право же, опасения ваши напрасны. Все останется в тайне, все будет шито-крыто. Место уединенное. Никто ничего не увидит и не услышит, никто ничего не узнает, никто ни о чем не догадается, никто никому ничего не расскажет! Клянусь вам! И разве не любопытно хоть раз в жизни принять участие в настоящей дуэли? И разве не заманчиво увидеть то, о чем вы читали у наших класиков? Это же так романтично: вы подхватываете меня на руки, вы прижимаете окровавленный платок к моей груди, вы слышите мои последние предсмертные слова, вы закрываете мне глаза... Ах, да что я! Крови не будет! Мы выстрелим в воздух и разойдемся. Быть может, после мы даже пожмем друг другу руки. Не будет удивительно, если после мы даже обнимем друг друга. Мой противник отнюдь не кровожаден, но он щепетилен, самолюбив, мнителен и, пожалуй, слишком неукоснительно чтит кодекс мужской чести. Если я первым вы-

стрелю в воздух, он непременно сделает то же самое и будет вполне удовлетворен. Но ритуал должен быть выполнен, но выстрелы должны прозвучать во что бы то ни стало. Короче говоря, дражайший Евграф Петрович, мы с вами встретимся завтра утром без четверти пять здесь же, на этой скамейке. Я приду чуть раньше, чтобы никто не увидел нас выходящими вместе из спального корпуса. Некоторая конспирация не помешает.

— Нет, погодите, погодите! — пытается еще сопротивляться Евграф Петрович.

— Да полно! — говорю я.— Что вы так растревожились? Не стоит принимать все это всерьез. Нам предстоит всего лишь приятная утренняя прогулка. Мы успеем вернуться к завтраку. Мы даже успеем забежать на пляж и искупаться. Захватите с собой полотенце. Я тоже захвачу.

Успокаивая Евграфа Петровича, я и сам успокаиваюсь. Легкое, беспечное, даже веселое настроение завладевает мною. С десяти до половины двенадцатого я сижу в холле перед телевизором. Показывают какую-то смешную чепуху. От души смеюсь, позабыв все на свете. Выйдя на крыльцо, гляжу на небо. Оно, как всегда, полно звезд.

— Попрощаемся, звезды! — говорю я вслух.— Не исключено, что мы видимся в последний раз! Не забывайте меня! Я вас любил! Я вас воспевал! Я ценил вашу красоту, вашу загадочность и ваше постоянство!

И вдруг страх, поистине панический, необоримый, тяжкий страх наваливается на меня. Добравшись до своей комнаты, вытаскиваю из тумбочки едва начатую бутылку мадеры, наливаю целый стакан и выпиваю его залпом. Спохватываюсь: перед дуэлью нельзя пить, ни в коем случае нельзя пить! Рука будет дрожать. Спрятав бутылку в тумбочку, я говорю себе: «Что за истерика? Возьми себя в руки! Немедленно возьми себя в руки! Все будет о'кей, все будет чин чинарём! И вообще — все у тебя великолепно. До сих пор жил ты скучновато, пресновато, тускловато, жил, честно-то говоря, почти как обыватель. А теперь ты живешь как настоящий поэт. Какие приключения! Какие волнения! Какие опасности! Какая женщина! Какая любовь! И если завтра утречком этот бравый вояка метким выстрелом уложит тебя на месте, смерть твоя будет не из худших».

Что делают в ночь перед дуэлью? Маются. Мучаются неизвестностью. Сожалеют о без толку прожитых годах. Вспоминают о совершенных ошибках. Раскаиваются в неблаговидных поступках. Прощают незаслуженные обиды. С нежностью думают о возлюбленной. Жгут кое-какие бумаги, уничтожают кое-какие рукописи. Часами ходят из угла в угол по комнате или валяются одетыми на постели, глядя в потолок. Пишут завещание (если есть, что завещать). Пишут последние письма (если есть, кому писать). Поэты пишут последние, предсмертные, стихи.

Походив из угла в угол, я усаживаюсь за стол и пишу краткое завещание: «С моими рукописями и с моими картинами поступайте как знаете. С моим телом — тоже».

Потом пишу записку матери: «Мамочка, прости меня! Я получился у тебя какой-то нескладный. И умер я как-то не так. Не плачь, не убивайся и живи долго».

После я пишу Насте: «Прощай, Настасья! Я не виноват. Это было сильнее меня. Это было сильнее всего на свете. Я не знаю, что это было».

Еще немного пошагав по комнате, я пишу письмо Ксении. Написав, я его разрываю. Оно мне не нравится. Оно кажется мне слишком сентиментальным. Вместо письма я сочиняю маленькое, шутливое, но вместе с тем и печальное стихотвореньице. Мол, только что встретились, а уж пора расставаться. Мол, так обидно, прямо до слез. Мол, плохо, конечно, но было бы хуже, если бы мы и вовсе не встретились. Чего уж тут сокрушаться. Так вышло.

Еще в ночь перед дуэлью думают о тайне смерти, недоумевают, ужасаются, задают себе нелепые вопросы и предаются банальнейшим размышлениям. Например: «Вот, сейчас я мыслю, чувствую, что-то вспоминаю, пытаюсь представить себе завтрашнее утро, гляжу на растревожившее меня звездное небо, на черные обелиски кипарисов, слушаю, как кошки возятся в кустах под окном, как звенят цикады, как хихикает парочка где-то за деревьями, ощущаю запах олеандров, сосновой хвои и мокрой, только что политой травы,— вот, сейчас я есть, а утром я исчезну, выпаду из бытия, оторвусь от него, как сухая шишка отрывается от ветки кедра и падает куда-то вниз, вниз, вниз (а кажется, отчего бы ей еще не повисеть?), и вместе со мною исчезнет мир, который простирался вокруг меня, который

меня восхищал, пугал и развлекал, который вмещал меня в себя и сам же в меня вмещался. В общем-то, все останется: и звезды, и кипарисы, и кошки, и парочки. Все, все останется. Но это будут уже другие звезды, другие кипарисы, другие кошки и парочки. Это будет совсем другой, неведомый мир. Это будет мир без меня. Непостижимо!»

«Мне бы не заснуть! — думаю я с беспокойством.— Будильника нет, и я могу проспать. Вот будет конфуз!»

«Он проспал дуэль! Хорош гусь!»

«Да нет, он просто трус! Он притворился, что проспал!»

«Ах, полно! У него не было будильника, и он не проснулся вовремя!»

«Э, бросьте! Разве можно уснуть перед дуэлью?»

А что подумает Ксения, когда узнает, что я позорно не явился на поединок?

Сижу за столом. На столе предо мною лампа. Вокруг нее кружится ночная бабочка. Три часа ночи. Мне уже не страшно. Мне уже надоело думать о смерти. Ксения небось сладко спит. Волосы разбросаны по подушке, лежат под щекой, опутывают голое плечо. Вот она вздохнула во сне, повернулась на другой бок, подложила ладонь под щеку и чмокнула губами. Она спокойно спит и ничего не знает, и ни о чем не догадывается, и дурные предчувствия ее не тревожат, и сон ей снится легкий, светлый. Утром ей скажут. Она закричит. Что она будет кричать? Что кричат женщины в подобных случаях? «Нет! Не верю! Это ложь! Не верю!» Она бросится на Одинцова. Она будет кусаться и царапаться. Она упадет без чувств. Бедная Ксюша!

По-прежнему сижу за столом, подперев голову руками. В дверь тихонько стучат. «Кто это,— думаю,— кого это несет в три часа ночи?»

— Да, да! Входите! — говорю.

Дверь открывается. На пороге Ксения. Она в чем-то черном. Глаза у нее испуганные. Она кидается мне на грудь, она обнимает меня, она плачет.

— Ничего нельзя поделать,— говорю я, гладя ее волосы.— Я должен стреляться. Моли Бога, чтобы он меня спас.

Ксения исчезает. Я просыпаюсь — все-таки задремал. Предо мною горит лампа. Около нее лежит мертвая бабочка с обгоревшими крылышками. Смотрю на

часы — уже четыре. За окном светает. Из сада доносятся голоса пробуждающихся птиц.

Встаю из-за стола и иду умываться. Умываюсь долго, старательно. После так же старательно подстригаю перед зеркалом бороду. Аккуратно сложив пляжное полотенце, беру его под мышку, выхожу из комнаты и запираю дверь на ключ.

Не слишком спеша, но все же достаточно быстро топаем с Евграфом Петровичем по утренним, пустынным улицам Ялты. Стук наших шагов разносится над городом и затихает где-то над морем. Дворники подметают тротуары. Тощие беспризорные кошки то и дело перебегают нам дорогу. Поливальные машины, проезжая мимо, обдают нас фонтанами брызг. У Евграфа Петровича, как и у меня, под мышкой полотенце. У Евграфа Петровича, как и у меня, сосредоточенное выражение лица.

— Между прочим,— говорю,— мы с вами еще не вполне знакомы. Какой областью литературы вы, собственно, занимаетесь? Если я не ошибаюсь, вы прозаик?

— В некоторой степени да,— отвечает мой секундант.— Я очеркист и немножко критик, пописываю статейки о современной русской прозе. А вы, как я догадываюсь, стихотворец?

— Верно. Стихотворец. Скоро выйдет из печати мой третий сборник, и, если вы дадите свой адрес, я с радостью вам его пришлю.

— Буду польщен! — говорит Евграф Петрович. На секунду остановившись, он вынимает из кармана маленькую визитную карточку на плотной глянцевой бумаге и протягивает ее мне.

— Так вы из Воронежа!

— Да, из Воронежа. А почему это вас удивляет?

— А потому что, впервые увидев вас в столовой, я почему-то подумал, что вы из Воронежа. И оказалось, что я не ошибся.

— Интуиция! — улыбается Евграф Петрович.— Или попросту, по-русски, нюх.

На Рыночной площади нас уже поджидали. У закрытых ворот рынка стоял громоздкий четырехместный тарантас, запряженный парой чистеньких, сытых буланых лошадок. На козлах сидел солдат в белой гимнастерке. У тарантаса стояли двое — Одинцов и незнакомый мне высокий, узкоплечий офицер, немного

похожий на Ковыряхина. («Всюду мне мерещится этот трактирщик!» — подумал я.) Оба были в белых длинных кителях с погонами и в высоких белых фуражках. Незнакомый офицер был в пенсне.

— Что это? — зашептал Евграф Петрович.— Форма начала века! И экипаж старинный!

— Не удивляйтесь, ради бога, ничему не удивляйтесь! — шепнул я.

Подошли к тарантасу.

— Доброе утро, господа! — сказал Одинцов, приложив руку к фуражке.— Позвольте представить моего секунданта — полковой врач барон фон Клюгенау!

— Мой секундант — литератор Обрезков! — произнес я в ответ.

Уселись в экипаж. Одинцов и Клюгенау на переднем сиденье, я и Евграф Петрович — на заднем. Ехали молча. Клюгенау пристально смотрел на меня сквозь стекла пенсне. Одинцов глядел на носки своих хорошо начищенных хромовых сапог. Лошадки бежали резво. Их копыта весело цокали по булыжной мостовой. Ехали в сторону Симферопольского шоссе. Выехали из города. Стали подыматься все выше и выше. Миновали Верхнюю Массандру и свернули на грунтовую дорогу, которая вела в горы. Дорога долго петляла между рыжих скал. Наконец она вырвалась на ровную открытую площадку. Остановились.

Вылезли из тарантаса.

Площадка имела форму вытянутого прямоугольника. С одной стороны возвышалась отвесная серая скала, на вершине которой росли сосны. С другой стороны начинался крутой каменистый склон, кое-где поросший кустарником. Далеко внизу лежало море. Оно было серым и сливалось с таким же серым, бесцветным небом. В небе низко висел багровый диск уже взошедшего солнца. Одинцов сказал:

— Если вы не возражаете, господа, то мы попросим барона вести дуэль.

— Мы не возражаем,— ответил Евграф Петрович спокойным тоном завзятого секунданта.

Длинноногий, похожий на аиста полковой врач отметил пятнадцать широких шагов. После он направился к экипажу и вытащил из него ящик с пистолетами. Один пистолет он подал мне.

Пистолет был большой и тяжелый. Вороненая сталь отливала синевой. На длинном стволе серебряными

буквами было выгравировано наименование оружейной фирмы.

— Мне надо попробовать! — обратился я к барону.— Ни разу не стрелял из такого оружия.

— Пробуйте! — сказал барон, поправив свое пенсне. При этом обнаружилось, что у него очень тонкий голос.

Я выбрал цель — небольшой, почти круглый камень на краю площадки шагах в двадцати от себя. «Нельзя долго целиться,— вспомнил я наставления, которые давал мне когда-то в тире мой учитель — молоденький лейтенантик,— рука должна быть прямая, но не напрягайте ее. Спокойненько подымайте пистолет, ловите мушку и плавно нажимайте на спуск».

Я выстрелил. От камня веером полетели осколки. Клюгенау перезарядил мой пистолет.

— Бросаем жребий, господа! — объявил барон.

— Решка! — нервно кашлянув, поспешно сказал Одинцов.

Я промолчал.

— Почему вы молчите? — спросил барон.

— Подполковник опередил меня,— ответил я, натянуто улыбнувшись.— Выбор уже состоялся. Если ему решка, то мне, естественно, остается только орел. Надеюсь, что он не ошибся.

Серебряный рубль, сверкнув, взлетел вверх и упал к ногам Одинцова. Выпала решка.

В писклявом, детском голоске барона появилась торжественность.

— Итак, господа, первый выстрел делает подполковник Одинцов! Прошу участников поединка занять свои позиции!

«Занять свои позиции...» — отдалось в ближайших скалах. «Свои позиции...» — отозвалось чуть подальше. «Иции... ицииии... иции...» — рассыпалось по отдаленным горным склонам.

«Все как у Лермонтова!» — подумал я и взглянул на солнце. Оно было уже не багровым, а оранжевым. И море уже отделилось от неба, которое заметно посветлело.

— Начинаем! — пискнул барон и махнул платком.

Одинцов, державший пистолет вертикально, стал медленно опускать ствол.

— Подождите! — остановил его Клюгенау.— Еще есть время закончить по-хорошему, без пролития крови.

Быть может, подполковник, вы удовлетворитесь извинениями своего противника?

— Какие там к черту извинения! — процедил Одинцов сквозь зубы.— Продолжаем! — Он снова стал опускать ствол своего пистолета. Рот его был плотно сжат. Рука его не дрожала. Я зажмурился.

Хлопнул выстрел. Что-то шаркнуло у меня над ухом. Запахло паленым. Я открыл глаза. Все было как прежде. Оранжевое солнце по-прежнему висело над морем.

«Вроде бы жив! — подумал я и потрогал висок. На моей ладони остался клок волос.— Прямо в лоб метил! — догадался я.— Прямехонько в лоб, скотина! Сантиметра бы три правее!..»

Меня вдруг охватила злоба. «Ах ты сукин сын! Ах ты!..»

Одинцов бросил пистолет на землю. Одинцов был бледен, как его китель, как парное молоко, как морская пена, как первый осенний снег. Одинцов был страшно бледен.

«Ах ты мерзавец!»

Я поднял свой пистолет и, почти не целясь, выстрелил в ноги подполковнику Гвардии Его Императорского Величества Аркадию Георгиевичу Одинцову.

Он вскрикнул, согнулся пополам, схватился обеими руками за колено и грузно сел на землю. Клюгенау и Евграф Петрович бросились к нему.

— Берите полотенце! Затягивайте потуже! Потуже! — суетился мой отважный секундант. («Вот и полотенце пригодилось!» — подумал я.)

— Не учите меня, милсдарь! — сердито попискивал барон.— Я военный медик и отлично знаю, что следует делать в подобных случаях!

Сняв перчатки, он засучил рукава и склонился над моим поверженным врагом.

В половине седьмого мы уже были у ворот Ксюшиной дачи. Одинцова втащили в гостиную и уложили на диван. Он непрерывно стонал.

— Рана неопасная, но болезненная,— сказал Клюгенау,— задет нерв. Заживать будет долго.

Прибежала растрепанная, заспанная Ксения.

— Что вы натворили! — закричала она.— Какой ужас!

Через несколько дней Ксюша отправилась на гастроли. Я уговаривал ее нанять автомобиль, чтобы поскорее добраться до Симферополя. Но напрасно. Она упорно отказывалась пользоваться услугами техники.

Ехали целый день. Ехали в довольно удобной, легкой, одноконной коляске, похожей на собственную Ксюшину, которая осталась в Петербурге. Ехали, спрятавшись от солнца в тени поднятого верха. У наших ног были расставлены и разложены чемоданы и шляпные коробки. Коляску трясло и качало. Было душно и пыльно. Разомлевшая от жары Ксюша то и дело задремывала, положив голову мне на плечо. «Что ни говори, а техника все-таки благо»,— думал я, вспоминая современные виды дорожного транспорта.

Время от времени останавливались, выходили размяться, подкреплялись бутербродами и ехали дальше по казавшемуся бесконечным, извилистому, узкому, белому от пыли Симферопольскому шоссе. На окраине тихой, малолюдной Алушты наскоро пообедали в придорожном трактире. Дорога круто повернула на север и стала забираться все выше и выше. В отдалении возвышалась величественная и мрачная гора Обвальная. Из нее торчали причудливые скалы.

Солнце клонилось к закату. Въехали в лес. Тени от деревьев ложились на дорогу. Жара стала спадать. Остановились у источника — из отверстия в каменной стенке тоненькой струйкой сочилась чистая холодная вода. Ксения подставила ладони под струю и плеснула воду себе на лицо.

— Что может быть приятнее холодной воды! — сказала она, вытираясь платком.

Я продолжил:

— Для утомленной долгой дорогой путницы в полуденном краю и притом в середине лета.

Уселись на траву, наблюдая, как возница поил лошадь и осматривал колеса нашей повозки.

— Мне не хочется ехать дальше, я ужасно устала! — жалобным голосом произнесла Ксюша.— Давай заночуем здесь. Разожжем костер и будем спать под звездами.

— А поезд? — отозвался я.— Он уйдет, и тебе придется ждать его завтра целый день. К тому же наши съестные припасы кончаются, и к утру мы здорово проголодаемся.

— Да, к несчастью, ты прав! — простонала Ксюша и легла на спину, грызя травинку. Волосы ее разлохматились, платье было помято. У нее был какой-то домашний, очень милый вид. Широко раскрытые глаза ее были уставлены в небо. Я нагнулся и стал внимательно разглядывать светло-серую с желтоватыми крапинками радужную оболочку.

— Ты меня изучаешь, как будто я какая-то диковина,— усмехнулась Ксюша, вытащив изо рта травинку.

— Ты и есть диковина,— ответил я,— некое удивительное существо, обладающее сверхъестественной способностью воздействия на все живое и доселе не встречавшееся на нашей планете.

Ксюша крепко обняла меня за шею.

— Попался, который кусался!

— Попался,— послушно согласился я.— Давно уж попался. Можешь делать со мною все, что взбредет тебе в голову.

— Пока еще ничего не взбрело. Но скоро, натурально, взбредет. Берегись!

— Заранее трепещу.

— Вот, вот, трепещи!

Снова уселись в экипаж. Снова двинулись. Отдохнувшая лошадь бежала быстро. К тому же мы миновали перевал и катили под гору. Стало темнеть. Свернувшись калачиком, Ксюша крепко спала, положив голову мне на колени. Я сидел не шевелясь, боясь ее побеспокоить. Я сидел и блаженствовал, наслаждаясь близостью ее горячего тела и нежными детскими звуками, которые она время от времени издавала во сне. Я сидел и благоговел, и умилялся, и недоумевал: на моих коленях лежала женщина, которую обожала вся Россия, о которой мечтали генералы и владельцы золотых приисков, которой бредили гимназисты старших классов и студенты университетов, на моих коленях, трогательно оттопырив пухлую нижнюю губку, спала обладательница редкостного таланта и неслыханного женского обаяния — за что судьба наградила меня этим сокровищем?

К симферопольскому вокзалу приехали около десяти. Коляску окружили носильщики и мигом расхватали все вещи. Ксюша проснулась, села, сладко зевнула и стала приводить в порядок свою прическу.

— Доехали, слава тебе господи! Кажется, я отлежала тебе колени?

Минут двадцать я просидел с нею в купе первого класса. На столике в стеклянной вазе стоял букет красных роз, который я успел приобрести на вокзале.

— Мне грустно с тобой расставаться! — говорила Ксения, поглаживая мою руку.— Ты слышишь? Мне очень, очень грустно с тобой расставаться, милый! Мне невыносимо грустно с тобой разлучаться!

Я сидел как в воду опущенный.

— Первое письмо ты получишь из Астрахани,— продолжала Ксения.— Боже, как я смогу петь в такую жару! Единственное утешение — астраханские арбузы. Наверное, они уже поспели. Хочешь, милый, я пришлю тебе целую подводу астраханских арбузов, таких больших, круглых и полосатых? Нет, подводы будет мало. Я пришлю тебе целый вагон арбузов! Будешь кормить ими своих писателей.

— Спасибо, моя радость. Незачем баловать писателей. К тому же от арбузов у них пропадет творческая активность. Спасибо.

Ударил вокзальный колокол. В купе заглянул проводник и сказал, что господ провожающих просят покинуть вагон. Мы поцеловались в последний раз. У Ксюши были мокрые глаза. У меня, кажется, тоже.

— Требования прежние,— прошептала моя возлюбленная.— На красивых женщин не глядеть и писать обо мне стихи. Кстати, пора бы уж и впрямь подарить какие-нибудь опусы. Давно жду.

— При первой же встрече в Питере,— пробормотал я, еще раз коснувшись губами ее губ, и покинул купе.

Выйдя из вагона, я подошел к открытому окну, около которого уже стояла улыбающаяся, заплаканная Ксюша. Я взял ее руки и стал торопливо целовать их. Поезд тронулся. Я шел рядом с окном и все целовал, целовал, целовал Ксюшины пальцы. Поезд набирал скорость. Я побежал вслед за вагоном. Высунувшись из окна, Ксюша махала мне рукой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ве недели я томлюсь в Крыму без Ксении. С тоской гляжу на море, на горы, на пинии и кипарисы. С грустью взираю на красоты Гурзуфа и Алупки. Печально брожу по аллеям Ботанического сада. Мрачно пью массандровский портвейн в винных погребках Ялты.

Встречаясь со мною в столовой и в писательском парке, Евграф Петрович заботливо справляется о здоровье Одинцова.

— Выздоравливает,— отвечаю я немногословно.— Скоро ему разрешат ходить с костылем.

Приходит письмо из Астрахани.

«Ты меня погубил, мой милый!

Целыми днями только о тебе и думаю. Даже на концертах тебя не забываю. О коварный обольститель!

Астрахань страшно пыльная и провинциальная. Гостиница отвратительная. В антракте умываюсь холодной водой, потом сажусь в кресло, и меня долго обмахивают полотенцами. Представляешь, каково мне на концертах?

Но успех чудовищный. На сцене с трудом вылезаю из цветов. В номере от цветов не повернуться — задыхаюсь от их аромата.

Целую тебя, миленький мой. Следующее письмо жди из Царицына. Я напишу его на твой петербургский адрес, потому что к тому времени ты уже будешь дома. Не теряю надежды, что моя любезная публика выпустит меня из Астрахани живой.

Еще раз целую, и довольно крепко. Не вздумай мне изменять. Я беспощадна.

Твоя К.»

Евграф Петрович провожает меня до троллейбусной станции. У нас еще есть в запасе пятнадцать минут. Садимся на скамейку. Я ставлю рядышком свой чемодан. Молчим. Я жду. Сейчас он спросит меня. И Евграф Петрович спрашивает.

— И все же я так и не понял: с кем вы стрелялись, и почему все выглядело так театрально? Сначала мне

казалось, что это розыгрыш, веселое и невинное озорство. После, когда я увидел этих офицеров в белом, я решил, что вы затащили меня на киносъемку. Однако, как ни странно, юпитеров не было и кинокамеры тоже. И я недоумевал. Когда же я увидел настоящую кровь, я совершенно растерялся. А потом — эта богатая дача и эта красивая женщина, которая так испугалась... Из-за нее вы и стрелялись?

— Из-за нее.

— Вас вызвал на дуэль ее муж?

— Да, ее муж.

— И у него были для этого основания?

— Были. Некоторые.

— Но к чему весь этот маскарад? Откуда взяли костюмы и лошадей? Дабы их раздобыть, вам пришлось, наверное, попыхтеть. А пистолеты? Ведь это были настоящие дуэльные пистолеты с настоящими пулями! Почему вы не отвечаете?

Начинается посадка на мой маршрут. Пассажиры с вещами устремляются к троллейбусу.

— Дорогой Евграф Петрович, в детстве вы, наверное, слушали пластинки с романсами Ксении Брянской?

— Конечно, слушал. Мои родители ее боготворили. Если не ошибаюсь, у меня еще осталось несколько пластинок.

— А вам не приходилось видеть фотографии этой певицы?

— Нет, не приходилось. А почему вы меня об этом спрашиваете?

Мы подходим к раскрытой двери троллейбуса.

— Поторопитесь! — говорит кондукторша, взглянув на мой билет.

— Спасибо вам, милый Евграф Петрович! — говорю я и целую старика.— Спасибо за то, что в самые роковые минуты моей жизни вы оказались рядом со мною! Спасибо!

Найдя свое место, высовываю голову из окна. Троллейбус медленно трогается. Кондукторша делает мне замечание:

— Не высовывайтесь, гражданин! Высовываться из окон запрещено!

Евграф Петрович машет мне соломенной шляпой, и я кричу ему, приложив ко рту ладонь:

— Я стрелялся из-за нее, из-за Ксении Брянской!

Поезд идет на север. Колеса мягко постукивают. Лежу на верхней полке и гляжу в окно. За окном грязно-желтые, мутные воды Сиваша. Кое-где в прибрежном тростнике — лодки. Кое-где на берегу — машины. Людей не видно. Поезд еле тащится. Сивашу нет конца. Засыпаю, просыпаюсь. За окном все тот же Сиваш. Колеса мягко стучат на стыках.

...Ксения сейчас в Волгограде, то есть в Царицыне. Волга там широкая. И вообще, там раздолье — дали неоглядные. По Волге плавают теплоходы, проносятся «метеоры». То есть «метеоров», конечно, нет, а вместо теплоходов — пароходы, старинные, колесные, неуклюжие, медлительные. Буксиры тянут баржи. Буксиры и баржи тоже старинные. Словом, сплошная старина.

В купе духота, хотя окно и открыто. Вагон раскалился под солнцем. На лбу моем пот, руки у меня потные, и весь я в противном, липком поту.

...Я ждал Ксению. Я ждал ее много лет и дождался. Она явилась. Она пришла оттуда, из прошлого. Там утро века, а здесь его вечер. Она пришла ко мне молодой, в расцвете красоты и славы. Она моложе меня на восемь лет и старше на шестьдесят семь. Она в прабабки мне годится.

Из окна дует ветерок. К сожалению, он теплый. Но пахнет он неплохо — степными травами.

...Ксюша любит меня? Или ей только кажется, что она любит меня? Но если действительно любит, может и разлюбить. Я же толком еще не знаю, какая она. Быть может, она влюбчива — быстро влюбляется и быстро охладевает? Быть может, она вообще ветреница? Быть может, в Царицыне она уже завела шашни с каким-нибудь миллионером, владельцем пароходной компании или мукомольных фабрик? Что, если она разлюбит меня и я уже не смогу пробиться к ней, в девятьсот восьмой?

Сиваш наконец кончается. За окном желтая сухая степь. Ее пересекает голубая полоса асфальтированного шоссе. По шоссе едут машины, грузовые и легковые, разных цветов.

...К черту машины! Ксюша предпочитает лошадей. К черту опасения! Не польстится она на миллионера. К черту пессимизм! Она меня не разлюбит. Правда, она может умереть. Одинцов не успокоится. Да мало ли что может с нею случиться. Нет, это немыслимо! Но ведь она давно уже умерла и похоронена на С...ком кладбище.

Нет, это совершеннейшая нелепость! А если я умру раньше ее? Нет, я не должен ее огорчать!

Колеса все стучат. За окном уже не безжизненная степь, а зеленые поля. Поезд прибавил ходу. Поезду осточертела южная жара. Поезд движется на север, прямехонько на север.

Дома меня ждет письмо из Царицына.

«Милый, с Божьей помощью я продолжаю свое турне.

Царицын смешной город. Он узкий и длинный, как змея. Волга так широка, что другого берега и не видно почти. За мною вовсю ухаживает местный предводитель дворянства, богатый степной помещик. Катал меня по Волге в старинной ладье под красным парусом и с цыганами. Упросил спеть. Цыгане мне подпевали. Получилось очень недурно. Солнце садилось. Волга была тихая-тихая. И мой голос разносился над Волгой. А после в мою честь был устроен сказочный пир. Осетры на столе были громаднейшие, даже смотреть на них было боязно. Шампанское лилось рекой. Тут я не пела, пели только цыгане. Начали с величания. Я даже прослезилась.

Ты меня ревнуешь? Поревнуй, поревнуй меня, милый. Это тебе полезно, это отвлечет тебя от твоих юных поклонниц. Поревнуй меня немножечко.

Вчера перед концертом вспомнила, как мы ездили с тобою в Мисхор, и так разволновалась, что плохо спела первые два романса. Но вовремя взяла себя в руки, и публика, как всегда, бушевала.

Едва покинула я Астрахань, как там началась эпидемия холеры. Задержись я там на недельку... Бог меня хранит,— стало быть, я ему угодна, стало быть, он мною доволен. Но жаль моих астраханских почитателей. За что им такое несчастье?

Целую тебя нежно, но и страстно, натурально. Ни одна поклонница тебя так не поцелует. Думай обо мне, обо мне, обо мне! Только обо мне!

Верная тебе, любящая тебя К.»

Спрашиваю матушку, звонил ли кто. Сразу не отвечает, мнется, отводит глаза. «Нет,— говорит,— никто не звонил».

Открываю ящик письменного стола, отыскиваю в нем Ксюшину булавку, беру ее осторожно за острый кончик, кладу на ладонь, легонько подкидываю ее и радуюсь, как ребенок, вспышкам бриллианта, напоминающим мне о новогодней елке. Через четыре месяца я буду встречать с Ксенией новый 1909 год. Впрочем, много всяких событий может произойти за четыре месяца, непредвиденных роковых событий... Вообще, я, кажется, начинаю забываться и к подаркам судьбы отношусь как к чему-то должному, как к чему-то такому, чего я вполне достоин. Но достоин ли я?

Звонит Хорошо знакомый литератор.

— Прочитал твою книжку. Неплохо. Зря ты прибеднялся. Очень неплохо.

— А разве...— начинаю я.

— Да, да, уже вышла! — перебивает меня Хорошо знакомый.— Уже три дня продается! Беги, покупай. Да побольше бери. Расхватают, после нигде не найдешь. Особенно понравился «Шорох песка». Шедевр! Читал я его в машинописном виде и слышал, как ты сам его читаешь, неоднократно. Но отпечатанный типографским способом он бьет наповал. Слава первопечатнику Ивану Федорову! Что бы мы, сочинители, делали, кабы не он? Ну и Гутенбергу, конечно, тоже низкий поклон. Словом, поздравляю!

В первом же книжном магазине я вижу на витрине свою книжицу. С минуту смотрю на обложку затаив дыхание. После выпускаю воздух из легких и обращаюсь к продавщице:

— У вас найдется сто экземпляров этого сборника стихов?

Внимательный, долгий взгляд продавщицы, подозрительное долгое ее молчание.

— А зачем вам столько?

— Видите ли, я обожаю стихи этого поэта и несколько лет с нетерпением, с огромным нетерпением, с прямо-таки жутким нетерпением ждал его третью книгу. И у меня есть много друзей, которые тоже любят стихи этого поэта, а у них есть знакомые, которые тоже...

— Вот и прекрасно! — ехидно улыбается продавщица.— Пусть ваши многочисленные друзья, а также знакомые ваших друзей, а также знакомые знакомых ваших друзей, если таковые имеются, приходят в наш магазин и сами покупают эту книжку. У нас не оптовая торговля книгами, а розничная. Бог вас знает, может

быть, вы спекулянт? Скупаете дефицитные издания и после торгуете ими на черном рынке!

— Вам кажется, что я похож на спекулянта?

— Сразу не разберешь. Может, и похожи.

— Но неужели эти стихи — дефицитная литература?

— А кто знает, вдруг дефицитная?

— Вы перестраховщица! Полистайте сборник — разве такое может нравиться всем?

Продавщица послушно листает.

— Да, действительно, чушь какая-то! Даже рифмы нет. Так и я напишу. И зачем только издают всякую ерунду, бумагу изводят? Но все равно, сто экземпляров я вам не продам. Не имею права.

— Тогда позовите, пожалуйста, директора.

Появляется директор — хорошо одетый, хорошо причесанный и гладко выбритый человек с немножко испуганными глазами. Я спрашиваю его, есть ли какие-нибудь законодательные акты, ограничивающие продажу печатной продукции в государственных магазинах.

— Законодательных актов нет,— отвечает директор,— но указания имеются.

— Ну, а если книгу покупает сам автор?

— Тогда другое дело.

— Я и есть автор этой книжки стихов.

— А как вы это докажете?

— Там есть моя фотография, посмотрите.

Директор открывает первую страницу и рассматривает мой портрет.

— На фотографии вы в шляпе и вас трудно узнать. Предъявите паспорт!

Предъявляю.

— Ладно,— сдается наконец директор,— я продам вам пятьдесят экземпляров. Больше у нас попросту нет.

Продавщица, брезгливо кривя ярко накрашенные губы, долго заворачивает в бумагу мои пятьдесят экземпляров. Потом она так же долго перевязывает пакет бечевкой.

— Зачем вы такое пишете? — спрашивает она, поглядев на меня с презрением.

— Сам не знаю! — отвечаю я вполне чистосердечно.

Выходя из магазина, я оглядываюсь. Продавщица не спускает с меня уничтожающего взгляда прищуренных глаз.

Звонит Знобишин.

— Поздравляю тебя, дружище! Книга на пять с плюсом, на большой палец! Опять ты утер нос всем этим рифмоплетам! Ты уж меня извини, я давеча был не в духе — картину мою забраковали, не приняли на осеннюю выставку. Плохой у нас с тобой получился разговор. Больше всего понравилось «Счастье младенца». Ты, брат, гигант!

Звонит Настя.

— Надеюсь, ты простишь меня за назойливость, но я купила твой сборник. Ты негодяй, но ты гений. Я тебе тыщу раз говорила и еще раз говорю — ты гений!

«Хорошая все же Настя,— думаю.— Я ее бросил, а она все равно звонит и все равно твердит, что я гений. Верная все же Настасья».

— С тебя причитается,— продолжает Настя.— Пригласил бы меня куда-нибудь посидеть по старой дружбе.

«А почему бы и нет? — думаю.— Ксения где-то на Волге объедается осетриной, утопает в цветах и строит глазки каким-то там предводителям дворянства. Отчего же я не могу провести вечер с женщиной, которая меня любит, которая мне предана и которая ни с кем не кокетничает?»

— Хорошо, Настасья. Я приглашаю тебя в ресторан. Выбирай любой.

Посылаю свою книжку в Воронеж с такой дарственной надписью:

«Евграфу Петровичу Обрезкову,
моему обаятельному сотрапезнику
и отважному секунданту
с пожеланием творческих удач
и с надеждой на понимание».

К книжке прилагаю записку.

«Милый Евграф Петрович!

Никогда не забуду оказанную Вами услугу. Я оценил Вашу смелость и Ваше благородство. Если окажетесь в моем городе, непременно позвоните. Вот Вам телефон — ... Буду счастлив узнать Ваше мнение о стихах.

Навеки и целиком Ваш...»

Письмо из Самары.

«Милый,
я жалею, что запретила тебе писать. С какой радостью я получила бы конверт с моим адресом, написанным твоею рукой! С какой осторожностью я бы его разорвала! С каким волнением я бы вытащила из конверта твое письмо, развернула бы его, повертела бы его в руках, подержала бы его на ладони, понюхала бы его; уселась бы поудобнее в кресле и принялась читать! Сколько ласковых слов написал бы ты мне! Сколько поцелуев послал бы вместе с клочком бумаги!

Самара — город богатый и живописный. Она мне больше нравится, чем Царицын. Но очень боюсь самарских жуликов. Когда выхожу гулять, снимаю с себя все драгоценности. Остаюсь в одних сережках. Не будут же, думаю, отрывать у меня серьги вместе с ушами? Местный полицмейстер приставил ко мне для охраны двух громадных, до зубов вооруженных усачей. Но я все равно побаиваюсь. Вот если бы ты был со мною!

Самарские купцы совсем ненормальные. Давеча, после концерта, они несли меня на руках по всему городу до гостиницы. А впереди шли музыканты и играли мелодии моих романсов. Движение на улицах прекратилось. Всюду стоял народ и таращил на меня глаза.

Уже устала от волжского раздолья и своих гастролей. Утомляют бесчисленные переезды, тесные железнодорожные купе и унылые номера в убогих провинциальных гостиницах. Мне посоветовали заиметь свой собственный вагон и разъезжать по Российской империи в доме на колесах. А не купить ли мне, действительно, небольшой вагончик со спаленкой, с будуарчиком, с кухонькой, с комнаткой для прислуги и чистеньким удобным туалетом? Как ты думаешь?

Однако холера бежит за мною по пятам — она уже достигла Царицына! Ей, натурально, хочется меня догнать и погубить. Говорят, что жертв довольно много и медицина почти бессильна. А народ волнуется, и еще неизвестно, чем все это кончится. Упаси нас, Господи, от всех этих ужасов!

Напиши мне письмо, одно-единственное, но хорошее, очень, очень хорошее письмо. В нем еще разочек расскажи мне, как ты меня любишь. Словом, красиво, как это делают поэты, в письменном виде объяснись мне в любви. Начни как-нибудь так: «Впервые я встретил

тебя в вагоне пригородного поезда, который направлялся от станции Токсово в Петербург. Ты сидела ко мне спиной, и лица твоего я не видел. Но я сразу догадался, что это ты...» И так далее. Адрес простой: Нижний Новгород, гостиница «Вена». Когда я доберусь до Нижнего, письмо уже будет ждать меня.

Целую тебя сдержанно, чтобы остались силы целовать при встрече.

Навсегда твоя К.»

Буфет Клуба литераторов. Народу немного. Сезон едва начался. Литераторы еще нежатся на берегах покинутого мною лазурного моря или сидят в глухих деревнях, пьют самогон и наслаждаются ароматом подлинной Руси.

Сижу в уголке, что-то ем, что-то пью, о чем-то думаю, что-то припоминаю, ни на кого не гляжу, ни с кем не заговариваю — сижу скромно. Ко мне кто-то подходит. Не вижу кто, потому что сижу не подымая глаз. И не хочется мне подымать глаза, не хочется мне сейчас никого видеть, и досадно мне, что кто-то подходит.

— Салют! — произносит подошедший хриплым, лающим, не предвещающим ничего хорошего и, увы, довольно знакомым голосом. Это Просто знакомый литератор. Он вечно торчит в этом буфете. Сначала сидит один. После к кому-нибудь подсаживается. Затем к ним присоединяются третий, четвертый, пятый... И так они сидят, пьют, рассказывают анекдоты, и снова пьют, и опять рассказывают анекдоты. А потом кто-нибудь из них идет занимать деньги у буфетчика, и они все сидят и уже очень громко рассказывают не очень пристойные анекдоты, и кто-то затягивает «Виноградную косточку в теплую землю зарою», и буфетчик выходит из-за стойки, чтобы сообщить им, что «у нас не поют», и поющий, устыдясь, замолкает, но вскоре они начинают петь хором «В далеких степях Забайкалья», и буфетчик им уже не выговаривает, потому что это бесполезно.

— Привет! — отвечаю я Просто знакомому, по-прежнему на него не глядя, а он садится напротив меня и кладет локти на стол.

— Что за дрянь ты лакаешь, старик? У тебя печень или сердце? Или ты не при деньгах? Брось ты жаться! Ты же именинник, триумфатор, миллионер! Третья книга — это не семечки. Ты уже матерый стихотворец. Ты уже мемуары можешь писать, старик. Можешь вспо-

минать о своих творческих порывах и делиться опытом с литературными щенками. Давай коньячку хлопнем за твою очередную победу!

Я встаю, направляюсь к стойке, беру бутылку коньяку и возвращаюсь на место. Просто знакомый наливает коньяк в рюмки. Пьем. Он снова наливает. Пьем. Он опять наливает. Пьем. Он произносит длинный и очень содержательный монолог.

— Знаешь, старик, я давно хотел тебе сказать. Ты вроде не дурак и писать умеешь. Но не то ты что-то пишешь, не туда тебя все заносит. Мудришь ты, куролесишь, колесом ходишь, на голове стоишь. Хочешь всем утереть нос — вот, мол, какой я своеобычный! А зачем тебе это, старик? Почему ты норовишь всех оттолкнуть и от всех отколоться? Почему ты на всех глядишь свысока? Почему ты никого не признаешь, никого в грош не ставишь? Вечно ты в сторонке, вечно сам по себе — ни с кем ты не пьешь, ни с кем ты не дружишь, ни с кем ты даже и поругаться не желаешь. Не скучно ли тебе, старик, одному-то? Не боязно? Не тоскливо? Пред тобою прямая дорога, первоклассное шоссе со всеми указательными знаками, с разделительной полосой и километровыми столбами. Нажми на педали и дуй вперед! Ты же можешь, я знаю. А тебя все тянет на грязные проселки, а ты все трясешься по ухабам, все ищешь чего-то в чащобах и на болотах. Зря! Выпьем еще, старик! Я же тебе друг, я тебя люблю! Честное слово, люблю! И я вижу, как тебе плохо. Тебя почти не печатают, тебя почти не знают, о тебе почти не пишут. У тебя небось и баб-то стоящих нет! Ради чего страдаешь? А вдруг не выйдет это у тебя, не утрешь ты всем нос, не обставишь ты всех и не прорвешься в дамки? Шансы у тебя, конечно, есть некоторые. Но риск-то, риск-то какой! Я понимаю твой принцип — пан или пропал. Красивый принцип, старик, гордый, благородный принцип. Но страшный, страшный он, этот твой принцип! Ведь можешь остаться и без журавля, и без синицы. Ведь можешь остаться с носом, старик, со своим собственным носом и больше ни с чем! Нальем еще по одной! Слышал я, что хочешь ты взяться за роман об этой ... о Бронской.

— О Брянской,— поправляю я.

— Извини, о Брянской. Похвально, похвально, старина. Пора попробовать тебе силенки и в прозе. Вдруг выйдет! Вдруг пойдет у тебя это дело! Вдруг обрушишь

ты на нас бесценные шедевры! Пиши, старик, пиши! А кто она была, эта Брянская? Она, кажется, пела? Романсы вроде бы пела цыганские? А почему ее позабыли, ты не знаешь?

К нашему столику подсаживается третий.

— Познакомьтесь! — говорит Просто знакомый.

— Мы уже знакомы,— говорю я и удаляюсь.

— Ты неисправим, старик! — кричит мне вслед Просто знакомый.— А может, тебе не стоит браться за роман? А, старик?

Я на службе. Сегодня у меня лекция о Древнем Египте, о начале Нового царства, о времени правления великой Хатшепсут. Всякий раз, когда я читаю эту лекцию, на меня находит странное волнение. Почему? Царица жила в пятнадцатом веке до нашей эры. Нас разделяют тридцать пять веков. В общем, конечно, пустяк, но однако... Волнение немножко мешает мне говорить.

— Хатшепсут была умна и красива. Она не любила вóйны. Ее царствование было мирным и счастливым. На Египет никто не нападал, Египту никто не угрожал, Египет благоденствовал. Строились храмы, воздвигались обелиски, вырубались в скалах обширные гробницы, высекались из гранита величественные статуи. Искусство процветало. Его цветы были утонченны и женственны, как сама Хатшепсут. Царица послала корабли в страну Пунт. Корабли вернулись и привезли неведомые благовония, невиданные бесценные каменья, неслыханных диковинных животных, а также священные деревья в кадках. Деревья посадили у храма, самого удивительного из всех храмов Египта. Его построил для царицы зодчий Сен-Мут. Он почитал ее, как богиню, и любил, как женщину. Вот этот храм. Плоские его террасы подымаются к подножию грандиозных отвесных скал, как бы являясь для них пьедесталом. А вот и сама Хатшепсут! Поглядите, какие у нее глаза — они доходят до висков! Поглядите, какой красивый у нее нос — с легкой горбинкой! А какой у нее рот — вы только поглядите! Ее пасынок Тутмос Третий ненавидел свою мачеху. Он рвался к власти, он мечтал о войнах, он жаждал крови и славы полководца. Когда царица умерла, он повелел разбить все ее статуи и стереть ее имя со всех обелисков. Но не все удалось разбить и стереть.

После лекции меня окружают студенты.

— Скажите, пожалуйста, почему она стала властительницей Египта? Ведь по закону трон должен был занять Тутмос?

— Это тайна, которую поглотило время.

— А правда ли, что Хатшепсут была единственной женщиной-фараоном?

— Да, это правда. За три тысячи лет только этой женщине воздавали царские почести, только ей не смели глядеть в глаза, только ее одну боялись называть по имени. Позже была еще Клеопатра, но тогда Египет был уже иным.

— А гробница ее сохранилась?

— Сохранилась. Но останки царицы исчезли бесследно.

— А гробница Сен-Мута?

— И гробница Сен-Мута найдена, но его мумии в ней не оказалось.

— А Хатшепсут умерла молодой?

— Да, молодой. Но обстоятельства ее смерти не выяснены.

Выйдя из лекционной аудитории, я встречаю Л.

— Почему у вас сегодня такое необычное лицо? — спрашивает она с тревогой.— Вы здоровы?

— Не вполне,— признаюсь я.— Когда я читаю одну из лекций о Древнем Египте, мне почему-то всегда нездоровится.

— А, понимаю! — улыбается Л.— Это ваша божественная Хатшепсут! Вы смешной. Влюбились в покойницу. А кругом столько живых красавиц!

...Ночью мне снится Древний Египет. Сон яркий, четкий, цветной. Он запоминается целиком, со всеми подробностями.

Я бос. Идти трудно. Ноги по щиколотку утопают в мелком песке. Он еще негорячий — солнце едва взошло и круглой оранжевой дыней лежит на кромке пустыни. Предо мною движется длинный синий треугольник моей тени. Своим острием он устремлен на запад. Там, впереди, на западе, розовеет гряда невысоких гор. Останавливаюсь. В пяти шагах от меня у самого края тени лежит желтовато-серый диск размером с тарелку для супа. Делаю шаг вперед. Диск подпрыгивает и, распрямившись, как пружина, превращается в полутораметровую змею. Подняв голову, змея смотрит на меня. В ее маленьких желтых глазках

угроза и решимость. Ее хвост, извиваясь, зарывается в песок. Из ее полуоткрытого рта высовывается красный, раздвоенный на конце, трепещущий язычок. «Это не желтопузик, а кое-что похуже!» — думаю я и, отскочив в сторону, бросаюсь бежать. Но бежать еще труднее, чем идти, и вскоре я снова перехожу на шаг. Горы приближаются. Перед ними появляется зеленая полоса. Она становится все шире, и я уже замечаю, что это не одна, а две зеленых полосы, разделенных третьей, цвета дымчатого хрусталя. Хрусталь мерцает под светло-голубым, огромным и пустым небом. Тень моя укорачивается. Солнце уже припекает спину и икры ног. Взобравшись на песчаный холм, я гляжу на широкую реку, которая спокойно течет между низкими зелеными берегами и пропадает в бесконечности на юге и на севере. Горы уже близко. У их подножия виднеется какое-то невысокое ступенчатое строение со множеством колонн. Упав на колени, я склоняю голову перед великой рекой, которая по воле богов тысячелетьями орошает своими прохладными водами раскаленный песок пустыни. Откуда-то оттуда, из Нубии, из таинственных южных стран, где живут черные люди и где нет городов и храмов, откуда-то оттуда, из беспредельности, все текут и текут эти благодатные воды, дарящие жизнь рыбам и птицам, крокодилам и бегемотам, землепашцам и воинам, всемогущим жрецам и самому Богу, живущему среди людей, имя которого не смеет произносить ни один смертный. У моих ног на берегу реки лежит большой город. Плоские крыши прячутся среди пальм. Слева, невдалеке, возвышаются освещенные утренним солнцем массивные пилоны храма. Сбегаю с холма и иду по узкой затененной улочке между глухими, лишенными окон, глиняными стенами. Тощая пятнистая кошка неторопливо переходит дорогу. Навстречу мне шагает смуглый почти голый человек в короткой белой юбочке на бедрах. Он гонит перед собою красную корову, пошлепывая ее тонким прутиком по костлявому заду. У коровы на шее медный колокольчик. Он мелодично позвякивает. За коровой на дороге остаются широкие зеленоватые лепешки. Улица кончается, и я вижу священную дорогу сфинксов, уходящую к пилонам храма. По краям дороги, за сфинксами, толпится народ. Бегу вдоль дороги к храму. Мелькают отполированные до блеска крупы гранитных чудовищ. Что-то больно колет мою ногу. Сажусь на камень и вытаскиваю из подошвы острую

колючку. Из ранки идет кровь. Она каплет на песок и свертывается в коричневые шарики. Прихрамывая и стараясь ступать на пятку, бегу дальше, пока меня не останавливает сгустившаяся толпа. Из распахнутых гигантских ворот храма стройными рядами выходят воины. За ними шествуют жрецы в белых одеждах. Их гладко выбритые головы сияют на солнце. Они что-то поют, громко и торжественно. В конце процессии показываются высоко поднятые золотые носилки с полупрозрачным, колеблемым ветром балдахином. Они приближаются. На них стоит золотое кресло. В кресле сидит Бог.

Я падаю вниз лицом на сухую колючую траву и не шевелюсь. Полежав с минуту и чуть осмелев, осторожно приподымаю голову. Бог совсем близко. Он сидит прямо и неподвижно. Концы его полосатого головного платка спадают ему на ключицы. На лбу, свернувшись в клубок, лежит золотая кобра. Плечи бога узки и покаты. Руки тонки и нежны. На груди под белой тканью две выпуклости... Бог — женщина! Ее лицо пронзительно, беспощадно красиво. Черные брови круто взлетают вверх и плавно опускаются к вискам, почти достигая маленьких розовых ушей. Светлые миндалины глаз оконтурены сине-зеленой краской и выглядят огромными. Нос прямой, с еле заметной горбинкой. Рот небольшой, с пухлой нижней губкой... Божество глядит на меня, скосив глаза. «Ксюша!» — кричу я и просыпаюсь.

Полежав немножко в темноте, я включаю свет, подхожу к книжной полке, беру альбом «Сокровища Каирского музея» и пристально разглядываю уцелевшие головы каменных статуй Хатшепсут, найденные среди развалин ее знаменитого храма. Потом я сажусь за письменный стол, придвигаю к себе лист бумаги и начинаю писать письмо в Нижний Новгород.

«Радость моя!

Какое наслаждение писать тебе так — «радость моя»! Эти два слова мне хочется написать сто раз подряд: радость моя! радость моя! радость моя!.. Эти два слова мне хочется шептать еле слышно: ра-а-а-дость моя-а-а! Эти два слова мне хочется прокричать во все горло: РАДОСТЬ МОЯ!

Знал я радость творчества. Она была велика. Случалось, что я тонул в ней, захлебывался ею. Хватит мне радости, думал я, не нужно мне больше.

И вот пришла радость любви. О, какая это свежая, терпкая, жаркая радость!

Я гляжу на тебя, изнемогая от изумления.

Кто придумал тебя? Из каких немыслимых отдаленностей ты явилась? Кем ты подарена мне столь внезапно? И за что?

Я люблю в тебе все. Я люблю тебя всю, без остатка.

Я люблю твои жесты, твой смех и твою привычку подергивать плечами. Я люблю, как шевелишь ты пальцами, сложенными на колене, и как ставишь ты ступни при ходьбе. Я люблю, как, удивляясь, приподымаешь ты брови, и при этом тоненькая складочка появляется у тебя на лбу. Я люблю изгибы твоих локтей, когда, подняв руки, ты вынимаешь шпильки из своих волос. Я люблю, как ты чихаешь и сморкаешься в платочек. Я люблю слизывать с твоих щек соленые теплые слезы и касаться губами твоих ноздрей.

Счастья нет! — вздыхают все. Счастья нет! — твердит все человечество вот уже пять тысяч лет. «И правда,— думал я.— Какое там, к черту, счастье! Это всего лишь призрак, мираж, хитроумная приманка — вроде блесны, на которую ловят щук. Приходится лишь довольствоваться надеждой на счастье, ожиданием счастья, тоской по счастью». Бывали минуты, когда мне чудилось, что оно, это коварное, неуловимое счастье, где-то совсем рядышком — стоит лишь протянуть руку, и я схвачу его за крыло. И, протянув руку, я хватал пустоту.

Я любил тебя еще до своего рождения. Моя любовь появилась в мире раньше меня, и она останется в нем после меня, она никогда не исчезнет. Священны камни, по которым ты ступаешь. Священен воздух, которым ты дышишь. Священна пылинка, которая садится тебе на плечо. Священно облако, проплывшее над тобою.

Но все же удивительно! Как ухитрилась ты разыскать меня в этих безднах пространства, в этих безмерностях времени? Но непонятно: как удалось мне встретить тебя в неразберихе истории?

Поздравь меня, моя радость. Вышел из печати третий сборник моих стихов. Я буду счастлив подарить тебе экземпляр с дарственной надписью.

Не слишком ли много поешь ты для обитателей волжских берегов? Питер уже давно по тебе скучает. Красив ли Нижний? Я никогда в нем не был, но слышал, что красив. Какие почести воздают тебе жители града

сего? Много ли мебели попорчено нижегородцами на твоих концертах? С кем ты кокетничаешь на званых обедах и ужинах? Кто преследует тебя своим назойливым вниманием? И, наконец, когда мне встречать тебя на Московском вокзале?

Целую тебя целомудренно в щеку у самого уха. Здесь растут мои любимые тонкие, светлые, еле заметные волоски».

Стихи о Ксении не пишутся, не даются, ускользают от меня. Я чувствую, что они где-то поблизости. Я даже вижу их расплывчатые контуры, даже слышу их неясные звуки, их тихую, приглушенную музыку. Притаившись, чтобы их не вспугнуть, я жду подходящего момента, чтобы вскочить, схватить, овладеть... Вот, кажется, момент удобный. Вскакиваю — и никакого результата. И снова маячат предо мною силуэты несозданных творений, и снова звучит в ушах их невнятная мелодия. Но почему, почему они не пишутся?

Я хитрю. Притворяюсь, что забыл о них, что они мне надоели, что не намерен больше за ними охотиться.

А сам потихоньку собираюсь с силами и тщательно обдумываю план нападения, чтобы уж без промаха...

Ясным солнечным утром, хорошо выспавшись и плотно позавтракав, я осторожно, почти не дыша, сажусь за машинку, стараясь не делать лишних движений, вставляю чистый лист бумаги и, подождав с минуту, ударяю пальцами по клавишам.

На бумаге появляются первые две строчки.

Нет, это банально. И приторно. И примитивно. И вообще не то. Давно уже не писал подобной дряни.

Появляются еще четыре строки.

Это вроде бы получше, но все же не совсем то. К тому же нечто похожее я уже писал когда-то. Повторяюсь. Топчусь на месте. Мне уже не хватает силенок. Я устал. Я уже ни на что не способен. Поэзия с усмешкой отходит от меня в сторону. Ей скучно со мною. Она зевает.

Вот еще шесть строк.

Это почти сносно. Даже красиво. Но хотелось бы чего-то другого, чего-то посвежее, поярче, посильнее.

Просидев с полчаса, бессмысленно уставившись на бумагу, я встаю и долго хожу по комнате, засунув руки в карманы домашней куртки.

Что за чертовщина? О ком же мне еще писать-то,

как не о ней? И где мне еще искать вдохновения? Сейчас дверь откроется, и она войдет, шурша юбками. Войдет и спросит, прямо и строго взглянув мне в глаза: «Когда же, наконец? Я ждала так долго! Мне надоело ждать! Вы притворщик, сударь! Вы обманщик! О, как я в вас ошиблась! О, как я наказана за доверчивость! О, как не везет мне в любви! О, как я несчастна!» И упадет в кресло, прижимая к лицу платочек, одуряя меня дьявольским запахом своих духов.

Но отчего, отчего, отчего стихи о Ксюше так упорно противятся мне? Не оттого ли, что я слишком ее люблю? Но разве это возможно — любить женщину слишком, разве существует норма любви? Глупость какая! Сколько бы ни любил, можно любить и больше. Да, да, свою избранницу следует любить как можно больше, любить безмерно, безоглядно, безудержно, любить во весь дух! А как же иначе? И разве такая великая любовь не вдохновляет на великие творения? Или, быть может, истинная любовь и истинное творчество несовместимы и одно из них непременно вытесняет другое? И в этом проявляется некий закон бытия, нарушать который опасно? Воистину, экстаз творчества и любовный экстаз, слившись воедино, переполнят сердце, и оно не выдержит! А может быть, дело в том, что я счастлив в любви, что я пользуюсь взаимностью, что любимая женщина мне принадлежит? Да, не в том ли дело, что любовь моя такая земная: всю энергию души поглощает страсть — и на творчество ничего не остается?

Не оттого ли тот, увенчанный лаврами на Капитолии, и создал свое бессмертное, что Лаура всегда была от него вдалеке? Вполне возможно, что он и не стремился к сближению, понимая, что ревнивые музы тут же отвернутся от него, едва лишь это случится. Поговаривают также, что любви попросту не было. Была лишь мечта о любви. И на эту красивую мечту клюнуло простодушное человечество. Ну да бог с ним, с увенчанным лаврами. Просто я исписался, и все. Настя права — пора браться за прозу.

Письмо из Нижнего.

«Милый мой, бесценный мой, счастье мое!

Какое письмо ты мне написал! О, какое письмо! О, какое! Никто никогда не писал мне ничего подобного!

И в книгах я ничего похожего не читала! Вижу, вижу, что любишь меня! И любовь твоя светлая, высокая, настоящая. Когда прочитала, расплакалась от радости, от нежности к тебе, милый.

И правда — какая это удача, что мы нашли друг друга! Что, если бы не нашли? Что, если бы ты родился позднее и я встретила бы тебя случайно на улице маленьким мальчиком в коротких штанишках и сказала бы себе: «Какой очаровательный мальчик!» — и не знала бы, что это ты? А ты, заметив меня, подумал бы: «Какая красивая тетенька!» — и тоже не понял бы, что это я. Понимаешь, как это было бы страшно? Иногда мне кажется, что ты пришел ко мне из других времен,— есть в тебе что-то необъяснимое. Я немножко боюсь тебя, ты это знаешь. И еще я боюсь, что погублю тебя своей сумасшедшей любовью. Мне говорили, что я женщина роковая, что для мужчин я смертельно опасна. Один мой воздыхатель сказал, что на меня надо повесить табличку с надписью: «Осторожно! Особам мужского пола от шестнадцати до семидесяти лет более чем на пять шагов подходить не рекомендуется!» Вот видишь, тебе уже пришлось из-за меня драться на дуэли, и пуля просвистела у твоего виска.

Нижний понравился мне больше прочих волжских городов — он похож на Москву. Нижегородцы гостеприимны необычайно. У пристани меня встречала огромная толпа. Расстелили ковровую дорожку от парохода до автомобиля, и я прошла по ней, как новобрачная, осыпаемая цветами.

Меня здесь повсюду возят и все мне показывают. Осмотрела кремль и то, что осталось от выставки. Это очень любопытно. Пою много и чувствую, что уже чертовски устала. Скорей бы домой! И на тебя поглядеть хочется, мой милый.

Вернусь 4-го сентября. Курьерский прибудет в Питер в 6 часов вечера. Встречай меня на Николаевском вокзале. Вагон № 2.

Не целую тебя, потерплю до 4-го. А уж тогда берегись!

Твоя К.»

Иду по сырому плотному песку у самой воды, глядя на залив, на небо, на купающихся и загорающих, на влажные от прибоя валуны, на тину, прибитую к

берегу, на лодки, лежащие на берегу кверху дном, на трясогузок, быстро-быстро семеня ножками перебегающих с места на место. Останавливаюсь и сажусь на сухое, давно уже выброшенное морем бревно. Неподалеку стоит молодая загорелая женщина в бикини. Ее волосы завязаны узлом на затылке. Она чуточку похожа на Ксению. (О господи! Все женщины напоминают мне Ксению!) Она смотрит из-под руки на море. Там, в отдалении, катер тащит за собою лыжника, который эффектно скользит по волнам, наклоняясь то в ту, то в другую сторону и подымая фонтаны брызг.

Но вот он теряет равновесие и, смешно задрав ноги с лыжами, исчезает в воде. Женщина досадливо дергает локтем. Лыжник взбирается на остановившийся катер. Расставив руки, женщина осторожно входит в воду. Лопатки ее подпрыгивают, голова втягивается в плечи — вода холодная. Женщина замирает на месте, прижав локти к бокам. После она наклоняется и плещет воду себе на грудь, затем распрямляется и, неуверенно ступая, ощупывая ногами дно, движется дальше. Ее колени уже скрылись в воде. Вот и бедра наполовину скрылись. Теперь купальщица похожа на рюмку. Чтобы легче было идти, она двигает плечами. Ее красиво очерченный торс поворачивается на шарнире тонкой талии. Обернувшись, она улыбается и кому-то машет рукой. Купание доставляет ей удовольствие.

Мимо пролетает ворона, держащая в клюве какой-то небольшой продолговатый предмет. Он выскальзывает из клюва и падает на камни. Ворона снижается, снова подхватывает его и тут же снова его роняет. Предмет стукается о гранитный валун и отскакивает на песок.

Экая неловкая ворона! Экая недотепа! Все у нее из клюва вываливается!

Но, проявляя необычное упрямство, ворона опять подбирает предмет и, взлетев повыше, в третий раз роняет его на камни. Теперь я вижу, что это ракушка. Она раскалывается. Ворона садится и принимается старательно выклевывать ее содержимое.

Ах, вот оно что! Надо же, какая сообразительная ворона! Надо же, какая умница! Баснописец Крылов, как видно, не обладал достаточными познаниями об интеллектуальных способностях ворон и в своей из-

вестной басне обидел весь вороний род, заподозрив его в недомыслии и жалком плебейском честолюбии. А вороны-то — вон они какие!

Иду дальше вдоль берега. Справа за деревьями — шоссе. По нему с шумом проносятся машины. Заграничный, наполовину стеклянный автобус останавливается на обочине. Из него вылезают несколько туристов. Они пересекают пляж, подходят к прибрежным камням, наклоняются к воде, трогают ее руками — теплая ли? — и фотографируются на фоне моря, принимая нелепые позы, кривляясь и хохоча. Потом они возвращаются к шоссе. Шофер включает мотор. Хлопает дверца. Автобус медленно отъезжает. Слежу, как он мелькает за деревьями и исчезает.

Длинная гряда валунов уходит в залив. Перешагивая с камня на камень и стараясь не поскользнуться, добираюсь до конца гряды и усаживаюсь на плоском валуне из розового гранита. Рядом на волнах качаются крупные важные чайки. У горизонта синеет силуэт небольшого острова. За ним — лиловая полоса южного берега. Там я недавно побывал.

Сижу и размышляю о Ксюше, о том, что сейчас она, наверное, готовится к очередному концерту и у нее, быть может, дурное настроение, потому что она и впрямь устала от своих продолжительных гастролей, устала петь и улыбаться публике, устала от аплодисментов и чрезмерного внимания мужчин, и ей хочется послать все к черту и сбежать из Нижнего, спрятавшись под густой вуалью и бросив свои многочисленные чемоданы, но сделать это никак нельзя, оттого что у нее контракт, и она обязана петь, умирая от утомления и злясь на полоумную публику, которая готова слушать ее, целыми сутками не вставая с места, которая способна хлопать ей часами, не щадя своих покрасневших ладоней. Но вполне возможно, что у нее, наоборот, преотличнейшее настроение, что она очень довольна гастролями, которые оказались столь удачными и принесли ей сказочные доходы, что она с радостью пела бы и больше, пела бы и в Саратове, и в Симбирске, и в Казани, но эти города, к сожалению, не были упомянуты в контракте, и ей пришлось их пропустить, хотя публика, зная, на каком пароходе она плывет, собиралась на пристанях, и она была вынуждена появляться на палубе и показывать себя

этим людям, и они, так же как на концертах, что-то громко кричали и кидали ей букеты цветов. Некоторые из букетов не долетали и падали за борт, а после долго плыли вниз по Волге, туда, где она уже была и откуда ползла вслед за нею смертоносная, страшная холера.

Затем я начинаю думать об Одинцове, о том, что он, конечно, несчастен и ему не позавидуешь, о том, что он не утолил жажду мести, что он вернется из Ялты еще более злым, чем раньше, и неизвестно, как он будет себя вести, и это опасно не только для меня, но и для Ксюши, а как тут быть — непонятно.

Вслед за этим я принимаюсь думать о Насте, о бедной Насте, ставшей жертвой моего непостоянства, о хорошей, славной, преданной Настасье, которой я, кажется, искорежил жизнь.

Мучаясь угрызениями совести и прыгая по скользким камням, возвращаюсь на берег и, миновав невысокие дюны, оказываюсь у шоссе, рядом с деревянной, скромного вида оградой. Отворяю калитку и вхожу в сад с чисто подметенными дорожками. В глубине сада стоит терем с высокой крышей и резными наличниками. В нем жил когда-то знаменитый художник П. Теперь здесь музей.

Покупаю билет, надеваю на свои кеды мягкие шлепанцы и брожу по терему.

Столовая художника. Спальня художника. Летняя мастерская художника. Зимняя мастерская художника. Его мольберт. Его палитра. Его рабочая блуза. Его берет. Его трость.

Фотографии на стенах. Художник с великим Б. Художник со знаменитыми В. и Г. Известные Д., Е. и Ж. в гостиной художника.

А вот еще одна фотография. Рядом с хозяином дома стоят неизвестные мне люди, а у его ног на низенькой скамеечке, положив скрещенные пальцы на колено, сидит очень знакомая мне красивая дама с удивительно знакомой прической и в невероятно знакомом платье. С очаровательной улыбкой, как ни в чем не бывало, она глядит на меня.

Ксения!

Читаю подпись под фотографией: «Художник в окружении своих друзей и почитателей. Стоят слева направо — писатель З., композитор И., скульптор К.,

пианист Л. Сидит певица К. В. Брянская. Снимок сделан 10 августа 1907 года».

Стою и, разинув рот, гляжу на Ксюшу. Подходит группа экскурсантов. Экскурсовод — пожилая, седовласая, благообразного вида женщина — просит меня немножко подвинуться и не загораживать экспонат.

— Десятого августа тысяча девятьсот седьмого года к хозяину дома приехало много друзей. После обеда они совершили прогулку по берегу залива. Как пишет в своих воспоминаниях скульптор К., погода в тот день была изумительная. Все гости и сам художник были в отличном настроении — шутили, смеялись, рассказывали забавные истории из своей жизни, бросали камешки в воду — кто дальше. Даже Ксения Владимировна Брянская, известная в ту пору певица и редкая красавица, тоже бросала камешки, и у нее это недурно получалось. После ужина был устроен небольшой музыкально-литературный вечер. Писатели читали свои произведения, музыканты играли, а Брянская великолепно исполнила несколько своих очень популярных тогда романсов. Гости долго аплодировали и по очереди целовали ей руки, а хозяин обнял ее и поцеловал в щеку.

Экскурсия движется дальше. Опять подхожу к фотографии. В Ксюшиных волосах светящаяся точка. Это моя булавка.

Покинув музей, иду по извилистой асфальтированной дорожке рядом с шоссе. Пройдя центр поселка, сворачиваю налево. Здесь у самого пляжа стоит низкое невзрачное зданьице небольшого ресторанчика. Ресторанчик не пользуется успехом у отдыхающих на побережье, в нем всегда малолюдно. Судя по всему, это предприятие общественного питания нерентабельно и существует вопреки элементарным законам экономики. Видимо, поэтому я испытываю к нему чувство, похожее на жалость, и, когда бываю в этих местах, всегда его посещаю.

В маленьком зале не более десяти столиков. Занято только три. Под потолком медленно вращается пропеллер вентилятора. В углу — крошечная эстрада. На ней четыре музыканта в пиджаках цвета утреннего моря после ночного дождя и певец в смокинге цвета переспелой вишни. Раскачивая плечами и притоптывая, певец поет в микрофон всем известную, до отвращения извест-

ную песню. Посреди зала лениво танцует единственная парочка.

Подхожу к стойке бара, сажусь на высокий круглый стульчик и изучаю бутылки, стоящие на витрине. Немолодая, некрасивая, но не лишенная некоторой привлекательности барменша смотрит на меня вопросительно.

— Стакан хереса и бутылку минеральной воды!

Ловко двигая холеными руками, барменша наливает мне вино и открывает бутылку нарзана. Сижу и маленькими глотками потягиваю теплый херес, запивая его холодным нарзаном. Гляжу на певца, широко разевающего рот, на танцующих, плотно прижавшихся друг к другу, на осу, ползущую по кромке моего стакана. Оса явно привлечена запахом спиртного, она не лишена порочной склонности к алкоголизму. Подняв глаза, встречаю спокойный взгляд барменши. Снова гляжу на осу. Она предпринимает попытку спуститься по стенке стакана к хересу. Движения ее осторожны. Усики ее возбужденно шевелятся. Вот она подбирается к самой поверхности пахучей жидкости, погружает в нее голову и, мгновенно захмелев, падает в херес, крыльями вниз. Энергично двигая лапками и отчаянно жужжа, оса пытается спастись, но лишь беспомощно кружится на одном месте. Протягиваю ей соломинку для коктейля. Она цепляется за соломинку, взбирается на нее и сидит неподвижно, недоуменно поводя усиками. Вынимаю соломинку из стакана и сбрасываю мокрую осу на стойку. Барменша внимательно наблюдает за моими действиями. Оса, шатаясь, переваливаясь с боку на бок, ползет по стойке.

— Налакалась,— произносит барменша спокойно и отрешенно.

Хлопает входная дверь. Оглядываюсь. В ресторан входят Настя и Знобишин. Не замечая меня, они усаживаются за отдаленный столик у окна. К ним подходит официант.

Вот оно, значит, как!

Залпом допиваю херес и прошу барменшу налить еще. Оса уже просохла, почти протрезвела и довольно бодро сучит задними лапками. Взлетев, она кружится вокруг стакана и снова садится на его край.

Ну, это уж слишком! Неужто не нашлось никого другого? Неужто надо было заводить шашни непременно со Знобишиным, с этим жалким маляром, с этим произво-

дителем пошлого ширпотреба, с этим слюнтяем, способным годами таскаться за женщиной, которую от него тошнит? Впрочем, не так уж ее тошнит, если она отправилась с ним в кабак, если она решила подарить ему вечер. А может быть, уже не один вечер подарен Настасьей этому тишайшему из живописцев? А может быть, и раньше, и всегда одаривала она Знобишина, а я, кретин, думал, что она меня боготворит, а я, олух, верил в ее преданность, а я, идиот, ходил с нею в гости к Знобишину! Оса, между прочим, тоже недурна — один раз уже свалилась в херес, и все равно ее, алкоголичку несчастную, тянет к выпивке!

На стене бара большое зеркало. В нем отражается зал. Глядя в него, исподтишка наблюдаю за своими друзьями. Знобишин смотрит на Анастасию, как кот на сметану. А Настя, коварная Настя улыбается ему благосклонно и обнадеживающе. Нет, это непереносимо! Сейчас я встану и поставлю Знобишину живописный синяк под глазом! А Настасье скажу, кто она такая и что я о ней думаю!.. Но вообще-то, я зря кипячусь. Я же сам оставил Настю, пренебрег ею. Я же люблю Ксению! Какое мне дело до Насти? Почему я ревную ее к Знобишину? Как собака на сене, право, как собака. Знобишин в Насте души не чает. Отчего же ей не сходить с ним разочек в ресторан? Отчего же не снизойти ей до Знобишина? Все-таки он художник... Нет, как она смогла, как она посмела? А Знобишину я еще объясню, где раки зимуют! Воспользовался нашей ссорой — и тут как тут! Долго он ждал этого часа — терпеливый! Анастасия Дементьевна, Анастасия Дементьевна!.. Злой я, однако,— прав Знобишин. Чего плохого он мне сделал? Чего плохого сделала мне Настя, которую я так жестоко бросил? В чем она предо мной провинилась? Три года, а теперь уже почти четыре, я морочил ей голову! Четыре года она ждала и надеялась! Четыре года я ее за нос водил! Скотина! Давно уж следовало ей со Знобишиным... или с кем-нибудь другим...

А между тем идиотка оса уже снова плавает в хересе кверху брюхом! Просто наказанье!

— У вас найдется чайная ложка? — спрашиваю я у барменши.

Подцепив осу ложкой, я вышвыриваю ее в открытое окно.

— Ха,— говорит барменша,— эта оса пьет только херес. Я предлагала ей Крымский красный, Дагестан,

Алазанскую Долину, армянский «пять звездочек» — она и пробовать не стала. А хересом вот нализалась, как сапожница, в хлам упилась.

— Как вы сказали — в хлам?

— Да, а что? Не слыхали такого выражения?

— Нет, первый раз слышу. Надо бы записать. Это выразительно, образно, метко, оригинально... А как вы думаете, можно сказать: в хлам влюбленный?

— Ха, ха! Конечно можно. Только ведь могут подумать, что этот человек просто любит хлам.

— И верно! Как это я не сообразил?

— А вообще-то любовь посильнее любого хереса и коньяка,— продолжает барменша,— посильнее даже медицинского спирта. От любви ой-ей-ей как дуреют. Разве что под забором не валяются. Но зато другие номера отмачивают. Был у меня один знакомый, Костей его звали. Так он втюрился в меня кошмарно, именно в хлам. Не в том смысле, что я — хлам, а в том, что он от страшнейшей своей любви в хлам превратился. Чего он только не вытворял, как он только не выкаблучивался! Однажды подарил мне гебе..., нет, бегемотенка, маленького бегемотика. Где он его раздобыл, леший знает. Я эту зверюгу в зоопарк оттащила, и мне еще тридцатку за нее дали. А в другой раз приперся весь разрисованный, как папуас,— и на лице, и на руках — везде! Я чуть на пол не грохнулась, думала — инфаркт у меня случится. А после спился, бедняга. Только он не херес пил, конечно, а чистенькую, без подкраски.

Знобишин и Настя уже танцуют. Вот и прелестно! Расплачиваюсь, прощаюсь с барменшей и выскальзываю из ресторана.

Уже вечер. В сумерках по пляжу бродят любители вечерних прогулок у моря. Кто-то купается, плескаясь и громко отфыркиваясь. Далеко, на уже невидимом южном берегу, зажигаются первые огни. Небо в зените еще зеленое. Оно перечеркнуто оранжевой полосой, оставленной реактивным самолетом. Из ресторана доносится голос певца. Он что-то поет по-английски. Какой молодец! Он умеет петь по-английски! А Знобишину я это все-таки припомню!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

моей руке была одна-единственная роза, лучшая из всех роз, продававшихся на лучшем городском рынке. Поезд опаздывал. На перроне собралось много народу. Встречавшие держали в руках букеты. «Не может быть,— успокаивал я себя,— чтобы все эти люди встречали Ксению. Мало ли кого они встречают!» На вокзале я купил свежую газету и теперь от нечего делать стал просматривать ее.

«Сегодня из большого гастрольного турне по городам Поволжья возвращается наша любимица — Ксения Брянская. Успех гастролей превзошел все ожидания. Волжане еще долго не смогут прийти в себя, потрясенные искусством бесподобной певицы. В каждом городе Брянскую буквально заваливали цветами. Полиции с трудом удавалось защитить ее роскошные туалеты от покушений терявших рассудок почитателей. Утомленная, но и удовлетворенная своей поездкой, артистка ответила на вопросы нашего корреспондента в Нижнем Новгороде. Предлагаем читателям запись состоявшейся беседы.

Наш корр.: Вы довольны результатами этих гастролей?

Брянская: О да, натурально, довольна! Такого успеха, пожалуй, у меня еще никогда не было. Публика была необычайно щедра на проявления симпатии ко мне и моему репертуару. Мне кажется, что я не заслуживаю подобной любви.

Наш корр.: Скромность, как известно, украшает любой талант. Но ваше дарование столь прекрасно и необычно, что ему не требуются никакие украшения. Смею вас заверить, что ваш успех вполне заслужен. Это не только мое личное мнение, но и мнение представляемой мною газеты. Какова ваша творческая программа на ближайшее время?

Брянская: Сейчас я намерена отдыхать и понемногу готовиться к выступлениям на оперной сцене. В конце года я дам несколько прощальных концертов и надолго, а может быть и навсегда, покину эстраду.

Наш корр.: Чем вызвано это решение, которое несомненно огорчит публику, обожающую вас как исполнительницу цыганских романсов?

Брянская: Эстрада — все же легкий, развлекательный жанр, а к успеху рано или поздно привыкаешь. Мне хочется попробовать свои силы в области серьезной вокальной музыки.

Наш корр.: Какой из городов Поволжья произвел на вас наибольшее впечатление?

Брянская: Нижний Новгород. Хотя и Самара мне понравилась, и Астрахань тоже.

Наш корр.: Наша газета от имени своих читателей желает вам новых триумфов. Спасибо за любезно предоставленное интервью!»

Вдали показался поезд. Публика забеспокоилась и стала выстраиваться вдоль кромки перрона. Полицейские пытались навести порядок: «Подальше, господа! Чуть подальше! Здесь стоять опасно! Просим немного подальше!»

Начал накрапывать дождик. Над толпой появились раскрытые зонтики. «Черт побери! — подумал я.— У меня же нет с собою зонтика!» Поезд приближался. Уже хорошо был виден низкорослый паровоз, издававший отрывистые гудки. Толпа шумела и волновалась. Я был в растерянности: куда бежать? Где остановится второй вагон, в начале перрона или в конце?

Паровоз был уже совсем близко. Вот он проскочил мимо меня. За ним двигался почтовый вагон, далее вагоны с номером 1 и номером 2. Расталкивая встречающих, я пошел быстрым шагом рядом со вторым вагоном, стараясь не отставать и не упускать его из виду, но тотчас же очутился в плотном скопище людей. Я делал отчаянные попытки выбраться из толпы, но меня сжимали все крепче и все дальше оттирали от края платформы. Второй вагон был уже далеко. Я разъярился и, схватив за плечо какого-то пожилого господина с седыми бакен-

бардами, грубо отпихнул его в сторону. Возмущенный господин вцепился в мой рукав.

— Вы с ума сошли, милостивый государь!

— Идите вы! — огрызнулся я и, вырвав рукав, спрыгнул на рельсы соседнего, свободного, пути. Я бежал по шпалам в сторону вокзала. Полицейские свистели мне вслед. Поезд остановился. Я снова взобрался на платформу и снова стал прорываться к вагону № 2, из которого уже выходили пассажиры. Над толпой качались зонтики. Дождь усилился. Плечи моего пиджака были уже мокры. Прорваться не удавалось. Ксюшины поклонники стояли стеной. Подпрыгнув, я увидел радостную, разрумянившуюся Ксюшу. Она спускалась по ступеням вагона. Над нею держали сразу три зонта. Еще раз подпрыгнув, я увидел лишь колышущуюся массу черных зонтов. Вскоре мне удалось пробиться к выходу на Гончарную, и я выбрался на площадь. У вокзала в два ряда стояли полицейские, которые с трудом сдерживали натиск встречающих. Показалась Ксения. Она помахала толпе букетом розовых хризантем и, спустившись по ступеням, пропала. Видны были только три зонтика, которые медленно плыли по воздуху. Мокрый Александр Третий невозмутимо наблюдал за происходящим, тяжко, по-мужичьи усевшись на своем першероне и не обращая на дождь никакого внимания. Несколько колясок и автомобилей отъехали от вокзала и направились в сторону Невского. Впереди двигался отлично знакомый мне экипаж с поднятым верхом, влекомый великолепным, тонконогим, длинногривым, длиннохвостым жеребцом гнедой масти. На облучке, столь же величественно, как император, восседал Дмитрий. И так же как повелитель «всея Великия, Белыя и Малыя», он совершенно игнорировал дождь.

Вода уже хлюпает в моих ботинках. Прячусь в подворотню. Дождь понемножку унимается. Когда я покидаю свое убежище, бронзового монарха уже нет. К вокзалу подкатывают такси. По площади, отражаясь в мокром асфальте, проезжают троллейбусы.

...Как же я теперь? Что же мне теперь делать-то? Рохля! Тюфяк! Не сумел встретить любимую женщину! Не смог всех распихать, растолкать, расшвырять и первым поднести ей свою розу! Ксюша, конечно, изумлена, обижена, огорчена, опечалена... Если она мне не позвонит — все погибло!

Клацая зубами от холода, залезаю в подошедший

троллейбус. По его стеклам еще течет дождевая вода, а по моей спине вверх и вниз бегают мурашки. В довершение ко всему я начинаю икать. Посмотрела бы на меня сейчас Ксюша! Рассмеялась бы и все мне простила. Или, напротив, сделала бы презрительную гримасу и сказала что-нибудь вроде этого: «Как вы жалки, сударь! Как вы слабы и беспомощны! Как вы смешны! Фи, как вы смешны!» И, с отвращением передернув плечами, она ушла бы навсегда.

Выходя из троллейбуса, я замечаю, что водитель — женщина, и бросаю ей на колени свою розу.

— Молодой человек, подождите! — кричит она мне вслед.

Приятно, когда тебя в сорок с лишним лет называют молодым человеком. Молодой человек, не кажется ли вам, что вы совершили самую крупную, самую трагическую оплошность в своей жизни? Такие женщины, как Ксения Владимировна Брянская, подобных выходок не прощают.

— Господи! — вскрикивает мама, увидев меня на пороге.— Весь мокрый до нитки! И зуб на зуб не попадает! Почему ты не берешь с собою зонтик, когда уходишь из дому? Сколько раз я тебе говорила: каждый день бери зонтик! Даже если на улице солнце, даже если на небе ни облачка! Ведь погода может мгновенно перемениться! У нас такой жуткий климат! Где ты шляешься? Тебе только что звонила твоя певица. Спросила, не случилось ли с тобою чего, не болен ли ты, не уехал ли ты куда по срочным делам. Сказала, что ты обещал ее встретить, а не встретил, и она не знает, что ей теперь и думать. Как же ты так? Она ждет, надеется, а ты болтаешься бог знает где, да к тому же под дождем без зонтика и без плаща! У тебя что же, третья завелась? Не хватает тебе двух красавиц? Пора бы остепениться и поумнеть. Экий ты, оказывается, вертопрах!

Я оправдываюсь:

— Да встречал же я ее, встречал! Но там такая собралась толпища! К ней никак было не пробиться, никак! Видишь, весь промок, и никакого толку. Едва в полицию к тому же не угодил, то есть в милицию, конечно.

— Ты с кем-то подрался? — пугается матушка.

— Чуть не подрался. И еще бежал по рельсам. Свистели, но, слава богу, не схватили.

— Стыдно! — говорит матушка.— В твои-то годы! Как мальчишка! Да ты и мальчишкой-то был тихим. И вот теперь... Но отчего же так много было встречающих? Это все были родственники и знакомые?

— Это были поклонники и поклонницы. Ксения очень знаменита, и у нее множество почитателей. Они пронюхали, что она возвращается с гастролей, и собрались, будь они прокляты.

— Странно,— задумчиво произносит матушка.

— Чего же тут странного? — спрашиваю я.

— Странно, что раньше я никогда не слышала о ней. И по радио ее пение не передают, и в телевизоре ее не показывают, и в газетах я про нее ничего не читала.

— Погоди, увидишь ты ее в телевизоре,— успокаиваю я свою мать.— Вспомнят о ней непременно. Погоди, уже скоро.

Весь вечер я не нахожу себе места. Весь вечер жду телефонного звонка. Весь вечер слоняюсь по квартире с потерянным и жалким видом. Беру в руки книгу и тут же кладу ее на полку. Пытаюсь что-то писать и сразу же откладываю авторучку в сторону. Включаю транзистор и через минуту его выключаю.

— А почему ты сам ей не позвонишь? — спрашивает мама.

— Ей... нельзя позвонить,— отвечаю уклончиво.

— Отчего же нельзя?

— У нее... дома нет телефона. Она звонит от соседей.

— Вот как? — удивляется мама.— Такая знаменитая, и не может поставить в своей квартире телефон? Очень странно.

До двух часов я не ложусь спать, до четырех — не могу уснуть.

...Может быть, она задержалась в гостях, или у нее самой сидят гости по случаю окончания блистательных гастролей? Неужели и впрямь катастрофа? Она убедилась, что я вполне здоров и никуда не уехал, и разобиделась окончательно, и разозлилась всерьез, и решила отправить меня к чертовой матери, к чертовой бабушке, ко всем чертовым родственникам. Я посмел не встретить ее! Весь город ее встречал, все ее встречали! Все, кроме меня!

Утром просыпаюсь от голоса матушки.

— Да вставай же, наконец! Спишь, будто мертвый! Я даже испугалась. Вставай, тебе звонят!

Вскакиваю, ничего не соображая, еще не проснувшись толком, еще оставаясь наполовину во сне.

— Кто, кто звонит? Который теперь час?

— Она звонит! — шепчет мама.— Уже десять часов! Проспишь свое счастье!

Как всегда, по телефону Ксюшин голос доносится откуда-то с другой планеты.

— Так, так, сударь! Спите, стало быть! Бедная, забытая вами женщина теряет рассудок от недоумения, тревоги, обиды, растерянности, негодования и прочих неприятнейших чувств, а вы упиваетесь сновидениями и ухом не ведете? Вчера вечером вы, натурально, позабыв о моем приезде, решили немножко кутнуть и веселились от души всю ночь напролет? Домой воротились под утро и до сих пор преспокойненько спите сладчайшим сном праведника! А обманутая вами жертва всю ночь не спала, все думала, что ей по этому поводу думать, все гадала, как понимать ей ваше удивительное поведение, все размышляла, чем ей ответить на ваше коварство!

— Ну полно, полно, Ксюша! Я уже раздавлен! Пощади, не добивай меня, дай молвить словечко!

— Молви, недостойный!

— Я встречал тебя! Доказательства? Изволь! Над тобою несли три зонтика, сразу три зонтика.

— Ну, положим, про зонтики ты мог узнать из газет. А еще?

— Еще ты села не в автомобиль, куда тебя, видимо, хотели втолкнуть, а в свою собственную коляску с Кавалером и Дмитрием. И еще в тот момент, когда ты села, дождь уже начал стихать. Вскоре он и вовсе прекратился.

— Верно! Откуда ты все это знаешь? Кто-то из твоих друзей видел, как меня встречали, и быстренько все тебе рассказал! Натурально, так оно и было!

— Нет, радость моя. Просто меня к тебе не подпустили твои вконец сбесившиеся обожатели. С самого начала мне не везло. Я не предполагал, что тебя будет встречать весь Петербург, и потому не пришел загодя. Когда же твой вагон проехал мимо меня, это решило все дело. К вагону я уже не прорвался. Толпа была так густа и так воодушевлена, что мои усилия ни к чему не привели. О, если бы я был Иваном Поддубным! Увы, я типичный хилый интеллигент — из тех, что склонны презирать грубую мускульную силу и вульгарную напористость. Вчера в шесть пятнадцать вечера я глубоко со-

жалел об этом. Ты принадлежишь к тем женщинам, которых принято называть первоклассными. Такой женщины достоин только первоклассный мужчина — сильный, решительный, настойчивый, удачливый и, разумеется, знаменитый.

— А что делать, если первоклассная женщина влюбится в непервоклассного мужчину?

— Этого не может быть. Это противоречит законам природы.

— Ну, стало быть, милый, ты и есть у меня первоклассный мужчина! И напрасно ты мучишься. Я уже не злюсь, я уже простила, я счастлива, что с тобой ничего не стряслось, я рада слышать твой голос. Как ты жил без меня? И увижу ли я, наконец, твою книжку? Умираю от нетерпения.

— Без тебя жилось мне скверно, радость моя. Както все грустилось, как-то не писалось, не сочинялось, не творилось. О тебе только думалось, о тебе только мечталось. А книжку ты можешь получить хоть сегодня, сейчас же. Приеду к твоему дому. Ты выйдешь на крыльцо, и я, упав пред тобою на колени, положу к стопам твоим свою маленькую, тощенькую, невзрачненькую, жалконькую книжицу. Ты подзовешь швейцара, он подымет ее и положит тебе на ладонь. Публика, конечно, соберется. Там, где ты, всегда собирается толпа. Меня оттолкнут в сторону, и я издалека буду с восхищением глядеть, как, стоя на крыльце, ты станешь листать мою книжонку в окружении своей восторженной, преданной публики.

— Не иронизируй, милый. Тебе же известно, что восторги публики — это мой хлеб, мой воздух, моя жизнь. И если бы не они, ты, быть может, и не влюбился бы в меня. Все мужчины тщеславны, а стихотворцы в особенности. Но я уже решила — бросаю эстраду. Ты меня убедил, ты меня допек. Ближе к Рождеству дам два-три последних концерта и удалюсь в оперу. В Нижнем начала разучивать «Кармен». Завтра же еду к профессору Бюркингу договариваться об уроках вокала. После пасхи на месяц-другой махну в Италию. Понюхаю, чему там учат, и послушаю, как там нынче поют. Твои наставления, милый, звучат в моих ушах. Я верю в твою мудрость. Ты мой спаситель. Ты вытащил меня из трясины легкомысленного полуискусства. «Мой костер в тумаане све-етит, искры га-аснут на-а лету...» А законный супруг мой уже здесь. Он вполне поправился здоровьем

и едва лишь прихрамывает. Дуэль его не облагоразумила, он все так же неукротим. Как ты помнишь, он грозился убить нас с тобою, а после застрелиться. Теперь он обещает застрелить только меня, как главную виновницу происходящего безобразия и женщину вполне и окончательно безнравственную. Так что, милый, жизнь моя в опасности. Надо мною повис громадный и острющий дамоклов меч. Вся надежда на тебя — авось защитишь. Сегодня я занята и все ближайшие дни — тоже. Надо нанести необходимые визиты. Еще — граммофонная запись. Еще — магазины. Еще — фотоателье. Я давно не фотографировалась, к тому же и тебе надобно карточку подарить. Еще — финансовые дела. Они у меня запущены. Еще — благотворительность. Я член сразу трех комитетов. Еще... уже и забыла. Что-то есть еще. Но завтра днем у меня будет часа полтора свободного времени. Назначаю тебе свидание ровно в полдень на Троицкой площади у начала Троицкого моста со стороны Петропавловки. Я люблю это место. Итак, до завтра, мой бесценный! Ух, как я по тебе соскучилась!

Весь день я корплю над стихами. К обеду кое-что начинает вытанцовываться. После обеда дело и вовсе идет на лад. Приходит то долгожданное состояние души, которое несколько высокопарно называют вдохновением. Столь яростно сопротивлявшиеся слова вдруг сдаются, подымают белый флаг и делаются на редкость покорными. Они с готовностью выскакивают из глубин сознания и становятся точнехонько на то самое место, которое им приготовлено. При этом как бы сам собою появляется некий внутренний ритм, все приводящий в порядок. К ужину заканчиваю третье стихотворение. Так же, как и первые два, оно вполне приемлемо.

Поужинав, выхожу из дому и около часу гуляю по вечерним улицам. Возвращаюсь. Перечитываю новорожденные стихи. Очень прилично! Даже превосходно!

Тут же возникает набросок четвертого стихотворения. Через час оно уже готово. Оно рождается почти без моей помощи, почти самостоятельно. И я изумляюсь, глядя, как оно рождается.

Недаром я терзался столько времени. Недаром так долго ничего у меня не получалось! Скопившаяся во мне энергия вырывается наружу. Я взрываюсь. Ура, я взрываюсь! Дым, треск, грохот! Все взлетает к небесам!

Когда дым рассеется, я спущусь в свежую воронку и извлеку с ее дна листки с машинописным текстом. Они будут еще теплые. Они будут пахнуть дымом. Завтра я преподнесу их Ксюше. Прочитав, она подымет глаза, влажные от восторженных слез. И так же, как Настя, она скажет мне: «Ты гений!» И так же, как Насте, я поверю ей. Мне ужасно захочется ей поверить.

Спать я ложусь в праздничном настроении, с чувством исполненного великого долга.

На условленное место являюсь в без пяти минут двенадцать. День отменный. Один из тех слегка застенчивых, женственных дней ранней осени, которые городу очень приятны.

Предо мною пейзаж, написанный неплохим акварелистом. Чистые, прозрачные, чуть блеклые тона мягко соприкасаются друг с другом. В колорите господствуют согласие и взаимопонимание. Однако есть и контрасты: на фоне ультрамарина тронутой легким ветром Невы горят оранжевые и багряные мазки уже подцвеченных осенью деревьев, а на бледной лазури неба ярко желтеет золото тонкого шпиля, который держит композицию акварели. Правда, на переднем плане чего-то не хватает — какого-то живописного пятна.

Ангел на шпиле, слегка повернутый ветром, вдруг вспыхнул ослепляюще. В моих глазах поплыли розовые круги. Опустив глаза, я заметил рядом с собою на поручне чугунной ограды женскую руку в синей перчатке. Повернув голову, я увидел профиль Ксении под синей огромной шляпой с отброшенной за плечи голубой вуалью.

— Простите меня, сударыня,— сказал я, немножко помолчав,— но ваша фигура весьма удачно дополнила этот акварельный пейзаж. Именно вас и не хватало на переднем плане. Теперь композиция полностью уравновесилась. Кстати, могу поклясться, что где-то мы с вами уже встречались.

— Простите меня, сударь,— сказала Ксюша, не глядя на меня,— но мне тоже кажется, что я вас уже видела, только не могу припомнить, где и когда.

— Позвольте же мне, сударыня,— продолжил я,— рассмотреть вас внимательно. Тогда я, быть может, вспомню, где мы с вами встречались.

— Позволяю! — произнесла Ксюша царственно и,

знакомо приподняв подбородок, поглядела на меня сквозь прищуренные ресницы.

— А не разрешите ли вы, сударыня, поцеловать вас? — спросил я.— Тогда уж я наверняка все припомню.

— Разрешаю! — прошептала Ксюша и, положив руки мне на плечи, закрыла глаза...

— Мы совсем рассудка лишились! — сказала Ксения, внезапно опомнившись и отстраняясь от меня.— Обнимаемся на глазах у всего Петербурга!

Она опустила вуаль, взяла меня под руку, и мы двинулись по дорожке Александровского сада. Справа, за деревьями, по Каменноостровскому медленно ехала Ксюшина коляска. Дмитрий не упускал нас из виду. Кавалер выступал гордо и, как всегда, был изящен до невозможности.

— Ну, рассказывай, рассказывай, как ты скучал без меня, как ты рвался ко мне душою и телом, как ты тут, бедный, бесился!

— Да ведь я тебе по телефону почти все рассказал, моя радость! Могу, если желаешь, повторить. Это доставит мне удовольствие.

— Нет, повторять не надо. А пишут ли в газетах о твоей книге?

— Сейчас еще рано. Надеюсь, что позже будут писать.

— Натурально, будут! Верю в твой успех, в твою победу. А я все мучаю Бизе. Кармен у меня почти готова, но одной ее маловато. На днях начну репетировать партию Амнерис из «Аиды». С детства мечтаю ее спеть. Боязно мне, натурально, бросать свои песни. Но ты не сомневайся, милый,— решение принято, и я буду твердой до конца. Если через два года публика не пожелает ломать кресла на моих оперных спектаклях, вернусь к цыганам. Заработаю еще немножко деньжат — они ведь нам с тобой пригодятся — и после совсем расстанусь с искусством. Предамся заслуженному отдыху и тихой семейной жизни. Буду воспитывать детишек. У нас ведь с тобой будут дети, правда? Купим небольшую усадьбу на берегу реки, той самой глубокой реки с зелеными берегами. Ты будешь писать стихи и картины. Устроим в Петербурге твою выставку. К нам станут приезжать наши друзья — писатели, художники, музыканты.

— Да, кстати? — вспомнил я.— Ты, Ксюша, кажется, бываешь у П.?

— Бываю. Он мой поклонник.

— Тебе по душе его творения?

— Нет, миленький, мне по душе только твои творения, ты же знаешь. Но П. довольно симпатичен. Такой добродушный старичок. Когда я приезжаю к нему на дачу, он не отходит от меня ни на секунду. Чего он только мне не говорит, каких только эпитетов не употребляет! И все в высшей степени: прекраснейшая, прелестнейшая, талантливейшая, удивительнейшая, бесподобнейшая. И все пальчиком ко мне прикасается. То в плечо ткнет, то в локоть, то в коленку.

— Старый селадон! — проворчал я.

По другую сторону от проспекта был виден новенький, только что построенный особняк, принадлежавший известной балерине. Рядом с особняком было как-то пусто. Не хватало какой-то высокой, монументальной постройки. «Мечети еще нет! — сообразил я наконец.— Она появится после». Слева от нас за высокой оградой белело тоже совсем еще новое здание Ортопедического института с золоченой луковкой церкви. Ксения сказала, кивнув на Ортопедический:

— Какая странная архитектура! Только стены да окна. Такой дом, наверное, мог бы придумать и мой Дмитрий.

— Ты ошибаешься, Ксюша,— возразил я.— Такой дом не придумает твой кучер, и отнюдь не каждый архитектор способен сейчас такое придумать. Только на первый взгляд это выглядит чрезмерно простым, а на самом деле здесь много тонкостей. Их надо уметь разглядеть. Между прочим, подобной архитектуре принадлежит будущее.

— Правда? — удивилась Ксения.— А откуда ты это знаешь?

— Секрет.

— Даже от меня секрет?

— Даже от тебя, радость моя, секрет.

— А ты, оказывается, скрытный!

Мы уселись на скамью под кустом жасмина с шариками ягод, белевшими среди еще вполне зеленой листвы. Я вытащил из кармана свою книжку и авторучку.

— Ой, что это? — воскликнула Ксюша, пораженная видом моей дешевенькой, обычнейшей ручки, продающейся в любом канцелярском магазине.

Я обмер. Значит, авторучка еще не изобретена! Или она в России еще неизвестна?

— Это самопишущая автоматическая ручка,— произнес я деланно спокойным, безмятежным тоном,— ее подарил мне приятель, который только что вернулся из Америки. Там давно уже пользуются подобными приборами для письма. Техника развивается неудержимо. Она преподнесет нам еще немало чудес. Уже летают дирижабли и аэропланы, носятся автомобили, к нашим услугам электрический телеграф, и ты частенько разговариваешь со мною по телефону. Между прочим, отчего ты до сих пор не сообщила мне свой номер? Временами я испытываю острое желание тебе позвонить.

— Нет, милый, пока не надо. Наткнешься на Одинцова или на прислугу. До поры до времени нам следует быть осторожными. Впрочем, на крайний случай — ты понимаешь — на самый крайний случай я назову тебе номер. Вот, запиши: 144-18. (Как мало, однако, было телефонов в Петербурге в ту пору — всего лишь пять цифр!).

Я положил на колено книжку, раскрыл ее и, чуть помедлив (надпись уже давно была сочинена мною), написал наискось через весь титульный лист:

«Ксении Владимировне Брянской
от самого пламенного поклонника
ее феноменального таланта
и самой счастливой жертвы
ее непобедимого очарования.
6 сентября 1983 года».

Прочитав написанное, Ксюша расхохоталась.

— Очень милая шутка! Шестого сентября тысяча девятьсот восемьдесят третьего года! Ты отлично запомнил, что говорила я тебе тогда, в марте, когда мы ехали по Невскому! А почему ты так помрачнел? Тебе дурно? У тебя колики в сердце? Или ты съел что-нибудь несвежее?

— Ничего, не тревожься, сейчас все пройдет,— буркнул я.— Кажется, моя шутка неуместна. Давай-ка я исправлю дату.

Я потянулся за книжкой, но Ксения мне ее не отдала.

— Да что с тобой, миленький мой? Ты так изящно пошутил! Я оценила твой тонкий английский юмор. Не следует ничего исправлять. Я-то уж запомню, что дело

было не в восемьдесят третьем, а в девятьсот восьмом. А потомки, найдя твою книгу с этим автографом, будут невероятно заинтригованы, невероятно! Пусть же поломают над этим головы и придумают какую-нибудь ерунду. Например, что ты был человеком из будущего, что ты приходил ко мне в девятьсот восьмой из восемьдесят третьего, а я бегала к тебе из девятьсот восьмого в восемьдесят третий — ха-ха-ха! Или что нибудь еще такое же, в духе Жюля Верна и Уэллса. Тебе нравится Уэллс?

— Погляди-ка, Ксюша, Дмитрий, кажется, уснул,— сказал я, взглянув на неподвижную коляску. Кучер поник головой, и вожжи в его руках провисли.

— Не беспокойся, милый! Дмитрий, даже когда спит, все видит. Редкостный человек.

Мы встали и пошли по дорожке дальше. Дмитрий тотчас поднял голову, подтянул вожжи, и экипаж тронулся с места. Прошедший трамвай на секунду скрыл его от нас.

— Вот видишь! — торжествовала Ксения.— Плохих кучеров не держим!

— Да, чудеса! — улыбнулся я.— Не кучер, а сокровище.

— Моим сокровищам счету нет! — засмеялась Ксюша.— Забыла сообщить тебе, милый, что Корецкие — помнишь ту парочку на автомобиле в Ялте? — приглашают нас на ужин через неделю в субботу. Они сказали, что будут крайне польщены, если ты соблаговолишь, если удостоишь их, если будешь так любезен и тому подобное. Так что, пожалуйста, пожертвуй мне, а заодно и Корецким, этот субботний вечер. У них бывает сам Р. В субботу он, видимо, тоже будет. Вообще, их посещают незаурядные люди. Но где же посвященные мне стихи? Говорил ведь, что при первой же встрече в Питере...

— Прости, моя радость. Они давно готовы, но сегодня утром я вдруг обнаружил в них некоторые погрешности. Подожди еще чуточку. Мне хочется подарить тебе нечто вполне совершенное, чем я мог бы гордиться.

Ксюша недоверчиво взглянула на меня сквозь вуаль.

— Ладно, я тебе верю, обманщик.

У Народного дома мы подошли к коляске. Дмитрий стянул с головы шапку и поклонился. Я приподнял шляпу. Опираясь о мою руку, Ксения поднялась в экипаж, уселась на сиденье и расправила на коленях платье. Оно было такое же синее, как шляпа и перчатки. «Как идет ей синее! — подумал я.— Впрочем, ей все к лицу». Ксю-

ша послала мне воздушный поцелуй. Коляска, покачиваясь, двинулась по Введенской к Большому проспекту. Верх был опущен.

Всю неделю Ксения была занята. Два раза она звонила и справлялась о моем самочувствии, спрашивала, не нападает ли на меня эта внезапная мрачность. Всю неделю я пребываю в нерешительности: идти мне к Корецким или не идти? Визит этот для меня опасен. Что за люди там соберутся и как они меня воспримут? Какое впечатление произведет на меня живой Р., чье творчество я хорошо знаю и высоко ценю? Как вести мне себя в этом обществе? Что-нибудь могу ляпнуть и всех ошарашу, всех напугаю. Примут меня за мистика-провидца или за душевнобольного. А если буду держать язык за зубами, сочтут меня дураком и невеждой, и Ксюша будет оскорблена. Но соблазн очутиться в компании петербургских интеллигентов начала века, услышать их разговоры о литературе, искусстве, о вероятном будущем России все же победил.

Большой доходный дом добротной, но чрезмерно многословной архитектуры самого конца прошлого века. Швейцар, склонясь в поклоне, открыл перед нами массивную дверь парадного. Вошли в чистый вестибюль с большим зеркалом и камином. В камине горели дрова. «Зачем топят? — подумал я.— Еще ведь не холодно. Осень стоит теплая и довольно сухая. Впрочем, приятно смотреть на камин, когда в нем горят дрова». По застланной ковровой дорожкой лестнице поднялись на второй этаж. Дверь квартиры открыла девица в белом фартуке и с белой наколкой на волосах. В прихожую выплыла, радостно улыбаясь и простирая к нам полные, голые до плеча руки, прелестная Аделаида Павловна.

— Как я рада вас видеть, господа! Как я счастлива! Как это мило с вашей стороны, что вы соблаговолили прийти, что вы удостоили нас своим посещением, что вы оказались столь любезны и нашли время... Извольте раздеваться! Прасковья, помоги гостям!

Аделаида Павловна повела нас в глубь квартиры. Когда мы вошли в гостиную, к нам бросился розовый от удовольствия хозяин дома.

— Наконец-то! Наконец-то! А мы уж думали, грешным делом, что роковые обстоятельства... Чудесно! Чудесно! Чудесно!

Адвокат надолго приник к Ксюшиным пальцам. После он ласково, по-женски, пожал мне руку.

Нас представили гостям Здесь были присяжный поверенный с супругой, отставной адмирал без супруги (видимо, вдовец), владелец спичечной фабрики с супругой и актер императорских театров без супруги (наверное, холостяк). «Самого Р.» еще не было. Но вскоре он позвонил. С ним разговаривала хозяйка. Из прихожей доносился ее голос.

— Вы нас просто убиваете!.. Я непременно, непременно заболею завтра от огорчения... Мы так надеялись, и наши гости были бы так рады... Да, да, они уже собрались... Ну что вы, что вы!.. Ну полно!.. Ах, несомненно, вне всякого сомнения!.. Да неужели? Что вы говорите!.. Ах, какая жалость!.. Да, да, телефонируйте нам!.. Непременно, непременно передам!.. Благодарю вас!

Окончив несколько затянувшийся разговор, хозяйка пригласила гостей к столу. В столовой возвышался гигантский, сплошь покрытый резьбой славянский буфет, почти такой же, как в трактире Ковыряхина. С потолка свешивалась не менее монументальная и в таком же стиле люстра. На столе поблескивали фарфор, хрусталь и серебро.

Нас с Ксенией усадили напротив фабриканта и его жены — миленькой молоденькой зеленоглазой блондинки.

Начали с закусок. Мужчины стали пить водку. Больше всех пил актер. Пил и вроде бы не пьянел. Потом подали форель по-польски. Женщины принялись за сухое вино. Мужчины не оставляли водку. Не пил только адмирал. Когда появился горячий ростбиф, за столом было уже шумно и беспорядочно.

— Господа! Господа! — кричала хозяйка.— Прошу обратить ваше благосклонное внимание на ростбиф! Я приготовила его почти собственноручно! Честное слово, господа! Николя, не правда ли, я зажарила его почти самостоятельно? Ты слышишь, Николя? Подтверди, пожалуйста, что я одна справилась с ростбифом!

Горничная разливала гостям красное вино. Кажется, это было бордо. Ксюша ничего не пила, непрерывно улыбалась, щурилась и разглядывала сидящих за столом. Уже изрядно выпивший актер поднялся со стула и постучал вилкой по хрустальному бокалу. Стало чуть потише.

— Медам э-э-э месье! Я предлагаю тост во здравие присутствующей среди нас великой певицы Ксении Брянской! Она покорила всех, господа! Всю Россию! Она... она непостижимо талантлива! Она неподражаема! Она бесподобна! Она... Да что там говорить, господа! Ура!

Все нестройно прокричали «ура» и полезли чокаться с Ксенией. Ужин продолжался. До меня донеслись обрывки разговора.

— Художественный уже на закате. Его лучезарный полдень уже позади... Метод Станиславского превратился в канон и стал веригами для актеров... Театр Станиславского — это театр Чехова, только Чехова... Ибсен, Метерлинк, Горький, Леонид Андреев — все это Художественному не по зубам... Москвин, конечно, талантливее Качалова. Качалов — Нарцисс. На сцене он сам собою упивается. Его жесты благородны до пошлости, его голос красив до отвращения...

— Система Станиславского вообще сомнительна! — заявил я с апломбом.— Это отъявленный натурализм! Все эти сверчки по углам и шорохи дождя на крыше — дешевые эффекты, предназначенные для людей, кототые не понимают, что такое подлинное искусство сцены! Глубокоуважаемый Константин Сергеевич упорно пытается изгнать театр из театра, норовит растворить столь естественную и необходимую театральную условность в приземленности, в мелочах, в жалком мусоре скучного быта. Абсурдная позиция! Без условности нет искусства вообще и театра тем более! Театр — это не жизнь, это нечто иное. Если вам нравится, как трещат сверчки, слушайте их в натуре, на даче или в деревне. Это обойдется вам вполне бесплатно, и вы не будете понапрасну занимать кресло в партере или в бельэтаже. Его займет тот, кто приходит в театр на зрелище, на чудо, на праздник. Крупнейший режиссер наших дней — Мейерхольд. Он на верном пути. Он видит, слышит и ощущает современность!

Смущенные моей горячностью, гости притихли. После они потихоньку стали выбираться из-за стола и разбредаться по квартире. Ксюша поглядывала на меня с тревогой.

Постепенно все собрались в кабинете хозяина. Ксения уселась в глубокое кожаное кресло. Я пристроился рядом.

— Был я давеча на выставке,— начал новую тему Николай Адамович,— и, знаете, господа, получил большое удовольствие. Что ни говорите, а новое наше искусство волнует и убеждает. Все эти филиппики против декаданса, все эти крики и улюлюканье проистекают от чрезмерной самоуверенности и недостаточной эстетической чуткости. Восприятие современной живописи требует особой гибкости души и высокой изощренной культуры, чего, увы, многим нашим соотечественникам явно не хватает. Далеко не каждый способен оценить утонченность Сомова, Бакста и Головина. Но тем, кто способны, открывается мир неизреченной красоты. Особенно — Бакст. Какой артистизм! Какая фантазия! Какие линии! Какое изящество!

— Все это уже устарело,— не удержался я,— все это только для нашего русского потребления. У французов уже давно — Ван Гог, Гоген, Сезанн. Теперь вот — Матисс, Пикассо, Брак. А мы все барахтаемся в мирискусничестве и принимаем его за последнее слово в живописи. Среди наших художников нет гениев, только таланты. Вот разве что Врубель.

Все опять притихли. Мой экстремизм явно эпатировал приличное общество. Ксения встала, взяла меня под руку и отвела к окну.

— Милый, ты слишком возбужден, ты говоришь чрезмерно запальчиво, ты никому слова сказать не даешь,— шептала она.— Успокойся, милый! У тебя интересные, смелые мысли, но не следует навязывать окружающим свое мнение. Пусть каждый думает что хочет. Разве я не права?

— Да, не права. Ты привела меня к посредственным людям и требуешь, чтобы я тоже выглядел посредственным.

— Ну полно, милый, полно! Я прошу тебя лишь быть чуточку помягче. Свой интеллект ты ведь можешь продемонстрировать и более деликатно.

Тут, как я и ожидал, все стали упрашивать Ксюшу что-нибудь спеть. Она согласилась. Компания вернулась в гостиную, к роялю. Ксюша спела пару романсов и только что разученную арию Кармен из второго акта. Аккомпанировала, и очень прилично, Аделаида Павловна. Романсы были вполне хороши, а Кармен оказалась несколько грубоватой, оказалась слишком цыганкой. Я не сказал этого Ксении, тем более что все гости выражали бурное восхищение.

За десертом, когда гости пили кофе с шартрезом, ко мне подсела зеленоглазая фабрикантша.

— Вы мыслите очень своеобразно,— сказала она,— вы оригинальный человек! Мне понравились ваши замечания о Станиславском. Ведь сверчок — это действительно по-детски. Театр, по моему мнению, как и любое художество, должен держаться на идее, на своеобразии мироощущения, а не на деталях, не на мелочном изыске. Мне тоже по душе Мейерхольд. Уверена, что в ближайшем будущем Россия сможет гордиться его театром.

— Как приятно найти в вашем лице единомышленницу! — сказал я и поцеловал своей собеседнице худенькую, почти прозрачную руку.

Часов в одиннадцать мы покинули Корецких. Спускаясь по лестнице и садясь в коляску, Ксюша не проронила ни слова. Когда уселись, коляска оставалась неподвижной. С минуту просидели в тишине.

— Ну что же ты, Дмитрий? — сказала наконец Ксения раздраженно.

— А куда прикажете, барыня? — пробасил кучер.

— То есть как это — куда? Домой!

— А куда домой-то изволите?

— Ко мне домой, Дмитрий! — сказал я, повеселев от свежего воздуха и ощутив какую-то особую, бодрую, сладостную уверенность в себе.

— Не слушай барина, Дмитрий! Едем! Барин меня провожает! — произнесла Ксюша злым голосом.

— Не слушай барыню, Дмитрий,— сказал я, подражая Ксюшиной интонации,— вези нас ко мне. Ты знаешь, как ехать.

Коляска по-прежнему не двигалась.

— Почему мы стоим? — спросила Ксюша.— В чем, собственно, дело?

— А неведомо, куда путь держать,— прогудел добродушно кучер.

— Но я же сказала тебе русским языком, куда ехать! Ты понимаешь по-русски?

— Как не понимать. Чай, в России родился.

— Тогда трогай!

— А барин велит ехать на Васильевский!

— Ты кому служишь, Дмитрий, барину или мне?

— Вестимо, вам. Но барин-то не чужой.

— Ну надо же! Мой собственный кучер уже не подчиняется мне! — воскликнула Ксюша с трагическим изумлением.

— Да, сегодня вечером твой кучер слушается только меня,— заявил я все с той же веселой, почти развязной уверенностью.— Дмитрий, слышишь? Поворачивай на Васильевский!

Всю дорогу Ксюша дулась и на меня не глядела. Пытался было взять ее руку — ничего не получилось. Попробовал обнять за плечи — ничего не вышло.

Остановились у моего парадного. Я выбрался из коляски. Ксюша сидела не шевелясь, как каменная.

Обошел коляску, взял Ксюшу на руки и понес ее к лифту.

— Куда ты меня тащишь? Я желаю домой!

Поставил ее на ноги и легонько втолкнул в кабину.

— Это насилие! Ты просто разбойник с большой дороги! Сейчас я закричу и позову полицию!

Отперев дверь квартиры, снова подхватил Ксению на руки, внес ее в прихожую, снял с нее пальто и шляпу, после чего повел ее дальше, в комнату, и усадил в свое любимое кресло. Сел на пол рядышком и стал сквозь юбку целовать ее колени.

— Не прикасайся ко мне! От любой смазливенькой блондинки у тебя кружится голова! Меня ты весь вечер просто не замечал!

— Ну что ты такое говоришь, радость моя! Ведь это даже не преувеличение, это настоящая ложь! Весь вечер я был около тебя! Весь вечер глядел на тебя, любовался тобою! И неужели я должен шарахаться от каждой блондинки, даже если она неглупа и способна чувствовать искусство?

— Вот именно! Она способна чувствовать искусство! Пошлое женское кокетство, банальнейшее притворство ты принимаешь за проявление образованности и высших духовных запросов! Представляю, что ты думаешь обо мне, о моей плебейской манере пения и о моей пустоголовой публике! Похоже, что ты просто считаешь меня недалекой. Мол, Бог дал ей голосок, да умом одарить запамятовал. Дура дурой, и поет черт знает что!

— Ну хватит, Ксюша! Перестань говорить обо мне такие гадости! Ты почти оскорбляешь меня.

— А ты не оскорбляешь меня, кидаясь на первых повстречавшихся блондинок?

— Ну ладно, Ксения, я виноват, я прошу у тебя прощения, я прошу у тебя снисхождения, я взываю к твоему великодушию, к твоей доброте, к твоему благородству! Прости, прости меня, моя радость! Сейчас я спущусь

вниз и велю Дмитрию, чтобы он ехал домой и вернулся утром. Не торчать же ему всю ночь у моего парадного?

— Не утруждай себя. Дмитрий и сам сообразит, что ему делать. Но ты сегодня был хорош! Устроил скандал в приличном доме, почти соблазнил совсем неизвестную тебе молодую и вполне порядочную даму, насильно увез к себе другую даму, не слишком молодую, но, в общем-то, тоже довольно порядочную... Как много сделано за один короткий вечер! Какая энергия! Какой напор! Какая уверенность в себе!

Утром, когда мы завтракали, отлично выглядевшая и какая-то вся светящаяся Ксюша вдруг хохотнула.

— Вообще-то, миленький мой, ты молодец! Ловко ты утер нос всем этим нудным господам. А блондиночка и вправду была прехорошенькая. У тебя есть вкус!

— Чуть не позабыл! — спохватился я. Взяв с письменного стола листки с посвященными Ксении стихами, я положил их ей на колени.

— О, спасибо, милый! Спасибо, мой хороший! Спасибо!

Обхватив мою голову руками, Ксюша крепко меня поцеловала.

— А скажи мне, голубчик, отчего не знакомишь ты меня со своими друзьями? У тебя небось умные, интеллигентные, одаренные друзья и ты бываешь в интересных домах?

— Разумеется, радость моя, у меня есть достойные друзья. Но я боюсь.

— Чего же ты боишься? Разве ты можешь чего-нибудь бояться? Ты же у меня неробкий!

— Я боюсь того эффекта, который ты производишь, появляясь в любом обществе, в особенности в обществе людей о тебе знающих, но видящих тебя впервые. Прежде всего у меня вызывает опасения реакция наиболее нервных представителей сильного пола. Увидев тебя, как я уже успел заметить, они слегка заболевают, чуть-чуть трогаются умом. При этом их поведение может стать несколько эксцентричным и даже опасным.

— Ха-ха-ха! Ты ревнуешь меня ко всем мужчинам сразу! Это великолепно! Значит, любишь меня по-настоящему! И все-таки нельзя же держать меня в клетке! К тому же восторженные взгляды мужчин должны доставлять тебе некоторое удовлетворение: стало быть, я привлекательна и незаурядна.

— Хорошо, Ксюша. Мы нанесем визит одному художнику. Признаться, он не очень умен и не чрезмерно талантлив, но он твой давнишний поклонник и будет счастлив с тобою познакомиться. Да, это идея — мы пойдем в гости в Знобишину!

— Я готова, милый. Прямо сейчас, утром, мы и отправимся к нему?

— Нет. Позвони мне, пожалуйста, через день-другой, и мы договоримся.

Посещение знобишинской мастерской пришлось отложить. Вечером того же дня, который столь счастливо начался в моей комнате, позвонила Ксения и, задыхаясь от волнения, сказала, что Одинцов покушался на самоубийство, что, как сообщила прислуга, он всю ночь не спал и ходил по квартире, а едва дождавшись ее, он устроил дикую сцену ревности, обозвал ее страшными словами, ударил по щеке и пригрозил смертью, а она заявила ему, что он ей противен и их брак должен быть немедленно расторгнут; что после обеда он заперся в кабинете, сжег на спиртовке какие-то бумаги и, написав записку стандартного содержания: «Прошу никого не винить»,— выстрелил себе в грудь, что убить себя ему, однако, не удалось — пуля пробила плечо, не задев сердце, и сейчас он лежит в клинике Военно-медицинской академии, что она в полнейшем смятении и просто не знает, не знает, не знает, что ей теперь делать, что она умоляет меня не тревожить ее недели две, так как ей необходимо прийти в себя, что все это ужасно, ужасно, ужасно — просто кошмар какой-то, что она несчастнейшая женщина и некому ее пожалеть, некому ей помочь, некому сказать ей доброе слово утешения, что все мужчины — чудовищные эгоисты и им доставляют извращенное наслаждение душевные терзания бедных женщин, что жизнь вообще премерзкая штука, и Одинцов, натурально, был прав, пытаясь избавиться от жизни, что она, певица Ксения Брянская, великая грешница и молит Всевышнего о прощении, что никакие блага не даются нам даром, и весь этот ад — плата за славу и богатство, что она еще мало заплатила — придется платить больше. А я ей сказал, что следует взять себя в руки, что все это, конечно, печально, но Одинцов, слава богу, жив, и поэтому не стоит впадать в отчаянье, что она отнюдь не несчастнейшая женщина на свете, и есть

кому ее пожалеть и сказать ей слово утешения, что мужчины, конечно, не внушают доверия, но не все они отвратительные эгоисты и не все они наслаждаются душевными муками женщин, что жизнь и впрямь штука сомнительная, но премерзкой назвать ее я бы поостерегся, а избавляться от нее из-за неудачной любви — мальчишество, что певицу Ксению Брянскую вряд ли стоит называть грешницей, ибо причиной ее предосудительного с точки зрения христианской морали поведения является не порочное влечение, а подлинная любовь, что все происходящее, хотя и достаточно трагично, мало похоже на ад, а мысли о плате за славу и богатство надо немедленно выбросить из головы по причине их вредности и полной несостоятельности — было и есть немало людей, которые за то и за другое ровным счетом ничегошеньки не заплатили, что я ее люблю и не позволю ей погибнуть, даже если ей этого страсть как захочется, что надо поскорее развестись с Одинцовым, и все.

К Знобишину мы отправились в конце октября. Договариваясь с ним по телефону, я намекаю, что приду не один, а с дамой, о которой он кое-что знает, но видел ее лишь однажды, да и то мельком. Заинтригованный Знобишин уверяет меня, что будет ждать нас с нетерпением и постарается произвести на даму наиблагоприятнейшее впечатление. Все дальнейшее горько вспоминать. Я едва не погубил человека, едва не стал преступником.

Когда мы ехали на извозчике, я доверительно сообщил Ксении, что мой знакомый живописец большой чудак и обожает самые грязные черные лестницы, а парадных лестниц он просто терпеть не может.

— Опасаюсь,— сказал я,— что ты будешь шокирована теми задворками, на которых он ютится.

— Не опасайся, милый,— успокоила меня моя возлюбленная.— Я ведь не чистопородная дворянка. Если бы я рассказала тебе о своем детстве, ты бы мне не поверил, сказал бы: «Вруша ты, оказывается, моя радость!»

Когда прошли второй двор знобишинского дома, Ксюша заметила, что он грязноват, но это вполне терпимо, однако странно, что нигде не видно дров.

— Не успели еще закупить,— спокойно отпарировал я,— до зимы еще месяц. А прошлогодний запас, вероятно, сожгли без остатка.

Еще ее поразило обилие кошек.

— Откуда они взялись? Никогда в жизни не видела столько кошек сразу! Их тут целые стаи! И все такие чистенькие, толстенькие! Где они питаются?

— На помойке,— ответил я.— Впрочем, их подкармливают сердобольные старушки, те самые, которые заботятся о голубях на церковных папертях.

Когда мы добрались до третьего двора, Ксюша немножко погрустнела, а когда вступили на знобишинскую лестницу, она широко открыла глаза и зажала пальцами нос. Когда же мы подымались, она то и дело брезгливо морщилась и приподымала юбки.

— Да-а! — сказала она запыхавшись, когда мы остановились у двери мастерской.— В самом деле трущоба редкостная! Такой лестницы я не видывала!

Я нервничал. Меня стала пугать предстоящая встреча Знобишина с Ксенией. Но то, что случилось далее, превзошло самые мрачные мои ожидания.

Вначале Знобишин не разглядел Ксюшу в полумраке лестницы и скудно освещенной прихожей. После он некоторое время как бы побаивался на нее взглянуть. То и дело по-старомодному расшаркиваясь, приторно улыбаясь, потирая руки и произнося ненужные, ничего не значащие словечки — ну-с, так-с, вот-с, мда-а, чудненько, славненько,— он что-то ставил на стол, стучал посудой, звенел вилками и ножами и ежеминутно исчезал в своей кухоньке.

Мы с Ксюшей бродили по мастерской и рассматривали картины.

— Неплохо! — говорила она.— И вот это красиво, и это хорошо. Знаешь, милый, полотна твоего друга напоминают мне вещи моего поклонника П. Твой друг не учился у него, случайно?

— В некотором роде учился.

— Как это — в некотором роде?

— Дело в том, что мой друг разделяет взгляды П. на искусство и стоит с ним, как выражаются теоретики, на одной творческой платформе. Несомненно, что П. гораздо одареннее моего друга и сам додумался до того, что Знобишин у него простодушно позаимствовал, считая, между прочим, по причине того же простодушия, все позаимствованное совершенно своим.

— А вот и я! — воскликнула Ксюша, увидев в шкафу за стеклом свою фотографию.— Непонятно только,

почему карточка так выцвела? Я же снималась в прошлом году...

— Мне очень нравится эта фотография,— признался я,— ты здесь безумно хороша!

— Прекрасно! — обрадовалась Ксения.— Я подарю тебе точно такую же! У тебя же нет ни одной моей фотокарточки.

Когда мы устроились за столом, свет от лампы упал на лицо Ксюши. Знобишин замер. Глаза его побелели, как у Иоанна Грозного на известном полотне Репина. Что-то треснуло, лопнуло, оборвалось в бедняге Знобишине, и я понял, что совершил непоправимую ошибку.

— Что вы на меня так смотрите? — озабоченно и даже испуганно спросила гостья хозяина.

— Д-д-да нет, н-ничего,— заикаясь ответил тот и перевел свой жуткий взгляд на тарелку с бужениной, — н-н-нет, нет, н-ничего, н-не об-об-ращайте в-внимания.

Стали пить и есть. Знобишин не отрывал глаз от буженины, но, кажется, ничего не видел.

«Дело дрянь,— подумал я,— совсем дрянь дело. Сказать, что мы торопимся, что зашли только на минутку, попрощаться и уйти? Что подумает Ксения? Она подумает, что связалась с компанией идиотов. Один весь трясется, на нее глядя, а у другого семь пятниц на неделе».

Через полчаса Знобишин вроде бы немножко освоился, заикание почти прошло, и глаза стали вполне человеческими. Но появился новый зловещий симптом — при каждом слове мой приятель стал противно хихикать, чего ранее с ним никогда не случалось.

— Честный, спокойный, хи-хи, реализм имеет сейчас такое же право, хи-хи, на существование, как и прочие, хи-хи-хи, течения современной живописи. Непредвзятое, объективное и слегка наивное, хи-хи, восприятие мира позволяло малым голландцам, например, хи-хи-хи, создавать бессмертные, хи-хи, шедевры...

«Как тогда, в марте, в том больном бреду! — со страхом подумал я.— Как те наглецы, что вломились в мою комнату и, рассевшись где попало, стали бессмысленно хихикать... И Ковыряхин, помню, был с ними».

Увидев висящую на стене гитару, Ксюша обрадовалась, взяла ее в руки и задумчиво провела пальцами по струнам. Спросив, не играет ли кто из присутствующих на гитаре, и выяснив, что, к несчастью, никто не умеет этого делать, она с сожалением вздохнула и за-

явила, что в таком случае ей придется себе самой аккомпанировать, а играет она «еле-еле».

Поудобнее расположившись в кресле павловских времен, она очень сносно сыграла вступление и стала петь негромко, вполсилы.

Тихим вечером, долго молчанье храня,
Мы сидели с тобой над широкой рекой,
А потом ты сказал мне, что любишь меня,
И тихонько мой локон потрогал рукой.

Ты сказал мне: «Я жить без тебя не могу!»
А внизу, под обрывом, струилась река.
Мы сидели вдвоем на крутом берегу,
И над нами куда-то ползли облака.

Я с тревогой посмотрел в лицо несчастного Знобишина. Так и есть — он опять стал похож на Иоанна, только что совершившего детоубийство. Я даже рассердился на Ксюшу: «Черт дернул ее запеть! Не хватало нам только ее романсов! Вечно я попадаю с ней в какие-то истории! То мне приходится отбивать ее у озверевших поклонниц, то прятать от бесцеремонных поклонников, то драться на дуэли с ее законным мужем, то спасать своих знакомых от ее чудовищного обаяния».

Мы вышли из мастерской.

— Твой Знобишин приличный художник, правда? Ему, натурально, не хватает смелости, но он... как-то подозрительно держался. Мне даже почудилось, прости меня, милый, что он не вполне здоров... психически.

— Вот, вот! Я же говорил тебе, моя радость, что возить тебя к друзьям опасно. Боюсь, все они поголовно будут терять от тебя рассудок.

— Неужели я произвожу такое убийственное впечатление?

— Не убийственное, а умопомрачительное. Знобишин на время помрачился умом, увидев тебя живую.

— А разве я уже покойница?

Проглотив слюну и кашлянув, я промямлил:

— Нет, Ксюша, ты живехонька... Во всяком случае о твоей смерти...

Произнеся эти слова, я содрогнулся и умолк.

— Ну, что же ты замолчал? Продолжай! Ты, кажется, хотел сказать, что о моих похоронах пока что не было никаких слухов и это дает тебе основание предполагать, что я еще жива? Мрачный юмор!

— Прости, моя радость. Юмор получился действи-

тельно мрачноватым. Я хотел сказать, что Знобишин видел тебя до сих пор только на фотографиях, а тут ты предстала пред ним во всем блеске своего живого очарования. Надеюсь, что у него всего лишь легкое нервное расстройство, которое скоро пройдет.

— Да,— сказала Ксюша с глубоким вздохом,— я вредоносное, роковое существо. Я приношу несчастье. Ты из-за меня едва не был убит на дуэли. Одинцов из-за меня уже дважды был ранен. Знобишин из-за меня может угодить в сумасшедший дом. Не из-за меня ли и холера началась на Волге? Между прочим — я тебе об этом не писала, не хотелось писать — в Астрахани на моем концерте застрелился один гимназист, милый невинный юноша из хорошей интеллигентной семьи. Мне его показали. В гробу лежал как живой и даже как бы улыбался. Говорили, что он был очень впечатлителен. Я три дня ревела и молилась. В конце концов и меня кто-нибудь убьет. И поделом.

Вечером, тревожась все больше и больше, звоню Знобишину. В мастерской его нет. Звоню к нему на квартиру. Его сестра с плачем рассказывает, что он увезен в психиатрическую больницу — с ним творятся странные вещи. Мне удается выяснить, что к больному сейчас никого не пускают, но можно побеседовать с лечащим врачом.

«Подлец! — говорю я себе.— Ведь ты же знал, что при виде Ксении Знобишин может свихнуться! Но ты, жалкий самолюбец, не мог простить ему Настю и прельстился возможностью красивой и легкой мести. Вот ты отомстил. И что же? Где она — радость мщения?»

Врач-психиатр еще совсем молодой человек с черной, как у Дмитрия, лохматой бородой и с умными черными глазами. Взгляд его внимателен и спокоен. Вероятно, все люди представляются ему безумцами, и он наблюдает за ними с профессиональным интересом, отмечая разные степени и оттенки безумия. Любопытно, к какой категории он отнесет пока еще легкие, но несомненно существующие отклонения в моей психике?

Пальцы врача вертят карандаш, который хорошо, остро заточен. В остроте карандаша есть нечто хирургическое. Он вызывает предчувствие боли. Врач говорит медленно, с паузами, как бы раздумывая над каждым словом.

— Это неопасно. Все симптомы указывают на то,

что заболевание протекает в легкой форме. Временные патологические отклонения нас не пугают. Через несколько недель психика больного вернется к норме. Причина? Сильное нервное потрясение типа испуга, крайнего удивления или еще чего-нибудь в таком же роде. Это естественная реакция мозга на внезапный внешний раздражитель, сам же мозг больного в оптимальном состоянии и способен вполне успешно функционировать. Так что не тревожьтесь. Скоро ваш друг будет здоров. Если я не ошибаюсь, он художник? Люди творческих специальностей особо подвержены подобным недугам. У них слишком хрупкая нервная организация. Если хотите, это признак незаурядности.

Выйдя из приемной врача, я замечаю, что дверь в конце коридора открыта настежь. За дверью железная решетка. За решеткой люди в серых больничных халатах, похожие на арестантов.

Приближаюсь к двери, вглядываюсь в лица и вижу Знобишина. Он глядит на меня. Он узнает меня. Он, улыбаясь, подходит к решетке.

— Р-рад тебя в-видеть! — произносит он нараспев.— Я-я с-совсем не ч-чувствую с-себя п-п-психом. Н-напрасно они меня с-сюда з-заточили.

— Разумеется, напрасно! — говорю я.— Просто для перестраховки, на всякий случай. Я только что беседовал с твоим врачом, и он сказал, что тебя быстренько выпишут.

— Д-да? Он так с-сказал? — радуется Знобишин и вдруг начинает хихикать так же страшно, как тогда в мастерской.

— А твоя Б-брянская д-действительно умопомрачительная баба! Хи-хи-хи! Т-таких я н-никогда не видел, д-даже, хи-хи, в кино!

Из больницы я ухожу в омерзительнейшем настроении. Мне чудится, что я сам уже изрядно «того».

...Действительно! Около Ксении творится какая-то чертовщина! Ее окутывает туман какой-то непрестанной нервозности. У ее ног бушуют волны каких-то непереносимых страстей. Вокруг нее кружатся вихри какого-то необъяснимого безумия. И нет от них спасения и защиты. Сколько невинных жертв! Мужчины стреляются и теряют рассудок. Женщины впадают в истерику и уподобляются животным. За нею ходят толпы сумасшедших. Всех она порабощает, лишает воли, ослепляет и увлекает в бездонные пропасти. Всем она дарует вели-

кое наслаждение и каждому грозит погибелью. Откуда она, такая, взялась? И что все это означает?

Шел мелкий, сухой, колючий снег. Он сыпался из плотного, туго натянутого, лишенного складок неба знакомо серого, тягостно серого, отвратительно серого больничного цвета. Ветер, прятавшийся за углом, вдруг выскакивал оттуда с воем и свистом, совершенно непростительно, по-хулигански задирал подол Ксюшиного пальто и пытался приподнять юбки, видимо желая полюбоваться Ксюшиными ногами. Одновременно он пробовал сорвать с головы Ксюши меховую шапочку и отнять у нее муфту. У меня же он вырывал из рук портфель. Делал он это настойчиво и грубо, и я с трудом отбивал его атаки.

Прячась от ветра и снега, мы ненадолго скрывались в маленьких кофейнях, пили горячий кофе или просто грелись, сидя за столиком и молча глядя друг другу в глаза. Когда на Ксению начинали обращать внимание, мы вставали и уходили, и снова шли по улицам неизвестно куда, и ветер опять подкарауливал нас за каждым углом и нагло приставал к нам на глазах занесенных снегом неповоротливых городовых. Мимо нас проезжали трамваи, автомобили, извозчичьи пролетки. Мимо нас тарахтели телеги и скользили сани с дровами, с сеном, с досками, с кирпичами, с мясными тушами, с мешками муки, с пивными бочками. Мимо нас пробегали гимназисты, подняв воротники и засунув руки в карманы своих форменных пальтишек, семенили горничные и кухарки, укутанные в большие шерстяные платки, проплывали барыни в черно-бурых лисах и песцах, проходили офицеры в длинных шинелях, а также и штатские из состоятельных в енотах и бобрах. У ворот стояли дворники в белых фартуках. Из дешевых трактиров выходили приказчики и студенты. Из модных магазинов выпархивали разодетые красавицы и садились в поджидавшие их шикарные экипажи. Над дверями булочных висели огромные крендели. На вывесках обувных магазинов красовались гигантские сапоги. На витринах парикмахерских торчали головы прекрасных мужчин с лихо загнутыми, тонкими, тараканьими усами.

Ветер стих, и стало теплее. Я заметил, что мы идем по безлюдной улице, приближаясь к С...кому кладбищу. Когда мы миновали кладбищенские ворота, я остановился, изумленный: на кладбище было поразительно

много могил. Кресты стояли плотным строем, растопырив руки своих перекладин. Там и сям виднелись свежевыкрашенные и похожие на дачные веранды металлические навесы над склепами. На многих крестах висели венки из искусственных цветов в жестяных, напоминающих тазы футлярах.

Наступил ранний ноябрьский вечер. Вороны, хрипло каркая, кружились над совсем уже голыми деревьями. Читая надписи на памятниках, мы подошли к церкви. У паперти стояли нищие. Мы остановились. Ксюша вынула из муфты обшитый бисером кошелек и стала раздавать милостыню. Нищие старательно и витиевато благодарили.

— Храни тебя Бог, милосердная барыня! Ниспошли Он здоровье и тебе, и супругу твоему, и деткам твоим, и всем твоим сродникам!

— Счастья тебе, блаженства земного и богатства великого, голубица светлая, добрая, праведная! Да минуют тебя все соблазны, недуги и горести! Да помолятся о тебе святые мученики у престола Господня! Да не оставит тебя милостию своею непорочная дева Мария, заступница наша!

Среди нищих выделялся еще не старый, худой человек с довольно тонкими, не лишенными благородства чертами лица и длинными космами темных, уже седеющих волос, падавшими на плечи. Получив свой двугривенный, он поблагодарил кратко и с достоинством:

— Спасибо, царица!

Ксения удивилась.

— Отчего же «царица»? Уж не принимаете ли вы меня за государыню? Но мы с нею непохожи. И разве станет она бродить по кладбищу, да еще в такую погоду?

— Вы не государыня, но вы царица, властительница над сердцами! Я знаю, кто вы. Я слушал вас на концертах, пока еще был... человеком. Ваш двугривенный буду носить на груди, как амулет!

Мы вошли в церковь.

— Вот видишь,— сказал я,— даже нищие...

— О, да! — отозвалась Ксюша.— Известность у нищих — это, натурально, не фунт изюму!

В церкви было сумеречно, тихо и пусто. Церковный служка с помощью длинной палки зажигал свечи на люстрах. В правом приделе было светлее. Мы прошли под аркой и заглянули туда.

Посреди небольшого зала со сводчатым потолком стояли два открытых гроба. На лбах мертвецов белели бумажные венчики. В изголовьях горели свечи.

Подошли поближе. В одном гробу лежала древняя старуха с провалившимся ртом и множеством морщин на желтом пергаментном лице. В другом лежал юноша, почти еще мальчик, с лицом нежным, румяным и совсем еще не тронутым смертью. «Жить бы ему да жить!» — подумал я и услышал, как Ксения тихо вскрикнула.

— Что с тобой, Ксюша?

— Это он, тот гимназист из Астрахани! Это он, он! Я его никогда теперь не забуду!

— Да ты с ума сошла, Ксюша! Опомнись! Да успокойся же! Ну как он мог здесь оказаться, ты только подумай? Ведь его давно похоронили! И, скорее всего, именно в Астрахани!

— Нет, нет, милый! Это точно он! Мне страшно, милый! Мне страшно!

Мы вышли на свежий воздух и, обогнув церковь, очутились на той самой дорожке. Кресты стояли здесь так же густо, как и везде. Между ними возвышались монументальные надгробия из мрамора и гранита. Часовни не было видно.

Мне стало жутковато, и я предложил Ксюше покинуть кладбище. Она не согласилась, заявив, что ей непременно хочется дойти до конца этой дорожки, что там, как ей кажется, должна быть речка и, стало быть, там красиво.

Дошли до того места, где еще не стояла часовня. Меня трясло.

— Ты озяб, милый? Экий ты у меня мерзляк! Погляди, место и вправду чудесное! Хорошо здесь, наверное, лежать! Когда я умру, похорони меня на этом самом месте. Слышишь? Я хочу лежать здесь и больше нигде! Как видишь, здесь еще не занято.

Меня всего колотило.

— Господи, да ты у меня вовсе окоченел! — вскричала Ксюша.— Пошли обратно в церковь, погреемся!

В церкви уже собрался народ. Начиналась вечерня. У алтаря полыхали костры свечей. Пахло горячим расплавленным воском. Ксения хотела опуститься на колени, но застыла в нерешительности, увидев на полу грязные сырые пятна. Я поспешно стянул со своей шеи шарф и бросил его на пол. Ксения улыбнулась благодарно.

Она молилась сначала сдержанно, строго, но постепенно разволновалась, расчувствовалась. Часто и мелко крестясь, она сгибалась в низких поклонах, почти касаясь лбом затоптанного, нечистого пола. На бледных щеках ее горели пунцовые пятна. Хор пел очень стройно и вдохновенно. Отражаясь от стен и колонн, звуки взлетали вверх, к куполу, и сквозь окна рвались наружу. Меня по-прежнему трясло. «Что же это делается? — думал я. — Что же это происходит со мною?»

Служба подошла к концу. Ксюша поднялась с колен, еще раз с чувством перекрестилась, и мы направились к выходу. Тут я увидел человека, стоявшего за колонной. Человек нас не замечал. Человек этот, размашисто, по-мужски, крестясь, смотрел на закрытые царские врата и на священника в золотой парчовой ризе, повернувшегося спиной к молящимся. Светлые, прямые, длинные волосы его ложились на воротник пальто. Человек этот несомненно был трактирщиком, а фамилия его была — Ковыряхин.

«Удивительная встреча! — подумалось мне.— Удивительно, что он оказался в этой довольно невзрачной кладбищенской церкви и именно в этот обычный, непраздничный вечер. Удивительно, что он нас с Ксенией не приметил. Все как-то удивительно».

— А ты, милый, атеист? — спросила Ксюша просто, спускаясь со мною с паперти.

— Получается, что так,— ответил я.

— И тебе не страшно умереть?

— Страшно, радость моя. Всем страшно умирать и даже думать о смерти.

— Но тем, кто без Бога, вдвойне страшно! Жаль мне тебя, милый.

Я смолчал.

Мы не стали искать извозчика и сели в подошедший трамвай. Судя по остановкам, которые объявлял кондуктор, нас везли к центру города. Ксюша прижималась ко мне плечом. Я держал ее руки в своих и потихоньку перебирал обтянутые замшей пальцы. Склонившись к ее уху, я прошептал:

— А что, если мы проведем этот вечер в какой-нибудь скромненькой чистенькой гостинице, где тебя не знают? Снимем номер на двое суток и сбежим часа через три.

— Я согласна,— ответила Ксюша.

Вышли на Садовой и направились к ближайшей

гостинице. Над входом было написано: ОТЕЛЬ ДАГМАРЪ. В вестибюле за стойкой дремал администратор с зачесанными на лысину остатками волос. Рядом стоял на задних лапах огромный бурый медведь. Его шкура была попорчена молью. Его стеклянные маленькие глазки глядели на нас неприветливо. В передних лапах он держал медный поднос. На подносе стоял горшок со столетником.

Отвернувшись от администратора, Ксения принялась с большим вниманием разглядывать чучело. Я подошел к стойке. Администратор открыл глаза. Они были похожи на глаза медведя.

— Мне нужен номер на двоих, на двое суток. Я с женой. Наши вещи привезут завтра утром. Плачу вперед.

С небрежным видом я бросил на стойку двадцатипятирублевую бумажку с портретом все того же Александра Третьего. Администратор позвал горничную. Она провела нас на второй этаж и открыла дверь нашего номера.

Я запомнил последнее наше пристанище до мельчайших деталей. Я запомнил эти две небольшие комнаты с окнами, выходившими на Садовую, из-за которых доносились дребезжанье и звонки трамваев, цокот копыт, окрики извозчиков и редкие автомобильные гудки. Я запомнил дешевые серовато-зеленые обои и безликую мебель, обитую потертым розовым шелком. Я запомнил синие бархатные портьеры на окнах и бронзовый светильник в виде стройной обнаженной негритянки, державшей в поднятых руках некий экзотический цветок, напоминавший лотос. Я запомнил висевшую в спальне картину в широкой позолоченной раме. Это был пейзаж в духе Айвазовского, изображавший утро на берегу моря не то поблизости от Сорренто, не то в окрестностях Алупки, с рыбаками и рыбацкими лодками на переднем плане, с невероятно зеленым морем — на втором и с цепью фиолетовых гор — на третьем. Я запомнил умывальник в уголке за ширмой. Он был с пожелтевшим от старости зеркалом. Тут же на табурете располагался белый фаянсовый кувшин с водой, а внизу, на полу, стоял такой же белый ночной горшок с крышкой. Я запомнил некое сооружение из тюля над широкой кроватью, похожее одновременно на полог и на балдахин. Я запомнил неизвестный мне до той поры запах, который, наверное, был обычным для гостиничных номеров начала века.

— Прикажете подать ужин? — спросила горничная.

Я вопросительно взглянул на Ксюшу.

— Принесите горячего крепкого чаю и печенья,— молвила она.

В молчании мы сидели за столом, покрытым простенькой клетчатой скатертью. Вдруг я вспомнил о портфеле и вытащил из него толстую пачку денег.

— Это мой долг.

— Ах, милый, не до денег мне сейчас! Да и положить их мне не во что. Отдашь в другой раз. Но вот тебе фотокарточка!

Порывшись в муфте, Ксюша извлекла из нее обещанную мне и столь обожаемую мной фотографию.

Принесли чай и печенье. Ксюша спросила горничную, не найдутся ли чернила и ручка. Я полез в карман пиджака и вспомнил, что забыл свою авторучку дома. Горничная ушла и вскоре воротилась с маленькой стеклянной чернильницей и ученической вставочкой. Ксюша взяла у меня из рук фотокарточку и, подумав с минуту, написала на ней всего одну короткую фразу. После она поставила дату.

— Ужо прочтешь! — сказала она, возвращая мне карточку.

Мы молча пили чай, который действительно был крепок и горяч. Потом Ксюша скрылась за ширмой, и я слышал, как там тихо плещется вода. Постельное белье было чуть-чуть сырым и хрустело от крахмала. Лежа под балдахином, я глядел на рыбаков, которые что-то делали с сетью — то ли ставили ее, то ли вытаскивали. Их фигуры казались лишенными масштаба. То они выглядели великанами, ростом с горы, то совсем карликами, копошащимися у игрушечных лодок. Ксюша тихонько легла рядом и обняла меня за шею еще холодной от умывания рукой.

— Грустно мне, милый,— сказала она.— Грустно и как-то боязно. Спрячь меня куда-нибудь, где никто, никто меня не отыщет. Спаси меня, мой родной, защити!

— От чего же, счастье мое, тебя защищать? Кто тебе угрожает? Что тебя тревожит?

— Не знаю, милый, не знаю. Но что-то все же мне угрожает, но что-то нехорошее поджидает меня. Я это чувствую. Я в этом уверена. Скорей бы закончился этот год. Неудачный он какой-то. Сначала наводнения, потом холера. А еще говорят, будто где-то в Сибири, в тайге, упал громаднейший, невиданный метеорит

и был ужасный взрыв, который слышали чуть ли не за тысячу верст. Хорошо еще, что он упал в безлюдном месте. Представляешь, что бы случилось, если бы он свалился на Петербург или Париж? Не хватает нам только таких метеоритов. Наверное, все это оттого, что год високосный.

— Ну вот,— сказал я обиженно.— А то, что именно в этом году мы с тобой встретились, тоже несчастье?

— Ой! Я и позабыла совсем! Мне кажется, что мы вместе уже лет десять, не менее! И правда ведь! Это же самый счастливый год в моей жизни!

— И в моей, между прочим, тоже,— заметил я.— Успокойся, Ксюша. Это просто нервы. Ты слишком много пела в Поволжье и до сих пор ощущаешь усталость. Отдохнешь как следует, и все пройдет. Я же с тобой, чего тебе страшиться?

— Теперь мы никогда не расстанемся, милый, правда? Тебя будут много печатать, ты станешь известным. А я покорю оперу. Мы поедем за границу, в Милан, в Париж, в Лондон, в Вену, в Стокгольм... Я ведь еще нигде не была. Все как-то некогда. Все концерты, концерты, концерты, будь они неладны. И знаешь, я почему-то боюсь — уеду за границу, и меня в России тут же забудут. Это смешно, но все равно боюсь. Глупая я, натурально, женщина.

Наши объятия были бурными. Ксения целовала меня с какой-то яростью, исступленно. В минуты затишья она плакала, и ее слезы стекали по моему плечу.

— Да, да, мы никогда не расстанемся! И мы всегда будем счастливы! — шептала она.— Чудесные стихи написал ты мне, милый! Дивные стихи! Я прочитала их двадцать раз подряд! Спасибо тебе, мой хороший! Спасибо за стихи и за любовь! Спасибо тебе за все, мой любимый!

В начале первого мы спустились в вестибюль, и я сообщил администратору, что наши намерения изменились, что обстоятельства требуют нашего немедленного отъезда из Петербурга и мы спешим на поезд.

Когда мы подъезжали на извозчике к дому Ксении, она сказала, что встретимся мы теперь нескоро: ей необходимо тщательно подготовиться к прощальным концертам, чтобы у публики надолго сохранилось хорошее впечатление от ее романсов. Еще сказала, что пришлет мне билет на концерт в зале Дворянского собрания.

атушка говорит:

— Это тебе. Вытащила утром из ящика для почты.

Клочок помятой бумаги, сложенный вдвое. На одной стороне написано: «Господину... (далее моя фамилия)». На другой — следующий текст:

«Сударь!

Мне велено передать Вам кое-что. Оно вас обрадует. Не преминете, сударь, со мною встретиться. Встреча сия может случиться четырнадцатого дня сего месяца от полудня и позже по Вашему усмотрению. Место же встречи ведомо Вам.

Ваш покорнейший слуга *М. К.*»

Почерк красивый, щегольский, с завитушками. Однако в слове «велено» на конце поставлена буква «а», а в слове «обрадует» после «у» написано «и». Орфография, разумеется, старая.

Открыл дверь трактира, вошел в вестибюль. На стене висела большая афиша.

16 ДЕКАБРЯ

в зале Дворянского собрания
состоится сольный концерт
певицы
К. В. БРЯНСКОЙ

в программе
цыганские и русские романсы

Пафнутий отсутствовал. Сняв пальто, я сам повесил его на вешалку, причесался перед зеркалом и по скрипучей деревянной лестнице спустился в зал. В нем было пусто. Только в самом углу сидел чернявый бородач в голубой косоворотке, похожий издали на дворника. Лица его было не разглядеть. Он пил чай с калачом.

Пил не торопясь, из блюдца. Надломленный калач лежал перед ним на тарелке. Под потолком жужжала муха. «Мухи-то зимою вроде бы не жужжат,— подумал я, усаживаясь за столик в сторонке от бородача,— муха зимой — дурная примета. К покойнику. Шестнадцатого декабря по старому стилю. Стало быть, двадцать девятого. А сегодня уже двадцать седьмое. Значит, послезавтра, уже послезавтра! Шестнадцатое декабря... Не так давно эту дату кто-то называл. Или видел я — написана она была где-то, на чем-то. Не могу вспомнить, где и на чем. Ох, память у меня! После, наверное, вспомню. Куда же делся Пафнутий? Заболел небось? Или поругался с Ковыряхиным и ушел в другой трактир? Или Ковыряхин послал его куда-нибудь с поручением? Да и самого хозяина не видать. А муха все летает, все жужжит и жужжит. А дворник вкушает чай с аппетитом, тешит душу. Мне, что ли, чайку попить? Тоже с калачом? Или с кренделем? Или с яблочным пирогом? Или с ванильными сухарями?»

Муха угомонилась. Стало слышно, как дворник дует на чай и тихонько чавкает, жуя свой калач. Скрипнула дверь. У стойки засинела рубаха трактирщика. Он вытирал тряпкой медное брюхо самовара.

— Матве-е-й Матвеич! — пропел я негромко.

Ковыряхин замер, обернулся, расплылся в улыбке, бросил тряпку, взмахнул руками и прокричал:

— Как-с! Вы уже здесь! А я-то!..

Тут он снова скрылся в дверях и тотчас же появился опять с подносом в руках.

— Давно вас поджидаю! Давно-с! — приговаривал он, ставя на столик графинчик водки и тарелки с закуской. От него попахивало, и в движениях его виднелась некоторая неловкость.

— Я вот, сударь мой, вас дожидаючись, не утерпел-с, не утерпел-с. Вы уж не серчайте на меня. Так вот-с как-то получилось, как-то так-с. Извольте отведать семужки. Свеженькая, нежненькая! Пища херувимов! Услада ангелов! Груздочки тоже недурны-с. Из лужских лесов, собственного засолу.

Забулькала водка. Мы чокнулись.

— Во здравие королевы нашей, волшебницы нашей, чаровницы нашей! — провозгласил трактирщик с большим чувством.

Выпили. Я жевал семгу. Ковыряхин навалился грудью на стол. Длинное, желтовато-серое, нездоровое

лицо его резко увеличилось, закрыв от меня всю стойку с самоваром и добрую половину потолка. Бесцветные глаза с редкими белесыми ресницами отделились от лица и, обретя удивительную самостоятельность, повисли предо мною неподвижно. Дворник между тем вытянул из кармана штанов большой платок и принялся вытирать вспотевшую от усердного чаепития шею. Калач заметно уменьшился.

Перед пугавшими своей неподвижностью немигавшими глазами трактирщика возник его сухой палец с корявым ногтем. Палец был уставлен в потолок, голубой свод которого был подобен небесному и напоминал о вечности.

— Я немного того-с, под мухой-с. Тут летала одна, жужжала. Вот я под нею, хе-хе, и очутился. А когда наш, русский человек под мухой пребывает, ему душу облегчить надобно, ему охота поговорить, пооткровенничать, пожаловаться, поисповедаться. Муха-то откровенности подспорье. Вы, сударь, хоть и не священник, но к исповеди человек располагающий, так что уж потерпите-с. Я хочу вам сказать, любезный вы мой, что Матвей Ковыряхин погиб. Натуральнейшим образом. Это вам не метафора-с, это вам не, как ее... не гипербола-с. Отнюдь нет-с! Ковыряхина в мире сем уже не отыщете. Тщетными, тщетными будут поиски ваши! Несчастье случилось с трактирщиком Ковыряхиным — накрыло его облако мрака. Судьбина-с! Рок! Фатум! Парки эти самые, будь они прокляты! Мойры! Ни за что ни про что, играючи, шутейно угробили меня эти бабы. Я, как вы изволили небось приметить, человечек с подкладочкой, с изюминой, с душевной сокровенностью. Трактир мне от батюшки покойного достался. Сам-то я к трактирному делу пристрастия не имею. Я люблю размышлять и книжки почитывать. Записки даже писал-с, мысли разные на бумаге запечатлеть пытался. После батюшкиной кончины хотел я заведение продать. И покупатель мне подвернулся подходящий... Но тут и подкузьмила меня судьба.

Палец Ковыряхина дрогнул, качнулся, наклонился и остался в горизонтальном положении, вроде бы указуя на дворника, который управился с шеей и снова поднес блюдечко ко рту.

— Как-то от скуки забрел я летом в сад Буфф. А там — театр. Программа была завлекательная — цыганское пенье. В первом-то отделении и впрямь цыган-

ки пели, притом и плясали, юбками трясли-с. Мне это скоро надоело, норовил уж было сбежать, да почему-то все же на второе отделение остался. А во втором... А во втором, чай, догадываетесь, вышла она. Тогда еще совсем девочкой была, тонюсенькой, как былиночка. Но, видать, уже знали ее и любили. Когда выплыла из-за кулис, все повскакивали со стульев и так завопили, что я даже оробел. «Господи, думаю, с нами крестная сила! Спаси и помилуй!» А когда она отпела свое, я как пьяный был, будто бутыль смирновской один выхлебал, да безо всякого сопровождения. Не помню уж, как и домой дополз. С тех пор ни одного концерта ее не пропускал. Ни одного-с! Нет, грешен, один пропустил по причине сильной хворости. А года через два как-то вечером ввалилась в мой «ресторан» компания офицерья. И с ними — она. Офицеры хмельны были весьма и все на колени пред нею бухались. А она веселая была, все хохотала. Сколько шампанского тогда было выпито, уж не помню. Бутылки под столами катались. Под конец велела она господам офицерам лечь на пол рядком и в туфлях прошла по ним не спеша. Никогда, никогда в жизни своей ничего подобного я не видывал-с! Офицеры были все холеные, усатые, все из дворян небось. А пол-то у меня к вечеру не очень чистый... Через недельку она и одна пожаловала. Спросила кофию и конфет. Я подал, а после из-за портьеры на нее глядел не дыша. Глазам своим не верил-с. Как Иван-дурак на Жар-птицу. Ей-богу-с! Думал — вот-вот вспорхнет, и все пропало... С тех пор для нее кабак свой и содержу. Это она здесь хозяйка. Я при ней вроде приказчика. И за кассира опять же. Все выкрасил в голубое. Это для нее наиприятнейший цвет. Когда долго не является, хандра на меня находит. Места себе не нахожу. Даже зубы болеть начинают. Вот истинный крест! И записки свои бросил, и думать перестал. Разве что о ней. О ней думаю непрестанно, до судорог в мозгу. Из меня, могло статься, философ вышел бы или сочинитель. А я вот... А я при ней, как пес. Велит на задние лапки вскинуться — вскинусь. Велит замереть — замру. Велит загрызть кого-нибудь — загрызу не моргнув. Вот вам и весь Ковыряхин, бывший мыслитель. Но дивно мне: чем же трактир мой ей приглянулся? Чем он ее привлек? Вроде бы и зазорно ей в такое заведение хаживать. Богатая, знаменитая, красивая до... до головокружения. Правда, правда, сударь! Когда гляжу на нее, пошатывает меня, будто я матрос на палу-

бе корабля, а море сильно волнуется. И надобно мне за что-то схватиться, не то и упасть могу, неровён час.

Палец трактирщика стал подыматься и вскоре принял первоначальное вертикальное положение. Глаза же моргнули разок.

— А знаете ли вы, сударь мой, кто такая чаровница наша, кто такая Ксень Вдимна? Певица, думаете, одареннейшая и женщина красоты неописуемой? Знаменитость, думаете, всероссийская? Гордость отечества-с? Все так. Все верно-с. Все сущая правда. Все, все это истина! И певица, и красавица, и знаменитость невероятнейшая. Но... Но женщина сия великая тайна есть! И ве-еличайший соблазн! Испытание человеков! Голос ее не отсюда. Он от пределов тех, кои нам недоступны, кои для нас потаенными пребудут вовеки! И красота, и прелесть ее телесная тоже оттуда! Она — капля надмирного совершенства. Нам и капли одной довольно-с. Ее лучше не слушать. На нее лучше не глядеть. И запах ее лучше не знать — духи ее пахнут опасно. Голосу же ее дана страшная власть. Он нас ласкает и истязает. Он нас казнит и милует. Он нас уводит в чащи дремучие, в пески пустынь раскаленных, в снега стран полуночных. Голос ее — великое обещание, великий посул. Он обещает нам рай. Он сулит нам радости непомерные. А за что нам блаженство сие? За что? Мы, погрязшие в грехах, в скверне житейской, мы, опутанные паутиной будней, праздника сего недостойны. В романсе своем знаменитом поет она о влюбленных, что сгорают мотыльками на костре своей страсти погибельной. Воистину, воистину, как мотыльки, сгораем и мы мгновенно, внимая голосу ее неземному, попадая в столп дивного пламени сего! Кто не сгорит, крыльев все едино лишится. Так скажите же, сударь мой (ковыряхинский грозный палец вдруг исчез), зачем нам это аутодафе? Зачем нам этот костер полыхающий, сей сожигающий нас костер? Почему мы подбрасываем в него хворост? Не пора ли залить его водой или забросать песком? Пусть возвращается комета сия в бездны вселенной! Пусть улетает ее голос к пределам тем, неподвластным воображению нашему, к рубежам вероятного, к границам мыслимого! Пусть он канет в омут непостижимости!

Трактирщик умолк. Глаза его округлились. В них горел желтоватый огонек.

...Что это он такое сказал? Или послышалось мне?.. «...Не пора ли залить ...пусть канет...» И с чего это вдруг

мне такое послышалось? Спьяну? С одной-то рюмки? Кабы еще без закуски... Но семга и впрямь недурна была, и впрямь недурна. Да как же он мог такое сказать о ней? Как же он мог? «Пусть возвращается... в бездны...» Или я как-то не так его понял, не так услышал, не так воспринял? Или он совсем не то имел в виду, и все это мнительность моя неотвязная?

На губах у Ковыряхина появилась улыбка, говорившая о некотором смущении, о некотором сожалении и о некоторой даже досаде.

— Впрочем, это я так,— продолжал он.— Это умственная игра, не более. Некое философствование, так сказать-с, по известному нам обоим поводу-с. Если мыслить, пользуясь строгой, формальной, классической логикой, если принимать во внимание только рассуждения хладного ума, не смягченные теплом и деликатностью чувств, если пренебречь нагромождениями всевозможных обстоятельств, кои, наподобие кокона, защищают нас от крайностей прямолинейного разума, то можно забрести в такую тьмутаракань-с, в такие дебри, в такие трясины, то можно провалиться в такую бездну... Нет, право же, сударь, это всего лишь забавы праздного, увы, давно уже праздного и потому скучающего мозга. Да неужели вы, сударь, могли подумать, могли представить, могли предположить?.. Да неужели вы, сударь, можете заподозрить?.. Ах, напрасно, напрасно я напугал вас, напрасно вы испугались! Вы же испугались, я вижу! Все это пустое, сударь, пустое. Какие там дебри! Какая там бездна! Не лучше ли нам с вами вкусить еще по рюмке? И забудем о странностях формальной логики-с! И не будем предаваться азарту умственной игры! Всякий азарт губителен-с.

Ковыряхинская улыбка увяла. Губы выпрямились и стали светлы, как ковыряхинские ресницы. Желтоватый огонек погас. Глаза трактирщика отпрянули назад и вновь соединились с его лицом, заняв привычные для них места. И само лицо слегка от меня отдалилось. Рука же его потянулась к графинчику. Поднятый за горлышко округлый стеклянный сосуд, содержавший бесцветную и столь невзрачную на вид жидкость, приблизился сначала к одной, а после к другой рюмке. При этом жидкость лилась из сосуда тонкой, еле заметной, невинной струйкой.

— Давайте выпьем теперь, государь мой, за здоровье тех почтенных дам-с, за пáрок неутомимых, за ис-

кусных прях! Не дай Бог, если они захворают! Тогда нам несдобровать! — Эти слова мой собутыльник произнес громко и торжественно, видимо надеясь, что тост будет услышан самими парками.

После второй рюмки Ковыряхина развезло. В глазах его плавала какая-то муть. Скулы побагровели. Голос его то и дело прерывался, будто проваливаясь куда-то и с трудом выбираясь наружу.

— Я уже отменно пьян, и посему море мне, как водится, по колено,— сообщил доверительно трактирщик и продолжал: — Ха! Наша Маркизова лужа и трезвому по щиколотку! И трезвому! Так что уж не обессудьте, если что не так. Я трудно хмелею. Стоек я против Бахуса. Дабы свалить меня, ему надобно попыхтеть. Но сегодня... А сдается мне, сударь... Сдается мне, что и вы не устояли, и вы обольстились, и вы порабощены-с, и вы себя позабыли, себя потеряли, внимая голосу сему загадочному, взирая на совершенство сие нестерпимое! И вы, и вы, и вы! Признайтесь же, сударь мой! Тогда, в марте, когда впервые привезла она вас сюда, вы уже спеленький были-с, готовенький были-с! «Вот и этот уже дымится на жертвеннике!» — подумал я тогда, и, признаться, не без удовольствия. Так что, сударь, мы с вами вкусили одной благодати. Вы груздями-то не брезгуйте! Хрустят, подлецы, очень даже впечатляюще. Ах, да что же это я! Куда же память моя подевалась! О главном-то, о главном позабыл совсем! Заболтался!

Ковыряхин вскочил и бросился к стойке. Вернувшись, он сунул мне в руку небольшой надушенный конверт. В конверте лежал билет в зал Дворянского собрания на 16-е декабря. И еще в нем лежала записка.

> «Милый! Приглашаю тебя на свой концерт. Буду петь много и, наверное, хорошо. Постараюсь быть красивой, чтобы тебе понравиться.
>
> *Твоя К.*».

Перечитав записку несколько раз, я поднял глаза. Ковыряхин смотрел на меня, как и прежде, не мигая. В мутных глазках его было некое выраженьице. Странноватое такое, но притом и неприятное, раздражающее, беспокоящее и даже слегка пугающее выраженьице. Я глядел на трактирщика почти с ненавистью. Где-то неподалеку тихонько сопел дворник. Где-то на улице прогрохотала пустая телега. Пьяная голова Ковыряхина

таила в своей глубине какие-то мысли. Они были скрыты под волосами, под кожей, под черепными костями, в лобных долях ковыряхинского мозга. Они прятались за туманной пеленой ковыряхинского невнятного взора. Эти мысли следовало вытряхнуть наружу. Эти мысли следовало пощупать.

Взяв трактирщика за плечи, я стал трясти его. Сначала легонько, потом сильнее, а после изо всех сил. Наполненная потаенными мыслями голова моталась из стороны в сторону.

— Что вы делаете, сударь! — восклицал бедный Ковыряхин.— Оставьте меня! Господь с вами! Вы же мне голову оторвете! — кричал он.— Да вы безумец! Я сейчас полицию!..— вопил он все громче и громче.

Голова его, казалось, держалась уже на ниточке, но мысли не высыпались на стол. Ковыряхин, упорствуя, скрывал свои мысли.

Я утомился и перестал трясти. Трактирщик заплакал.

— Сударь, я к вам душевно... Я вам о жизни своей... Я вам то, что никогда никому... А вы-с!

Он всхлипывал, как дитя, и тер глаза подолом своей васильковой рубахи.

— Ладно, не обижайтесь,— сказал я.

Мне стало жалко Ковыряхина. Разомлевший от чаю дворник поглядывал на нас из своего угла с ленивым любопытством. Калач был съеден.

— А где Пафнутий? — спросил я уже вполне миролюбиво.

Ковыряхин глубоко, длинно, с придыханиями вздохнул.

— Пафнутий Иваныч приказал долго жить-с. Преставился. Почил в бозе. Уж месяц, как погребен на Волковом, царствие ему небесное. Бесподобная наша его любила, дарила ему серебряные рубли. Он их берег, не тратил-с. Когда помер, нашли их у него в шкатулке. Шестьдесят шесть рублей. Целый капитал-с! Давайте помянем его, сударь. Добрый был старик и совестливый. Не воровал. Заведение мое на нем держалось. Теперь захиреет оно и прахом пойдет-с.

Мы выпили еще по рюмке. Я глядел на Ковыряхина почти с нежностью. Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное.

— Хороший вы человек, Ковыряхин! — произнес я

с пафосом.— Нравитесь вы мне! Люблю я таких, как вы! И служение ваше Ксении Владимировне, верность вашу ей я ценю. И ведь недаром, недаром тогда, в марте, привезла она меня прямехонько к вам! Не куда-нибудь, не к кому-нибудь, а к вам, дорогой Матвей Матвеич! Именно к вам! И здесь, здесь, под этими синими, почти небесными сводами услышал я впервые ее голос и вашу игру на гитаре! Да, да, здесь. Я желаю выпить за вас, Матвей Матвеич, и за ваш уютный ресторанчик, куда так часто забредают прелестные музы! И за этот самовар! И за этот граммофон!.. Эй, приятель! — обратился я к затихшему дворнику.— Выпейте с нами за сей гостеприимный кров, за сей приют для всех озябших, утомленных и алчущих и за хозяина его — прекраснейшего человека!

— Я сейчас! — заторопился Ковыряхин, убегая за третьей рюмкой.

Дворник приблизился. Он был не дворник. Он был кучер Дмитрий.

— А как же экипаж? — удивился я.— Разве барыне сегодня не требуется коляска?

— Не требуется,— ответил кучер своим мрачным, бездонно глубоким басом и при этом изобразил на лице совершенно зверскую улыбку.— Барыня сегодня весь день дома романсы поет. Что-то ей нынче не поется, и она сердитая. На Пашку — горничную — накричала, плохо-де комнаты подмела. Обидела девку. Давненько я барыню такою не видел. А меня она в трактир послала. Иди, говорит, Митрий к Матвею и сиди у него сиднем, чай попивай, жди (на чай и на калач она мне полтинник отвалила). А как придет барин, бородатый такой, ты его знаешь,— как придет он, ты ему и скажи: пусть ни в коем разе не приходит в Дворянское собрание на концерт, потому как не в голосе я и неохота мне пред ним срамиться. Так и скажи: ни в коем разе!

— Так ведь до концерта еще почти три дня! — снова удивился я.— До концерта она небось о-го-го как распоется! Неужто голос у нее так долго будет пошаливать?

— Может, оно и так,— басил Дмитрий,— может, вы, барин, и правду говорите. Голосок у барыни нашей неслабенький, как не знать. Только велено было все так вам сказать, и поручение я исполнил в точности. Думаю я, что барыня немножко хворая, простуженная. Вот голос у нее и сел слегка. А от выступления своего отка-

зываться не желает, публику обижать не хочет. Да и денег ей жалко. У нее что ни концерт — деньги страшенные. Я бы на ее месте тоже не отказался, даже если бы горячка у меня случилась. Деньги-то ух-какие! Такие деньги на Литейном не валяются, да на Лиговке тоже. Говорят, будто голос у нее колдовской, чародейный. Я вот даже слушать боюсь. Ей-богу!

— Что-то, Митрий, ты робок не в меру, а с виду — сущий Соловей-разбойник! Послушай хоть разок. Небось не помрешь. И разума небось не лишишься. Попробуй послушать, попробуй. Только в церковь перед этим сходи и свечку поставь Николаю-угоднику для храбрости.— Давно вернувшийся с рюмкой Ковыряхин, ехидно поглядывая на кучера, в который уж раз наливал водку.

— За здоровье Ксении Владимировны! — произнес трактирщик неожиданно твердым, ясным, трезвым голосом и, запрокинув голову, первым вылил свою рюмку в широко открытый зубастый рот. После этого рот закрылся. Кадык Ковыряхина произвел соответствующее движение, и горячительный напиток проследовал в пищевод, а далее и в желудок.

— Красиво пьете, Матвей Матвеич! — сказал я.— Просто загляденье.

Кучер же, против ожидания, пил водку по-дамски, маленькими глоточками, что совершенно не соответствовало его мужественному облику и выглядело комично. «Надо же! — думал я.— Такая эффектная внешность, такой головорез, такой людоед — и вот поди ж ты! Но как же, как же, выходит, не увижу я ее послезавтра в Дворянском собрании, не увижу ее, ослепительную, в роскошном платье, среди знаменитых белых колонн с роскошными коринфскими капителями, под знаменитыми и тоже роскошными хрустальными люстрами — не увижу я, значит, всю эту роскошь и не услышу голос ее, многократно отраженный и колоннами, и потолком, и креслами, и балюстрадами хоров, отраженный и как бы усиленный великолепной этой архитектурой? А следующий ее концерт в Филармонии, то есть в Дворянском, состоится неизвестно когда. Она ведь бросает эстраду. Это я сам виноват. Она, конечно, простудилась. Это я таскал ее по городу на ветру и на морозе. А ведь знал, что ей нельзя простужаться, что ей надо беречь горло. Это все я, кретин! Но я все равно пойду на концерт. Без разрешения, тайно. Она не узна-

ет. Потом, при удобном случае, прощения попрошу. Пойду непременно».

— Передай барыне,— обратился я к Дмитрию,— передай, пожалуйста, барыне сердитой, что мне грустно. Но если она не велит, то я повинуюсь.

В руках трактирщика появилась гитара все с тем же невероятных размеров небесно-голубым бантом. Он нежно погладил гриф и ударил по струнам. Гитара вскрикнула, потом застонала и постепенно умолкла. Склонив голову, Ковыряхин слушал, как затихает рокот струн. После он выпрямился, закрыл глаза, посидел несколько секунд неподвижно и заиграл вальс «Дунайские волны».

— Браво! — воскликнул я, когда он закончил. И тут же спросил: — Где научились вы, дражайший Матвей Матвеич, так искусно играть на гитаре?

Ковыряхин ответил, уставясь в пол:

— Нигде я не учился, никто меня не учил-с. Сам я премудрость эту одолел. Купил в лавке книжку-самоучитель и как-то потихоньку, полегоньку, по вечерам да по воскресеньям... Сначала мучился, хотел бросить. Гитара меня вовсе не слушалась. А после пошло, стало получаться, покорился мне сей строптивый инструмент. И вскорости сделался он мне другом душевным. Без него теперь и жизни мне нет. Люблю я, сударь, поиграть в одиночестве. Люблю потешить сердце свое мечтами несбыточными. Люблю предаться сладостным чувствам под гитарный звон. Играю и плачу. Так хорошо-с! А если наперед еще пару рюмок, то больше ничего и не надобно. Блаженство, сударь!

— А почему бы вам, Матвей Матвеич, так сказать, публично, со сцены искусство свое незаурядное не продемонстрировать? Людей порадуете и себе удовольствие доставите. Такой игры, как ваша, признаться, я еще не слыхал. И хотя в этом деле я не специалист, талант ваш несомненно замечателен. А может быть, попробовать вам Ксении Владимировне на одном из концертов поаккомпанировать? Она поет под рояль, а под гитару-то будет задушевнее, теплее.

Трактирщик не отрывал своего взгляда от дощатых половиц.

— Полно вам, сударь! Я — и рядом с самою Брянской! Полно! Смеетесь вы надо мною. Право же, смеетесь. А чего тут смеяться-то? Чего же смешного в увлечении моем невиннейшем? Грешно вам, сударь!

— Да бросьте вы, Матвей Матвеич, прибедняться! Бросьте жеманничать! Сами знаете, что играете отменно. Зачем же талант свой прячете? А еще хочу я вас спросить, простите меня великодушно за чрезмерное любопытство: не побывали ли вы в Ялте этим летом? Кажется мне, будто видел я вас в Массандровском парке в самом конце июня.

Ковыряхин продолжал с усердием изучать половицы.

— Ошиблись вы, сударь. Не было меня в Ялте в конце июня. Но и раньше меня там тоже не было. Что мне там делать? Плавать я не умею и никогда не купаюсь. И природа пышная, южная мне не по душе. Пальмы и кипарисы тоску на меня наводят. Березы да елки наши русские мне милее-с. Но есть у меня братец двоюродный, кузен, так сказать. Он на меня весьма похож, и нас с ним частенько путают-с. Вот он большой любитель крымских красот и каждое лето их навещает. Не иначе как его и приметили вы в этом самом парке — как, бишь, его?

— Массандровский,— подсказал я.

— Стало быть, в Массандровском. Чудное какое название, нерусское!

— Что происходит? Я не понимаю, что происходит! Я не понимаю, не понимаю, не понимаю! Мне надо знать, что происходит! Мне надо это знать! Ты что-то скрываешь, что-то прячешь от меня! Зачем ты скрываешь? Разве я заслужила такое? Разве я когда-нибудь... Как ты можешь? Это ужасно! Четыре года я верна тебе, четыре года я жду, когда ты наконец... Нам надо встретиться! Нам немедленно, сегодня же надо встретиться! Нам надо поговорить. Я не могу, не могу так больше! Я не могу!

Настин голос дрожит. В Настином голосе отчаянье. Еще минута — и Настя разрыдается, и будет долго рыдать в трубку, а кто-то из соседей выглянет в коридор, чтобы насладиться зрелищем Настиного горя, или, наоборот, прибежит с валерьянкой и станет лить ей в рот лекарство, и станет успокаивать ее какими-нибудь ненужными словами, гладя ее по голове и подсовывая ей носовой платок. О, как мне жалко Настю! О, как это все и впрямь ужасно! Ведь год тому назад все было так покойно, определенно, устойчиво, твердо!

Ведь год тому назад был такой уют в моей душе, и в Настиной тоже! Ведь год тому назад я любил ее, любил! Ведь Настасья сейчас уже была бы моей женой! Да, да, была бы моей женой!

Мы гуляем по Эрмитажу. Мы и раньше частенько встречались с Настей в Эрмитаже. Ей это нравилось, да и мне это было приятно. Ей это нравилось главным образом потому, что именно в Эрмитаже четыре года тому назад и состоялось наше знакомство. В буфете. Как ни смешно, в эрмитажном буфете. Была очередь. Я стоял за Настасьей, еще не ведая, что это именно она. От нечего делать я разглядывал ее прическу. Прическа была достойна самого пристального внимания. Она изумляла пышностью форм и барочной замысловатостью композиции. И в прическе, и в оттенке волос было нечто фламандское, хотя фигура владелицы была тонка и вполне современна. «Любопытно, какое лицо?» — подумал я, деликатно стараясь заглянуть сбоку за тяжелые, скрученные жгутом пряди. Очередь потихоньку двигалась. «Коржик, чашку кофе и шоколадный батончик»,— произнесла моя соседка, обращаясь к дородной буфетчице, и при этом повернулась ко мне в профиль. Против ожидания ничего фламандского в профиле не обнаружилось, он был на удивление классичен. «Какое диво,— подумал я.— Фигура двадцатого столетия, волосы — семнадцатого, а нос и подбородок — пятого столетия до нашей эры!» «У вас найдется пятачок?» — спросила буфетчица дивную женщину. «Нет, у меня только три копейки»,— ответила та. Я вытащил из своего кошелька пятачок и положил его на прилавок. «Ой, что вы!» — смутилась Настя и окатила меня синевой своего взгляда. Из Эрмитажа мы вышли вместе.

В который раз мы бродим с Настасьей по Эрмитажу? В сороковой? В сорок пятый? В шестидесятый? Признаться, за четыре года я так и не понял, волнует ли ее живопись великих мастеров или ей просто нравится ходить со мною по этим залам, отражаясь в мраморе, в яшме, в малахите, в порфире и в зеркалах. Но я сразу догадался, что и мрамору, и яшме, и малахиту, и порфиру, и лазуриту, и многочисленным зеркалам, и узорчатому паркету, и лепным фризам, и бронзовым светильникам,— словом, всему богатству эрмитажных интерьеров всегда недоставало этой стройной женской фигуры и этой великолепной головы, отягощенной великолеп-

ными волосами. В эрмитажных залах Анастасия была подобна музейным экспонатам. Ее эстетическая ценность казалась сопоставимой с ценностями шедевров мирового значения.

Медленно движемся по галерее гобеленов, перебираясь из восемнадцатого века в семнадцатый, из семнадцатого в шестнадцатый, из шестнадцатого в пятнадцатый. В пятнадцатом ненадолго задерживаемся. Несколько выцветшие нидерландские шпалеры ласкают глаз утонченностью рисунка. Настя молчит.

Минуя английские залы, выходим к французам. Цепкие пальцы Вольтера впиваются в подлокотники мраморного кресла. Старец насмешливо улыбается. На полотнах Буше розовеют зады упитанных, кокетливых амуров. Настя молчит.

Пуссеновская Эрминия все еще отрезает свои волосы острым, блестящим мечом. Бедняга Танкред по-прежнему истекает кровью. Лененовское семейство молочницы, как и прежде, торчит на пригорке. Ослик упрям и не трогается с места. Настя упорно безмолвствует.

Садимся на обитый бархатом диван. Я лезу в карман, вынимаю свою книжку и пишу на титульном листе: «Милой Настасье. Эрмитаж. 26 декабря 19...» — Далее я машинально вывожу авторучкой ноль, но, вовремя опомнившись, переправляю его на восьмерку и заканчиваю тройкой.

— Спасибо,— усмехается Настя.— Ты, кажется, позабыл, какой у нас год. Да мог бы написать что-нибудь поинтереснее.

Идем дальше. У малых голландцев Настя становится разговорчивой.

— Сначала я думала, что ты очень занят, что тебе не до меня, что тебя мучают твои творческие заботы, что тебя истязает твоя проклятая рефлексия, что на тебя опять навалились твои сомнения. Потом я стала думать, что ты от меня немножко устал и тебе необходимо от меня чуточку отдохнуть. А теперь я уж не знаю, что и думать. Может быть, ты все же растолкуешь мне, в чем дело, расскажешь мне, что случилось?

Интерьер готической церкви. В глубине, за колоннами пастор, склонившись с кафедры, читает проповедь. На переднем плане группа прихожан. Женщина в темном платье с белым кружевным воротником сидит на маленьком стульчике спиной к пастору. У колонны стоит девочка-подросток. Ее лицо в тени.

— Ты разлюбил меня? Я для тебя слишком стара и недостаточно красива? Ты полюбил другую? Ну, отвечай же! Чего ты молчишь?

Девочка у колонны делает шаг в сторону. Ее лицо освещается, и я замечаю, что она пристально смотрит на меня.

— Но, быть может, ты и не любил меня никогда? Это только мне, дуре, казалось, что любишь. Это только мне так хотелось, чтобы ты меня любил. Это я все придумала на свою голову, на свое несчастье.

Натюрморт. На темно-пурпурной бархатной смятой скатерти остатки легкого ужина. Оранжево-красный вареный краб, гроздь прозрачного желтого винограда, синяя фаянсовая тарелка, ножик с костяной ручкой, массивный бокал из дымчатого стекла. В бокале недопитое светлое вино. В вине плавает полуочищенный апельсин. Срезанная ножом кожура, свернувшись спиралью, свешивается через край бокала. Тут же забытые кем-то золотые часы с брелоком на зеленой шелковой ленте.

— Ты очень изменился за этот год. Я не узнаю тебя. Может быть, ты болен и скрываешь это? А может быть, и сам не понимаешь, что болен? Ты ведешь себя странно. Я боюсь за тебя. И за себя тоже. И за Женьку. Ведь если со мной что случится...

Отрываю виноградину и протягиваю ее Насте. Она берет ее, кладет в рот и жует.

— Кислый виноград,— говорит она.— Чуть-чуть бы послаще.

— Какой уж есть! — говорю я и снова тянусь к винограду. При этом я задеваю рукавом ножик с костяной ручкой. Он с легким звоном падает на пол. «Ну вот,— думаю,— испортил натюрморт!» Нагнувшись, подымаю ножик и осторожно кладу его на место.

— Не трогай ты ничего, я тебя умоляю! — говорит Настасья.

Пейзаж. Довольно ветхие каменные городские ворота с маленькой надвратной часовенкой и с подъемным мостом, переброшенным через ров. К воротам ведет широкая песчаная дорога, с двух сторон обнесенная грубоватой деревянной оградой. У ограды стоит нищий с протянутой рукой. По дороге бегает бездомная собачонка. Вечер. Ворота еще освещены, но дорога уже в тени. Издалека доносится колокольный звон.

Мы с Настей выходим на дорогу. Нищий смотрит

на нас с надеждой. Подбежавшая собака обнюхивает нас.

— Как здесь тихо! — произносит Настя.— Только колокола. Люблю колокольный звон. У тебя есть мелочь?

Достаю из кошелька несколько монет. Настя подходит к нищему и кладет деньги в его ладонь. Нищий кланяется и что-то бормочет. Настя возвращается ко мне. Собака ее сопровождает.

— И воздух здесь очень чистый,— продолжает Настасья,— как на даче. Городишко, правда, невзрачненький. Провинция небось.

Вынув из сумочки кружевной платочек (у Ксюши есть почти такой же), Настя прикладывает его к глазам.

— Я понимаю, тебе уже скучно слушать меня, тебе уже надоело мое нытье, тебе опротивели мои слезы. Но попытайся, попытайся хоть немножко меня понять, войди в мое положение, поставь себя хоть на минутку, хоть на секунду, хоть на одно мгновение на мое место! Я уже не очень молода. У меня сын. Я просто женщина, наконец. Мне хочется, чтобы рядом был мужчина. Мне хочется покоя и уюта. Мне нужна семья. И я люблю тебя! Разве ты не видишь, что я люблю тебя? Разве это незаметно? Неужели ты в этом не уверен? Или ты опасаешься, что я буду плохой женой? Скажи, ты этого боишься? Да скажи же хоть словечко, о господи! Я тебя умоляю!

Настя наклоняет голову. Плечи ее сотрясаются. Я кладу руки ей на плечи.

— Успокойся, успокойся,— говорю я.— Видишь ли, понимаешь ли... происходит что-то непонятное, что-то непостижимое. Иногда мне кажется, что я сплю и никак не могу проснуться. А иногда у меня такое ощущение, что я спятил. Но это удивительное безумие! Удивительное! Ты прости меня, Настасья. Я, конечно, виноват, я тебе жизнь искалечил. Ты прости меня, если можешь. Все это, наверное, не к добру. Я не знаю, куда меня несет, что меня ждет, что со мною будет теперь... Но я бессилен с этим бороться. С этим невозможно, понимаешь, невозможно бороться!

Настя плачет, уткнувшись лбом в мою грудь. Я глажу ее плечи. Мне не хочется, чтобы она плакала, но утешить ее мне нечем. Мы стоим перед пейзажем Яна ван дер Хейдена. На пейзаже изображены ворота святого Антония в Амстердаме.

— Это не провинция,— говорю я,— это столица Голландии — Амстердам.

— Да провались он, твой Амстердам! — шепчет Настасья, сжимая в руке совсем мокрый платочек.— Ты бросаешь меня! Ты больше не любишь меня! При чем тут Амстердам?

Мы спускаемся в гардероб. Настя все плачет. Мы одеваемся и выходим на набережную. Около Адмиралтейства Настя садится в автобус. Я остаюсь на остановке. Автобус трогается, я вижу несчастное Настино лицо в окне автобуса. Постояв, направляюсь к Дворцовому мосту.

Нева еще не замерзла. По Неве, отчаянно дымя, плывет маленький, грязненький портовый буксир. У него красивое гордое имя — «Святополк». Буксир скрывается под мостом. Дым окутывает пешеходов на мосту. Буксир выплывает из-под моста. На его корме, широко расставив ноги, стоит матрос в черном, замасленном ватнике.

Перехожу мост, пересекаю площадь перед Биржей, перехожу еще один мост и погружаюсь в улицы Петроградской стороны.

Петроградская — это почти Европа. Это немножко Милан, немножко Париж, немножко Лондон, немножко Вена, немножко Стокгольм. Когда у меня хорошее настроение, Петроградская и вовсе Европа. Тогда я гуляю по аккуратным, интеллигентным, застроенным добротными домами улицам, и мне не нужен никакой Запад. Ну зачем мне куда-то ехать, плыть, лететь? Ну зачем мне куда-то тащиться? Не проще ли пошататься по этим приятным улицам, заглянуть в одну из симпатичных распивочных, выпить чашку кофе в одной из уютных кофеен и выкурить трубку, сидя на лавочке в одном из часто посещаемых мною сквериков и наблюдая, как беспечные ребятишки возятся в песке. Ну зачем, скажите на милость, мне сначала укладывать вещи в чемодан, потом вытаскивать их из чемодана, потом снова запихивать их в чемодан и, наконец, опять вываливать их из чемодана? Пропади он пропадом, этот чемодан! Ну ее к лешему, эту Западную Европу! Вот разве что с Ксюшей?

А вообще-то, довольно мне и Петроградской. У меня здесь чудесное ощущение, будто я за границей, но одно-

временно и дома. Душа моя здесь спокойна. Душа моя преисполнена здесь благостной лени. Она как бы полудремлет, но при этом и парит где-то на уровне третьих, четвертых, а иногда и шестых этажей, стараясь из деликатности не заглядывать в окна, дабы не стать нечаянной свидетельницей интимных сцен из частной жизни граждан. Душе моей вольготно в закоулках родной Петроградской стороны.

Иду по узкой улице с высокими домами. На углу дом с башенкой. Башенка увенчана куполом, напоминающим средневековый шлем. На острие шлема — флюгер в виде флажка. На флюгере цифра — 1897. Я люблю эту башенку и этот флюгер, который давно уже не вращается и постоянно указывает на восток. Я всегда гляжу на башенку с радостью, убеждаясь в том, что никому не нужный, заржавевший, неподвижный флюгер еще цел. «Жить бы в этой башенке,— думаю я иногда,— жить бы на самом верху, под шлемом и глядеть оттуда на городские крыши! Жить бы там уединенно, общаясь с воробьями, голубями, кошками и облаками! Жить бы и не тужить!» Улица кончается. Сворачиваю на широкий проспект. Еще метров сто — и я у цели.

По причине сравнительно раннего часа в распивочной мало народу. Беру стакан «белого крымского» и ставлю его на узкий столик, тянущийся вдоль стены. Пью портвейн, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом. Неподалеку стоит незнакомый человек с лицом небритым, помятым и не внушающим доверия. Он поглядывает на меня с приветливой улыбкой. Потом подходит со своим стаканом в руке.

— Слышь, борода, ты бывал в столице Великобритании — Лондоне? — спрашивает меня человек.

— Нет,— отвечаю,— в Лондоне я не бывал.

— А в столице Австрии — Вене?

— И в Вене я тоже не бывал.

— Так, значит, ты не гулял по Рингу и не восхищался собором святого Стефана?

— Нет, не гулял я по Рингу, не глядел я на здание парламента, не восхищался церковью Карла Барромея и собором святого Стефана тоже.

— Это плохо, борода! Ну а Париж-то ты небось видел? По Елисейским полям шатался? На Монмартр забирался? На Эйфелеву башню залезал?

— Увы, Парижа я не видел, по Елисейским полям не ходил, на Монмартре не был, на Эйфелеву башню

не подымался, Нотр-Дам не осматривал, по Лувру не бродил, арку Звезды не фотографировал, и ни одной оперы в Гранд-Опера не посчастливилось мне слушать.

— Ну, борода! Ты оригинал! Ты уникум! Тебе, видать, уже за сорок, а ты и в Париже еще ни разу не появлялся! А как у тебя с Миланом?

— Я и Милана не видал, каюсь.

— А ты не врешь, борода, не шутишь? Не верю я тебе что-то. Ну а Стокгольм? Он же тут, рядышком! Неужто ты и Стокгольм ни разу в жизни не посетил?

— Да и Стокгольм, к сожалению, посетить мне не удалось. Как-то все не получалось.

— Ты меня удивляешь, борода. Ты меня просто изумляешь! Честно говоря, ты меня прямо-таки потрясаешь! Так чего же нам ждать-то с тобою? Чего нам тянуть? Давай дунем в Лондон денечка на три? Полюбуемся Темзой и Вестминстером, поглазеем на Тауэрский мост, подышим лондонским смогом. А после и в Париж заглянем, и в Милан заедем, и в Вену заскочим. А, борода? Быть может, ты хочешь в Рим? Колизей — это, конечно, вещь! Или тебе больше по душе Венеция? Поторчим у собора святого Марка, повздыхаем на мосту Вздохов? Можно еще и Испанию охватить — Севилья, Гренада, Мадрид, Барселона! В Барселоне насладимся шедеврами чудака Гауди. Слыхал о таком? И зря, ты, борода, такой угрюмый, такой сосредоточенный, такой законопаченный, такой бронированный, такой неприступный! Проще, проще надо жить, борода! Мягче надо быть, гибче и подвижнее! Веселее надо быть! Веселее!

Расставшись с разговорчивым любителем странствий, я отправляюсь в кафе. Оно тут же, поблизости. Оно маленькое, тесненькое. Все стены его покрыты вульгарной абстрактной мазней, созданной каким-то модернистом-самоучкой. Этот дилетантский абстракционизм придает интерьеру кафе романтический оттенок, и по вечерам здесь частенько сидят очень бойкие молодые люди, которые очень громко, никого не стесняясь, читают друг другу свои очень свежие, только что сочиненные стихи. За кофейным аппаратом хозяйничает плотненькая пышногрудая брюнетка с челкой до глаз и красными плотоядными губами.

— Вам, как всегда, двойную с сахаром? — спрашивает она, глядя мне в глаза южным бесцеремонным взглядом.

Сидя за столиком и размешивая ложечкой сахар,

я ощущаю спиной ее внимание к своей персоне. Кроме того, я ощущаю еще что-то, какое-то неудобство, какую-то озабоченность. Утром, едва проснувшись, я обнаружил ее в себе. Тогда она была еще невелика. Часам к одиннадцати она подросла и в Эрмитаже доставляла мне уже беспокойство. Сейчас же, под взглядом красногубой брюнетки, озабоченность стала расти неудержимо.

...Ковыряхин сказал: «Зачем нам этот костер полыхающий?...» И еще он сказал: «Пусть улетает ее голос к пределам тем...» Он опасный человек, этот трактирщик Ковыряхин! Он способен небось черт знает на что! В глазах у него желтые огоньки! Он ужасный человек, ужасный! Он может такое натворить! А завтра концерт, завтра ее концерт! Надо же что-то... Предупредить надо, предупредить! Помешать! Оградить!

Выбегаю из кафе, бросаюсь к ближайшему телефону-автомату, набираю номер. В трубке частые гудки. Занято. Еще и еще раз набираю Ксюшин номер. Опять гудки. Все еще занято. Выхожу из будки. Стою, жду. Пять минут, десять, пятнадцать. Снова забираюсь в будку, снова набираю номер. И снова частые гудки. Занято.

Спешу к трамваю. Сажусь. Еду. Выхожу у станции метро. Спускаюсь под землю. Врываюсь в вагон. Снова еду. Выскакиваю из вагона. Кидаюсь к эскалатору (он движется невыносимо медленно, еле ползет!). Перепрыгивая через две ступеньки, бегу по лестнице. Торопясь, то и дело переходя на бег, шагаю по набережной.

Вот ее дом. Вот крыльцо. Вот дверь. У нее какой-то непривлекательный вид, она какая-то облупленная, она приоткрыта. Вхожу в вестибюль. Остатки камина, остатки лепных украшений на потолке. На стене надпись мелом: «Сашка — кретин».

Взбегаю на второй этаж. Две двери. Одна, кажется, заколочена. Рядом со второй два звонка. Нажимаю на один. Дверь не открывают. Нажимаю еще раз. Дверь не открывают. Нажимаю на второй звонок. За дверью слышится шарканье шагов. Дверь приоткрывается. В щели возникает голова старухи в шапке седых, спутанных, нечесаных волос.

— Вам кого?

Я молчу. Смотрю на старуху и молчу.

— Вы, наверно, ошиблись квартирой.

Я молчу. Дверь медленно закрывается. Щель становится все у́же и у́же. Голова старухи исчезает.

— Подождите!

Дверь приоткрывается снова.

— Что вам надо?

И правда, чего мне надо? Чего я хочу?

Из глубины квартиры доносится пение. Женский голос.

— Скажите, кто это у вас в квартире поет?

— Это радио, молодой человек.

— Неужели радио? Да, да, разумеется, радио... А вы не знаете, в этой ли квартире жила когда-то известная певица Ксения Брянская? Она давно умерла, но...

— Не знаю, молодой человек. Говорят, какая-то певица здесь проживала, но фамилию ее никто уж не помнит. Вы спросите в жилконторе. Там, наверно, известно.

— А можно войти? Мне хочется взглянуть на прихожую.

Пауза. Я слышу, как старуха дышит за дверью. Я слышу ее свистящее астматическое дыхание.

— Входите!

Старые выцветшие обои. Старое высокое трюмо с трещиной. Вешалка. Два электрических счетчика. Тусклая лампочка под потолком.

— А большая ли квартира?

— Три комнаты и кухня. Раньше-то большая была, очень большая. Но потом ее перегородили. В остальные комнаты вход с черной лестницы.

— А телефона нет у вас?

— Есть. Пожалуйста, пройдите вот сюда.

Старуха ведет меня в полутемный коридор. Путая цифры, набираю Ксюшин номер еще и еще раз. В трубке тишина, полнейшая, абсолютнейшая, мертвая, гробовая тишина.

— А ваш телефон вполне исправен?

— Вполне. Недавно его чинили.

Еду в метро. Вагон мягко покачивается. Грохот колес давит на уши. В вагоне свободно, но рядом со мною кто-то сидит. Темное зеркало окна отражает меня и моего случайного попутчика. Потихоньку его разглядываю.

Он немолод, солиден и приятно старомоден. Пальто из хорошего сукна с большим бобровым воротником

(бобер красивый, лучше, чем у Знобишина). Круглая бобровая же шапка с черным бархатным верхом. Небольшая, аккуратно подстриженная седая бородка. Седые лохматые брови. Мясистые, розовые губы сластены. Пухлые пальцы с массивными золотыми перстнями, лежащие на костяном набалдашнике старинной дорогой трости.

Человек этот тоже поглядывает на меня от нечего делать. Поезд лихо проносится где-то под Невой. Вагон раскачивается из стороны в сторону. Вагону весело — он пританцовывает. Несется во мраке под Невой и пританцовывает.

Вдоволь наглядевшись на своего вальяжного соседа, я достаю из кармана бумажник, извлекаю из него драгоценный билет и начинаю его изучать.

Он, как и положено, продолговат, но не слишком узок, он не велик, но и не чрезмерно мал. Он изготовлен из сероватой, довольно тонкой бумаги. По верху пущена надпись: «Зал Дворянского собрания. 16 декабря 1908 г.». Чуть ниже напечатано: «Билет на концерт К. В. Брянской». Еще ниже — «Партер. 12 ряд. Место 15». В самом низу мелкими буквами обозначено: «Типография В. Авидон». У левого края наклеена гербовая марка благотворительного сбора. Тут же стоит цена билета — «3 р. 20 к.». Под нею размер благотворительного сбора — «10 к.». После проведена черта и подведен итог — «3 р. 30 к.».

Подняв глаза, я замечаю в окне, что сосед мой с явным волнением посматривает на меня и на мой билет. Наконец он наклоняется и говорит мне в ухо:

— Простите, сударь! А не лишний ли у вас этот билет? Почел бы за счастье приобрести его. Готов заплатить надбавку.

— Нет, к сожалению, не лишний,— отвечаю я.

Поезд останавливается. Выхожу. Человек с тростью тоже выходит и идет рядом со мною.

— Сударь, я готов заплатить вам в два раза дороже!

— Благодарю вас за щедрость, но билет мне гораздо нужнее, чем деньги.

— Как жаль, сударь, что вы столь состоятельны! То есть, простите, я хотел сказать... Но бывают же такие случаи! Я проездом в Петербурге, и я ни разу, ни разу еще не слышал Брянскую, хотя премного наслышан о ее феноменальном таланте. Войдите в мое положение, милостивый государь! Уступите мне ваш

билет! Ведь вы же небось петербуржец и сможете в другой раз... А к нам, в Прокопьевск, Брянская не приедет. Остается только граммофон. Но вы же знаете, что такое граммофон,— никакого впечатления! Я вас прошу! Я готов встать перед вами на колени! Я заплачу вам десятикратную цену!

Житель Прокопьевска уже стал мне надоедать. Я прибавил шагу, но он не отставал. Эскалатор понес нас наверх. Мой преследователь стоял сзади и страстно шептал мне в затылок:

— Христом богом прошу! Месяц буду молиться за вас! Хотите — два месяца! И за вас, и за ваших родственников!

— Не могу! — крикнул я, обернувшись.— Поймите же — не могу! Так же, как и вы, я во что бы то ни стало, наперекор всему должен оказаться сегодня на концерте! У меня тоже ситуация! Поймите!

Седобородый глядел на меня с отчаяньем. Мясистые губы его дрожали. «Тоже ненормальный! — подумал я,— Но ведь и правда — Ксения в Прокопьевск ехать не собиралась».

Выйдя на Невский и свернув за угол, я ахнул. Вся улица Бродского, а точнее Михайловская, была заполнена народом. Вдоль тротуаров, поблескивая лаком, стояли роскошные экипажи. Между ними виднелись автомобили редкостных музейных моделей середины девятисотых годов.

Ко мне тут же кинулись две молоденькие девицы в кокетливых зимних шляпках.

— Ради бога! Один билет! Один-единственный билет! Нам не хватает одного билета! Мы согласны на хоры, на приставной, на входной! Мы согласны на все! У вас непременно должен быть один билет! Ну скажите же, признайтесь — у вас он есть! Ваша супруга нездорова, и вы идете в концерт без нее, а в кармане у вас лежит совсем ненужный вам билет! Ну что же вы молчите?

— Увы, милые барышни. Я не женат. И в моем кармане нет лишнего билета. Увы!

Я стал пробираться сквозь толпу. На меня смотрели с надеждой. Мне заискивающе заглядывали в глаза. Мне завидовали не стесняясь. На меня готовы были наброситься, чтобы силой вырвать этот кусочек серой шершавой бумаги с красной гербовой маркой у левого края. Я протискивался сквозь толпу, и мой

бумажник, лежавший во внутреннем кармане пиджака, жег мне грудь. Время от времени я ощупывал его сквозь пальто, будто боялся, что кто-нибудь из этих курсисток, студентов, молодых канцеляристов и бравых гвардейских поручиков попробует украсть его у меня.

Оттесненный в сторону, я был почти прижат к желтой, оштукатуренной стене столь любимого мною здания и заметил, что внешний вид его за семьдесят пять лет ничуть не изменился. Воспользовавшись моей краткой остановкой, ко мне подобрался красивый молодой человек в мягкой, черной, изящно надетой шляпе и в белом кашне. От него пахло дорогим французским одеколоном (впрочем, может быть и не французским). Юноша смотрел на меня красноречивым взглядом падавшего в пропасть и в последний миг уцепившегося за какую-то хрупкую былинку. Смотрел и молчал. Я почувствовал, как он схватил мою руку и, крепко стиснув запястье, сунул в ладонь какой-то бумажный комок.

— Умоляю! Умоляю! — шептал молодой человек.

Я поднес ладонь к своему лицу и разжал ее. На ладони лежала смятая «катенька».

— Вы с ума сошли! — возмутился я.— Вы принимаете меня за спекулянта? Как вы смеете!

— Не обижайтесь! Умоляю вас, не обижайтесь! — шептал несчастный юноша хриплым от волнения и совсем еще мальчишеским голосом.

Сунув «катеньку» ему за пазуху и оттолкнувшись от стены, я двинулся дальше, тут же наткнувшись на шеренгу полицейских, оцепивших вход. Молодцеватый урядник, взглянув на мой билет, грациозно мне козырнул и пропустил к крыльцу.

В гардеробе была давка. Какая-то пожилая дама, перекрывая шум, кричала надтреснутым, картавым, породистым голосом:

— Варюша! Варюша! Где ты? О боже! Варюша, иди сюда!

В фойе и в гостиных было тоже не протолкнуться. Толпа, обыкновенно степенно циркулирующая по всем этим комнатам, на сей раз пребывала в тягостной неподвижности напряженного ожидания. Многие, как видно, пришли пораньше, дабы занять удобные места на диванах или у колонн, о которые так приятно опираться плечом.

Наконец — звонок. Все торопливо устремились в

зал. То и дело ощущая чьи-то локти и дважды наступив кому-то на пятку (О, простите, ради бога! Такая давка!), я добрался наконец до своего кресла и с облегчением уселся в него, кладя ладони на подлокотники. Подлокотник справа был уже занят, однако, чьей-то рукой. Эти толстые пальцы, унизанные перстнями из дутого золота, я только что видел. Повернувшись, я бросил взгляд на обладателя знакомой руки и поразился — рядом со мною восседал господин из Прокопьевска!

— О! — воскликнул я.— Опять мы с вами соседи! Вам удалось-таки достать билет?

Как тогда, в метро, он шепнул мне в ухо:

— За сто пятьдесят! Просто грабеж!

— За сто пятьдесят рублей? — не поверил я.

— Да, за сто пятьдесят целковых! Но я уж не стал жаться. Леший с ними, с деньгами. Хоть раз в жизни погляжу на Брянскую. А то ведь помру, так и не увидев это диво. Говорят, что при голосе своем она к тому же смертельно хороша.

Зал был уже полон. Он гудел глухо и торжественно. Закрыв глаза, я с наслаждением слушал этот гул. Мне казалось, что я сижу на берегу моря у Ай-Тодора. Рядом на камне сидит Ксюша. Сейчас я открою глаза и увижу ее. Она в белом платье, в белой широкополой шляпе, в белых туфельках. В ее руке белый кружевной зонтик. Тень от зонтика падает на ее задумчивое лицо. Она смотрит на горизонт. Там виднеется какое-то судно. Белопенные волны, шипя, подбегают к нашим ногам и откатываются назад, таща за собою блестящую мокрую гальку.

Подняв веки, я принялся разглядывать зал. Передние ряды мерцали золотом погон и женскими бриллиантами. Над ними всеми цветами спектра сверкали подвески хрустальных люстр. В просветах между колоннами сплошь стояли люди. Сверху, с хоров, свешивались головы. На эстраде таинственно и многообещающе чернел «стейнвей». По краям эстрады стояли корзины с пышными бледно-розовыми хризантемами. Последние опаздывавшие зрители спешили к своим местам.

По проходу, сутулясь и втянув голову в плечи, не глядя по сторонам, торопясь, почти бегом и как-то нелепо размахивая руками, будто преследуемый кем-то, будто спасаясь от погони, прошел худой светловолосый человек в узком черном сюртуке, в до странности

узком черном сюртуке. Его подбородок подпирал высокий белый воротничок, до крайности высокий накрахмаленный воротничок.

Ковыряхин!

Он! Несомненно он! Его худоба, его сутулость, его походка! Я ведь знал, что он явится! Знал! И вот он здесь! И не смотрит по сторонам! И вид у него хищный! И руками он машет зловеще! А я ничего не смог, не сумел, не принял никаких мер, не предуведомил, не предупредил, не дал знать! И что-то будет, что-то случится, что-то надвигается неотвратимо!

Вот он добежал до своего ряда, там, впереди, почти у самой эстрады. Вот он пробирается между креслами, то и дело кивая головой, то и дело извиняясь и стараясь не наступать на ноги. Я вижу его лицо. Он неестественно бледен. Точно так же был бледен Одинцов, когда промахнулся, не всадил мне пулю между глаз и, бросив пистолет на землю, стоял предо мною, готовый к смерти. Отчего же Ковыряхин так бледен? Он бледен от волнения, от решимости, от мрачной сатанинской решимости! В нем и раньше было что-то дьявольское, что-то инфернальное! И раньше!

Вот он повернулся и сел. Его голова утонула в массе прочих голов. Он спрятался. Он затаился. Неспроста он сел поближе к эстраде! Неспроста! Но, черт возьми, что же я сижу? Надо бежать куда-то, надо действовать! Что же я сижу?

Но куда бежать? За кулисы? Там полиция. Меня не пустят, мне не поверят, примут за сумасшедшего, схватят, потащат. А трактирщик преспокойненько будет сидеть и ждать подходящей минуты.

И вдруг это все же не Ковыряхин? Мало ли таких тощих и сутулых! Мало ли таких белобрысых! А бледнолицые в Петербурге почти все! А если даже и Ковыряхин, то что же? Позавчера в трактире был он изрядно выпивши и плел невесть что. Прибегу запыхавшись, скажу: «Берегись!» — и Ксюша начнет хохотать: «Ха-а-ха-ха! Ковыряхин! Да бог с тобою, милый! Он же безобиден! Он кроток, как барашек! Демонического в нем нет ни капли! Клянусь тебе — ни одной капли! Он совсем не злодей, он всего лишь трактирщик! Он и стрелять-то не умеет! Он и револьвера-то ни разу не видел! Ха-ха-ха-ха! Ковыряхин! Если уж меня и застрелит кто, то непременно какой-нибудь военный. Ты же знаешь — у меня тьма поклонников-военных. Все с

револьверами. Все чудесно стреляют. И все ужасно кровожадны — настоящие мужчины! Одинцов меня убьет, натурально. Он уже вполне созрел для подвига. Он уже столько раз грозился со мной расправиться! Следующий его выстрел будет направлен точнехонько в меня. Ха-ха-ха-ха! Ковыряхин! Но спасибо, милый, за заботу! Дай-ка я тебя поцелую!»

И верно. Что я привязался к бедному трактирщику? Все это мои домыслы, моя мнительность. Фантазия моя разыгралась, расплясалась, расшалилась. Фантазия моя отбилась от рук. А ведь говорил я себе: не надо давать волю воображению, с ним надо построже. Разве Матвей Ковыряхин смахивает на убийцу? Ничегошеньки злодейского в нем нет. Просто жалкий неврастеник, и не более того. Такой же неврастеник, как я.

О, это было бы даже красиво! В разгаре концерта Ковыряхин вскакивает, выхватывает из-за пазухи револьвер. Хлопает выстрел. Ксюша, чуть поцарапанная пулей, от страха и изумления падает в обморок. Трактирщика хватают, трактирщику выламывают руки. Публика неистовствует. Женщины визжат. Ксюшу на руках уносят с эстрады. О, это было бы великолепно! Наутро все столичные газеты наперебой, взахлеб, под огромными заголовками!.. А на другой день и все газеты необъятной России! И слава Ксении Брянской не знала бы уже пределов! Слава ее стала бы попросту немыслимой!

Красный бархатный занавес, закрывавший один из двух выходов на эстраду, наконец вздрогнул, колыхнулся, раздвинулся. Вышел приятной внешности господин с тонкими черными усиками, с блестящими, черными, напомаженными волосами и в хорошо сшитом фраке. Потирая руки, он остановился у края эстрады, празднично улыбаясь. Зал мгновенно затих. В полнейшей тишине кто-то глухо кашлянул и тотчас умолк. Поглядев на ряды партера и на хоры, господин сделал серьезное выражение лица, многозначительно помолчал, опустил руки, приподнял подбородок и громогласно, очень торжественно, нараспев произнес:

— Начинаем концерт певицы Ксении Владимировны Брянской! В программе цыганские и русские романсы!

После этого он отступил назад и повернул лицо к выходу. Забывшись от волнения, я положил ладонь на руку жителя Прокопьевска, тотчас отдернул ее и машинально пробормотал извинение, не спуская глаз

с темного проема, полуприкрытого кроваво-красным бархатом.

Ксения вышла быстро, деловито, перекинув через руку длинный шлейф своего белого с голубоватым отливом платья. Встав посреди эстрады, она бросила шлейф, и он растекся гигантским цветком у ее ног. Обведя глазами публику, она улыбнулась. Зал молчал. Зал окаменел. Зал задохнулся от восхищения. И я, сидящий в зале, вдруг позабыв, что предо мною Ксюша, тоже окаменел, тоже задохнулся.

Среди прекрасной белой архитектуры между двух рядов стройных белых колонн стояло прекрасное, стройное существо в чем-то ослепительно белом и тоже несказанно прекрасном. Стояло и улыбалось. Зал был отлично освещен, но от этой улыбки, кажется, в нем стало еще светлее.

В затопленном светом огромном зале в полном безмолвии и в полной неподвижности сидели и стояли сотни людей. Все они, широко раскрыв глаза и приоткрыв рты, смотрели, как улыбается прекрасное существо. Голова, нежные руки, тонкое, затянутое в шелк тело поразительного созданья мерцали, сияли, сверкали, лучились, искрились, ослепляли, кружили голову, завораживали, лишали воли, туманили сознание и вызывали жгучий восторг. Это был сеанс массового гипноза. Сейчас сверкающее существо взмахнет сверкающей рукой и скажет: «Встаньте!» — и все полторы тысячи человек послушно встанут. Потом оно прикажет: «Взлетите!» — и все, толкаясь, натыкаясь на люстры и друг на друга, торопливо взовьются к потолку. Потом гипнотическое существо еще что-нибудь прикажет, еще что-нибудь придумает. А после оно велит: «Умрите!» — и все умрут с радостью, со слезами умиления на глазах. И зал будет заполнен мертвыми телами.

«Не слишком ли много на ней драгоценностей? — подумал я.— Она похожа на витрину фирмы Фаберже, что на улице Герцена, то бишь на Большой Морской. Любит Ксения роскошь. Но, видит Бог, бриллианты ей к лицу, бриллианты ее не портят, бриллианты ее не затмевают. Она создана для этих сверкающих граненых камешков. А камешки сотворены природой специально для нее».

— Ух ты! — тихо сказал мой сосед и цокнул языком.— Ну и ну! — добавил он.— Фрина! Психея! Ариадна! Галатея! Сама Елена Троянская, не иначе!

«Однако, образован!» — подумал я, покосившись на сибиряка.

Между тем в зале возник какой-то шорох, который становился все слышнее. И вдруг будто что-то взорвалось или обвалилось с грохотом. Публика здоровалась со своим кумиром.

Ксения склонилась в поклоне. На ее плече синим огнем вспыхнул какой-то камень. Вспыхнул и погас. Выпрямившись, она еще раз поклонилась и, подхватив платье, направилась к роялю. Аплодисменты наконец стихли. Появился аккомпаниатор. Он уселся на свое место и стал листать на пюпитре ноты.

— Цыганский романс «Если б я не любила»! — объявил ведущий и удалился за красный бархат.

Ксюшин голос показался мне непривычно слабым и как бы слегка надтреснутым.

«Еще не вполне здорова, еще не распелась,— подумал я.— Быть может, и впрямь не стоило мне приходить сегодня? Быть может, и Ксюша напрасно поет, напрасно не отменила концерт? Сегодня ею можно только любоваться. Да и вредно ей, наверное, петь, когда она простужена. Ах, Ксюша, Ксюша!»

Романс был уже спет. Публика аплодировала. Публика стала бы аплодировать Ксении Брянской даже если бы ее и не слышно было совсем. Публика привыкла аплодировать этой женщине, она не смеет ей не аплодировать, она уже давно порабощена ею. О бедная, бедная, счастливая публика!

Второй романс Ксения спела чуть получше. Третий — еще лучше. Голос ее вновь обретал глубину и силу, голос к ней возвращался. После каждого романса аплодисменты становились все громче. Изредка с хоров и с задних рядов партера слышалось «браво». Ксюша улыбалась все ярче и кланялась все ниже. В зале уже бушевал восторг. Волны восторга прокатывались по партеру и обрушивались на ложи. Всплески восторга окатывали хоры и лизали мрамор колонн. Пена восторга оседала на спинки кресел и на поручни балюстрад. Восторг просочился на улицу и захватывал тех, кто, не попав в зал, продолжал стоять на Михайловской. Восторг вытекал на Невский. Восторг клубился над деревьями Михайловского сада. Брызги восторга долетали до Марсова поля.

Слева от меня сидела сухопарая дама неопределенных лет, вся в черном, со строгой плотной прической

прямых черных волос. Она непрерывно смотрела на Ксюшу в маленький, отделанный перламутром бинокль, не хлопала и ежеминутно вздрагивала от звуков Ксюшиного голоса. Мне даже казалось, что она слегка постанывает при этом.

Скрывшись на минуту за красным занавесом, Ксюша снова выходила к роялю, снова пела, и снова грохотали аплодисменты, и выкрики «браво» раздавались все чаще. Незадолго перед антрактом к эстраде подбежал взлохмаченный молодой человек, похожий не то на поэта, не то на провинциального телеграфиста. Он протянул Ксении букет каких-то голубых цветов. Ксения взяла букет и благодарно подала телеграфисту руку. Тот схватил ее пальцы и стал осыпать их страстными поцелуями. Чуть присев и отбросив назад свой шлейф, Ксюша смеялась, а молодой человек увлекся, забылся и все лобзал, лобзал ее пальцы, все не отпускал их. В зале возник ропот. «Хватит!» — крикнул кто-то. С двух сторон к чувствительному телеграфисту подошли полицейские и взяли его за плечи, но он не обращал на это никакого внимания. Тогда полицейские стали оттаскивать юношу в сторону, но он упорно не отпускал Ксюшины пальцы и тянулся к ним губами. Ксюша все смеялась.

— Возмутительно! — сказал мой сосед из Прокопьевска.

Соседка слева сидела прикрыв глаза ладонью, видимо не желая видеть эту сцену, уже становившуюся неприличной.

Вскоре телеграфиста все же оторвали от Ксюшиной руки и увели куда-то за колонны. Ксюша спела еще один романс, и объявили антракт.

«Попробовать все-таки пробиться за кулисы? — думал я.— Но ведь Ксюша может разволноваться, разнервничаться, и опять у нее голос сядет, и концерт будет наверняка испорчен. Да и в самом деле — Ковыряхин ли это?»

Медленно перемещаясь вместе с толпой по тесноватому фойе, я прислушивался к доносившимся до меня обрывкам фраз.

— Право же, Гликерия Аристарховна, я не ожидала. Я много слышала о ней, но, признаться, мне не верилось...

— Ну что вы! Панина — это совсем, совсем другое!

— Какой тембр! Нет, какой тембр! Какая нюанси-

ровка! Какая проникновенность! За душу, за душу хватает! Рвет душу, рвет! Нет, господа, такого голоса в России еще не было! Это же...

— Жаль только, что тексты не слишком хороши. Отчего же наши лучшие поэты...

— Вот там, помните, это долгое, бесконечно долгое «ля», и вдруг сразу вниз, и как на мосту при быстрой езде — сладко так, до слез, до ужаса...

— А какое дьявольское обаяние! Какая улыбка! И какие руки! Не только слушать, но и смотреть на нее...

— Отчего же не ездит она по заграницам? Пусть знают в Европе, как умеют у нас петь!

— Да, разумеется, голос прекрасно поставлен и от природы красив. И к тому же редчайшее трудолюбие. Говорят, что она репетирует все дни напролет. Но все же, Кирилл Модестович, здесь есть нечто таинственное. Это наваждение! Право слово, наваждение! Уверяю вас, она не просто певица...

— Сколько страсти! Как чувственно! Вакханка какая-то! Язычница! Сирена! Ее страшно слушать! Хочется заткнуть уши и убежать!

— Почему же не поет она в опере? У нее большой оперный голос! Почему же она...

— Не спорьте, господа, не спорьте! Тут все сразу: и талант, и упорство совсем не женское, и везение, и еще что-то...

— Феноменально! Такую певицу история дарит нам раз в столетие!

Я внимательно вглядывался в публику, надеясь увидеть ковыряхинскую поджарую фигуру. «Если увижу, тут же подойду,— решил я.— Затею какой-нибудь разговор, что-нибудь спрошу, о чем-нибудь расскажу. Это должно его смутить, это должно его расслабить, это поколеблет его решимость. Если она есть, конечно. Если он и в самом деле что-то задумал». Но поджарая фигура не показывалась.

Я отправился в буфет. Ковыряхина там не было. Я еще раз обошел все фойе. Ковыряхин не обнаруживался. «Померещился он мне, что ли? — подумал я.— Теперь мне все время что-то мерещится».

После антракта зал был окончательно покорен. Вслед за каждым романсом гремел оглушительный взрыв аплодисментов, проносился тайфун аплодисментов, прокатывалось цунами аплодисментов. И было

странно, что стены стояли, и колонны не рушились, и потолок не оседал, и люстры не обрывались.

Из публики неслись крики, публика требовала исполнения своих любимых песен, публика пришла в экстаз. Ксения сияла счастливой улыбкой и пела, что просили, или говорила в наступившей тишине: «Это после! Это я спою в следующий раз!» И снова пела. И в пении ее было уже нечто сверхъестественное, даже пугающее. Горячий клубок почти непереносимых чувств мучил душу, и я совсем раскис. «Господи, как хорошо-то! — думал я, кончиком мизинца снимая слезу с уголка глаза.— Господи, какая она... (Ах, черт, не найти слова, опять не найти нужного слова!)».

Романс «О, можно ль позабыть!» объявила уже сама Ксюша, и зал содрогнулся: это был «гвоздь», это был лучший, коронный номер ее репертуара, это было то, что доводило публику до беспамятства.

Приветственные аплодисменты смолкли. Прозвучали первые такты аккомпанемента. Ксения сделала шаг вперед, вытянула руку, плавным движением обвела ею зал и взяла первую ноту.

Моя чопорная соседка наклонила голову. Видимо, глядеть на Ксению она была уже не в силах.

— Простите,— шепнул я ей,— вы не могли бы дать мне на минуту ваш бинокль?

Она молча положила бинокль в мою ладонь. Я приставил его к глазам, покрутил колесико, и из цветного тумана выплыло совсем близкое Ксюшино лицо. Оно было вдохновенно. Оно светилось. На щеках розовел румянец. Влажные губы блестели. Между ними мерцали белые зубы. Ресницы трепетали. Тонкие ноздри вздрагивали. Узкая витая прядь падала с виска на щеку.

Я опустил бинокль. Я тоже не мог смотреть.

О, можно ль позабыть бессонные те ночи,
Те ночи дивные, тот неземной восторг,
Тех звезд торжественно сияющие очи,
Той грешной страсти гибельный костер!

О, можно ль позабыть те сладостные встречи,
Тех ласк безумных нестерпимый бред,
И те бессвязные, томительные речи,
Те речи странные, в которых смысла нет!

О, можно ль позабыть те сказочные дали,
Где побывали мы, и жар того огня,

В котором мотыльками мы сгорали?
Нет, ты не сможешь позабыть меня!

Нет, ты не сможешь позабыть меня!

Ксюшин голос умолк, растворясь в собственном одиночестве и в душном пространстве битком набитого людьми огромного зала.

— Как поет! Как поет, стерва! — шептал житель неведомого мне города Прокопьевска.

Снова грохнули аплодисменты. В партере многие встали и хлопали стоя. С хоров неслись какие-то истошные вопли. Курсистки что-то кричали, перегнувшись через балюстраду и приставив ладонь рупором ко рту. На эстраду летели букеты цветов и записки. Моя соседка спрятала лицо в ладони. Плечи ее прыгали. Я осторожно положил бинокль ей на колени.

Ксения низко кланялась, улыбаясь и прижимая к груди обнаженные по локоть руки. Синий камень на ее плече то вспыхивал, то гас. Складки шлейфа извивались и ломались у ее ног. Подойдя к роялю, она взяла за руку аккомпаниатора и подвела его к краю эстрады. Аккомпаниатор тоже кланялся, тоже улыбался, и ему тоже бросали цветы. Наконец он вернулся на свое место, но публика не успокаивалась. Ксюша махала рукою хорам и кланялась, кланялась, кланялась во все стороны.

«Спина небось заболит от поклонов?» — подумал я, и в этот миг, в этот самый миг в первых рядах появилась та самая узкоплечая, сутулая фигура в том самом черном сюртуке.

Фигура двигалась между креслами к проходу. К проходу! Вот она уже в проходе, вот метнулась к эстраде. К эстраде! Вот она уже рядом с Ксенией! Рядом! Вот поднялась длинная черная рука, и в руке было тоже что-то черное и продолговатое. Из этого черного, из его тонкого конца, вырвался язычок желтого пламени.

Ксюша вдруг странно выпрямилась, схватилась рукою за грудь и стала снова сгибаться в поклоне, медленно, медленно, как бы нехотя сгибаться в глубоком, глубоком, глубоком поклоне.

В зале стало тихо. Затем раздался тонкий женский вопль. Все повскакали с мест. Человек в черном исчез в толпе. Сквозь невообразимый шум доносились свистки полицейских.

Когда я пробился на эстраду, Ксению уже положили на рояль. Вся белая, неподвижная и какая-то плоская лежала она на черной плоской крышке рояля. Шлейф свешивался на пол. Около нее суетились двое. Кажется, это были доктора из публики. Внизу по проходу уносили закутанное в пурпурный бархат растерзанное тело несчастного трактирщика.

Протиснувшись к роялю, я взял Ксюшу за руку. Рука была теплая, мягкая и будто бы еще живая. На Ксюшиной груди по платью расплылось большое кровавое пятно. В широко открытых Ксюшиных глазах остановилось изумление. Брови были высоко подняты, а полуоткрытый рот был еще влажен и прекрасен. Я наклонился и в последний раз поцеловал ее губы. И ощутил на губах кисловатый вкус смерти.

Ничего больше не видя, натыкаясь на чьи-то тела и спотыкаясь о чьи-то ноги, я спустился в зал и стал пробираться к выходу.

Выйдя на улицу, поворачиваю налево. Михайловская, то есть улица Бродского, пустынна. Около Европейской, как всегда, стоят элегантные, новенькие финские автобусы. Гляжу на окна филармонии. Они темны. Возвращаюсь назад. Двери филармонии закрыты, у дверей висит табличка с надписью:

СЕГОДНЯ КОНЦЕРТА НЕТ

Дойдя до угла Невского, я останавливаюсь. Идет снег. Идет медленный, бесшумный, крупный, красивый снег. Он падает мне на плечи, щекочет лоб, повисает на усах и бороде.

Стою и гляжу на проносящиеся, уже редкие, машины. Стою и гляжу, как удаляются, растворяясь в снежной пелене, их красные огни. Неподалеку стоит милиционер в полушубке. Он поглядывает на меня с недоверием. Он думает, что я пьян и потому так долго безо всякого смысла торчу здесь, под снегом. Да, несомненно, он думает именно так. Да, конечно я похож на пьяного.

Спускаюсь в подземный переход. На стенах висят афиши разных театров и классически строгие афиши филармонии. Среди прочих висит очень старая, потускневшая афиша, отпечатанная шрифтом в стиле «модерн».

16 ДЕКАБРЯ
в зале Дворянского собрания
состоится сольный концерт
певицы
К. В. БРЯНСКОЙ
в программе
цыганские и русские романсы

...Шестнадцатое декабря... шестнадцатое декабря... Но где, где же я видел эту дату раньше? Она, кажется, была высечена на камне. Да, на камне! Она была над входом в какое-то сооружение, в какое-то небольшое здание... Она была над входом в часовню! В ее, Ксюшину, часовню на кладбище! Как давно я там не был! Почти год. И не тянуло меня туда, не тянуло! Ведь Ксюша была жива, была со мною! Впрочем, на кладбище мы с нею заходили, но это было в девятьсот восьмом, и тогда... и тогда я, естественно, не мог видеть часовню и эту надпись над входом. И вот поэтому я позабыл, успел позабыть... Но если бы вспомнил в трактире, или вчера, или сегодня в начале концерта?.. Ведь я же мог бы ее спасти! Ведь тогда у меня уже не было бы сомнений! Ведь тогда... А как же часовня? Ведь она существует! Ведь она стоит там, у речки! И на сером камне вырублена эта дата! И число обозначено, и месяц, и год. Только у года, будто нарочно, сбиты последние две цифры. Стало быть, все заранее предопределено! Все заранее тщательно продумано! Все до мелочей! Потому и забыл я о дате, что так угодно было провидению, что так надо было! И кому-то было угодно, чтобы подлец Ковыряхин... К тому же на моих глазах! Но кто он, этот великий фантазер, этот жестокий драматург, этот автор всех человеческих трагедий? За что он бедную Ксюшу? В расцвете красоты! В зените славы! Ей бы еще петь и петь! Ей бы в оперу! Она потрясла бы весь мир! И меня вместе с трактирщиком он выбрал орудием своей творческой прихоти. Именно меня ему и не хватало для стройности сюжета. Но, быть может, Ксюша была права? Но, быть может, это и есть плата? За талант? За успех и богатство? К тому же смерть красивая, ничего не скажешь. Жизни ее под стать. На эстраде. На глазах у почитателей. Положили на рояль. Такую прекрасную, белую на черный рояль, черный, как смерть. Сколько лет она пела, стоя у этого рояля, опершись о него, отражаясь в его блестящем боку! И вот ее положили на

него. Как все красиво! Красиво до ужаса, до безумия. Самое время теперь мне рехнуться. Пример Знобишина соблазнителен. Стало быть, и правда — за все надо платить. «Граждане, не забывайте оплачивать проезд!» Забудешь, так напомнят. Где-то ведут учет, в какой-то бухгалтерии. «Это уже оплачено, а это представить к оплате. И пусть не забудут расписаться в ведомости!» У Бога, значит, есть такая бухгалтерия в его «аппарате». Бог дал — Бог взял. А Ксения любила Бога. И часто молилась ему. И доверяла ему. Как же не доверять — он дал ей так много. А Бог ее, как перепелку,— на лету. Метко стреляет! Но, говорят, что раньше прочих он берет к себе тех, кого любит. Любил он Ксюшу и не смог удержаться — взял ее к себе. Сидит она сейчас у Бога в раю и пьет чай с вареньем из черной смородины. «Ну что, попела?» — спрашивает Бог. «Попела»,— отвечает Ксюша и дует на чай. Чаевничают небось как положено, пьют из блюдец, по-русски. «Вот и хорошо,— говорит Бог.— Теперь чайку попей, отдохни. У меня тут тепло, спокойно. А я по тебе соскучился. Уж очень ты мила и даровита. Таких женщин, помнится, за всю историю не много было. На пальцах пересчитаешь».

Подхожу к афише поближе и ногтем пытаюсь подцепить ее кончик. Кто-то берет меня под руку. Оборачиваюсь. Предо мною милиционер в полушубке.

— Прошу вас, гражданин, следовать за мной.

Послушно следую. Выходим на Невский, останавливаемся у края тротуара. Подъезжает патрульная милицейская машина. Распахивается задняя дверца. Из нее вылезает другой милиционер. Поддерживая меня под локти, милиционеры помогают мне забраться в машину.

Отделение милиции. За столом немолодой лейтенант с усталым лицом. Я сижу перед ним на стуле. Рядом стоит мой милиционер в полушубке. Теперь я вижу, что он очень молод. В его глазах есть что-то восточное.

— Был задержан при совершении акта мелкого хулиганства,— говорит он.— Срывал со стены афишу. Кажется, пьян.

Лейтенант подымается из-за стола, подходит ко мне.

— Дыхните!

Я дышу.

— Еще раз дыхните!

Еще раз дышу.

— Нет, кажется, трезв. Тем хуже. Зачем срывали афишу?

Я молчу.

— Я вас спрашиваю, гражданин: зачем срывали афишу?

Я не отвечаю.

— Вообще, товарищ лейтенант, он какой-то чудной. Я это сразу заметил, когда он еще стоял на Невском. Идет снег, а он не прячется — стоит и стоит под снегом. Может, он не вполне...

— А он испортил афишу?

— Нет, не испортил. Но пытался. Афиша, видать, хорошо приклеена. Крепким клеем.

— Предъявите документы!

Предъявляю. Лейтенант выписывает данные из моего паспорта в большую амбарную книгу. Возвращает паспорт.

— Что же вы, гражданин! Вроде бы интеллигентный, приличный и немолодой уже человек, а ведете себя как мальчишка. Что же вы озорничаете, гражданин? И что вы все молчите? Ладно, Загидулин, пусть идет. Он, сдается мне, и впрямь не в себе.

— У меня горе,— говорю я вдруг. И будто не я это говорю, а кто-то другой, во мне находящийся и мне незнакомый, говорит помимо моей воли. «Зачем, зачем я это говорю?» — думаю я с тоской и отвращением к себе, но продолжаю говорить: — У меня умерла любимая женщина, жена. Только что. Два часа тому назад. Она артистка. Ее имя на той афише.

Теперь замолкает лейтенант. И Загидулин тоже молчит, опустив глаза. Пауза тянется долго.

— Та-а-ак,— произносит наконец лейтенант и снова умолкает.— Загидулин,— говорит он, вдоволь намолчавшись,— бери машину, сажай в нее гражданина, поезжайте на Невский и снимите афишу. Пусть гражданин возьмет ее себе. После отвезешь его домой.

Едем. Загидулин виновато прячет глаза. Вылезаем. Спускаемся в переход. Ищем афишу. Ее нет. Место, на которой она висела, свободно.

— Вот черт! — удивляется милиционер.— Но вы не расстраивайтесь, гражданин. Мы вам достанем эту афишу. Достанем и привезем. Вы уж меня извините. Я понимаю, вам тяжело.

Выезжаем на набережную.

— Остановите машину,— говорю я,— дальше пешком пойду.

На набережной ни души. Снег валит не переставая. Ступни мои утопают в снегу. Останавливаюсь под фонарем и гляжу, как мечутся снежные вихри в холодных лучах люминесцентной лампы. Миллионы неслышных снежинок пляшут вокруг фонаря судорожный белый танец. А там, за снежной кутерьмой, в темноте декабрьской ночи стоит черный, полузанесенный снегом рояль. На нем лежит что-то белое и плоское, некая фигура, вылепленная из снега. Совсем неподвижная снежная фигура.

Выхожу на мост, останавливаюсь у высокой чугунной ограды и смотрю вниз. Черная, холодная, страшная вода с шипением обтекает гранитные быки, стремясь на запад — в Маркизову лужу, в Финский залив, в Балтийское море, в Атлантический океан. Она уносит какой-то продолговатый белый предмет. За ним, извиваясь, то погружаясь в воду, то всплывая, то сужаясь, то расширяясь, тянется как бы хвост, как бы шлейф, длинный белый шлейф...

Перехожу мост. Весь я в снегу. Ноги мои уже по колено зарываются в снег. Фонари мутными пятнами отмечают линию набережной. Какой снегопад! Давно такого не было. Давно-давно такого не было. Какой роскошный снегопад!

У фонаря стоит женщина, вся в белом. Подхожу и всплескиваю руками:

— Боже мой! Ты здесь, под снегом, без пальто, в легком шелковом платье!

Ксения молчит. В широко раскрытых ее глазах еще стоит изумление. Брови по-прежнему высоко подняты, а полуоткрытый рот по-прежнему прекрасен. Я беру ее обеими руками за щеки и снова целую этот влажный, карминно-красный, кроваво-красный рот. Я целую его долго. Но Ксюша не отвечает мне, рот ее неподвижен. Снег падает ей на лицо и не тает. Снег засыпает ей глаза и не тает.

— Ксюша! — кричу я и трясу ее за плечи.— Что с тобою, Ксюша? Очнись!

Сонмы снежинок, овевая нас, уносятся куда-то вверх, в беспросветную темень неба. А оттуда, сверху, из темени, опускаются столбы светящейся снежной пыли.

Ксюша исчезает. Я стою под фонарем один, при-

жимаясь бородой к холодному чугуну его высокого столба.

Ксюши уже нет. Я бреду дальше. Я останавливаюсь под следующим фонарем. Я жду, но Ксюша больше не появляется. И опять я бреду под снегом, увязая в сугробах. Ксюши больше нет.

Открыв дверь и войдя в прихожую, я вижу свою мать. Она смотрит на меня с тревогой.

— Почему ты не спишь? — изумляюсь я.

— Что случилось? — говорит мама.— У тебя ужасное лицо!

Медленно стягиваю с себя пальто и стряхиваю с него снег. Подхожу к зеркалу. И верно, лицо у меня страшноватое. Я ли это вообще? До этой ночи я узнавал себя. Теперь не узнаю. Решительно не могу узнать! Какой-то чужой, измученный жизнью старец глядит на меня из зеркала. Волосы стоят дыбом, борода взлохмачена. Похож на мельника из «Русалки». Мама всхлипывает за моей спиной.

— Ради бога, скажи, что с тобой творится? Целый год с тобой происходит что-то страшное. Я же чувствую! Я ночами не сплю!

— Успокойся, мамочка,— говорю я, направляясь в свою комнату и зажигая торшер.— Успокойся. Теперь уже все кончено. Теперь уже все будет хорошо. Теперь тебе уже нечего опасаться за меня. Я еще немножко потомлюсь, пострадаю, и это пройдет. Ибо все, как известно, проходит, проносится, проскальзывает мимо нас туда, назад, к уже бывшему и невозвратному. Впрочем, возвраты иногда случаются. В очень редких, в крайне редких, в чрезвычайно редких, в редчайших случаях. И тогда начинается великая путаница, и тогда происходит невероятный кавардак, невероятный.

Выдвигаю ящик письменного стола, достаю фотографию Ксении и ставлю ее на письменный прибор, на старинный письменный прибор с подсвечниками, подаренный мне родственниками в ту далекую пору, когда старина была еще не в почете.

— Мама, у нас в доме есть свечи?

— Сейчас!

Матушка долго возится на кухне, открывает и закрывает дверцы кухонных шкафчиков, что-то вытаскивает, выкладывает, выгребает. Я слышу, как она возится.

— Вот, нашла два огарка!

— Отлично.

Вставляю огарки в подсвечники, чиркаю спичкой. Теплый колеблющийся свет озаряет Ксюшино лицо. Оно спокойно и задумчиво.

За спиною шорох. Мама стоит в дверях, не уходит.

— Да не мучайся ты так! Мало ли женщин на свете! Ты еще не стар. Вот Настя. Она тебя любит. Я знаю. Она тебя очень любит. И она хорошая женщина. А эта особа, видать, с большими претензиями. Я это сразу заметила. И подумала: не будет тебе с нею счастья. Из таких не получаются путные жены. Им лишь бы хвостом повертеть. Плюнь, не расстраивайся. Ложись спать. Может, одумается еще и вернется. Вообще-то, она, конечно, красивая, что говорить.

Дую на свечи. Они гаснут. Две бледные струйки дыма, извиваясь, как Ксюшины волосы, тают в воздухе.

Стелю постель, раздеваюсь, гашу торшер, ложусь. Лежу в полутьме. За окном, на улице — фонарь. Его свет пробивается сквозь шторы. Лежу с открытыми глазами. На стенах мои неподвижные безликие люди. То ли они и впрямь без лиц, то ли они стоят и сидят ко мне спиной, потому что не в силах глядеть на меня. Но отчего? От жалости? Или от презрения? Или от того и другого сразу?

Ксения погибла. Я не смог защитить ее от судьбы. Я не смог противостоять потоку времени, который смыл ее в прошлое, как сорванный ветром сухой осенний лист, как обрывок вчерашней газеты, как пустой спичечный коробок. Время всесильно. Намерения его неизвестны. Поведение его необъяснимо. Можно лишь твердить исступленно: зачем? зачем? зачем? — и бессильно сжимать кулаки. Можно еще скрежетать зубами при этом. Ксения мертва. Ее похоронят на С...ком кладбище. Ее уже давным-давно похоронили на С...ком кладбище. Она уже много лет лежит там в сыром и холодном склепе под бетонным полом своей обветшалой часовни.

А комната моя вроде бы растет. Стены раздвинулись, потолок приподнялся. Люстра — вон как высоко. Маловата она уже для такой комнаты. Другую надо купить, побольше. И лучше старинную, в стиле «модерн». На днях видел в комиссионке — вполне приличная люстра в хорошей сохранности. Даже софиты старые уцелели.

Но странно — потолок уходит все выше и выше. Да

и стены разошлись так широко, будто их и нет совсем. Да, да, их уже нет. И не в комнате я уже, а на площади, заполненной безликим, молчаливым, придуманным мною народом. И не ночь это зимняя, снежная, а летний солнечный день. Однако на небе, на темно-голубом глубоком небе сияют крупные, сочные крымские звезды. Я лежу на своей тахте под солнцем и звездами посреди обширной площади, окруженный толпой неподвижных людей, у которых нет и намека на лица.

Возникает какой-то легкий шум. Толпа расступается, образуется свободный коридор. В конце коридора показываются другие люди, с лицами. Они направляются ко мне, они приближаются. Впереди Ксюша со шлейфом, изящно переброшенным через руку. Идет и улыбается, как ни в чем не бывало. И на платье никаких следов крови. Притворщица! А я-то поверил, что она умерла! А я-то убивался! А я-то горевал! За Ксюшей в джинсах и пушистом свитере семенит Настя. Она тоже улыбается и машет мне белой красивой ладонью. Далее — Знобишин. В обеих его руках бутылки шампанского. Он приветственно подымает их над головой и тоже улыбается во весь рот. Рядом с ним злодей Ковыряхин в своей васильковой рубахе. Он тащит самовар. Из самовара струится пар. На губах у Ковыряхина вовсе не ковыряхинская улыбка — она какая-то по-детски простодушная. Из-за самовара выглядывает бандитская физиономия Дмитрия. Этот улыбается только глазами, только чуть-чуть. А вот и подполковник Одинцов. Он в парадной форме, с аксельбантами и с двумя крестами на выпуклой груди. Поглаживая рукой в белой перчатке свои пышные вороные усы, он улыбается строго, по-военному.

И вот они все подходят ко мне. А я все лежу. «Надо бы встать,— думаю,— что же это я валяюсь?» Но почему-то не встаю. Вот они окружили меня. Смотрят. Улыбаются. «Слава богу, все живы! — радуюсь я.— Хорошо, что все закончилось благополучно».

Ксюша склоняется надо мною и целует меня в лоб. Потом и Настя, не переставая улыбаться и, видимо, с трудом сдерживая смех, целует меня в висок. И Знобишин тоже целует. «Ах вот оно что! — догадываюсь я наконец.— Все они живы, а я помер. Потому и лежу, как колода, пальцем мне не шевельнуть. Как же это получилось? Но хорошо, что я, а не Ксюша, хорошо,

что я! Только непонятно, почему им весело. Непонятно».

Ковыряхин ставит на землю самовар и тоже прикладывается к моему виску. О лицемер! О безумец! О гнусный убийца! Впрочем, Ксюша-то жива. Вот она что-то шепчет на ухо Настасье. Та понимающе кивает головой. Подружились девочки! Быстро! Тут же, у моего хладного, еще не погребенного тела!

Одинцов, прежде чем чмокнуть меня в переносицу, неторопливо крестится. Его ордена самодовольно звякают. Его аксельбанты торжествующе шуршат. Он-то небось ликует. И благодарит Бога. Уж не он ли меня и застрелил в состоянии аффекта? С дуэлью дело не вышло, а аффект штука верная. Как оно все повернулось, оказывается! Сейчас они меня хоронить будут, улыбаясь.

Какой-то громкий звук — не то звериный рык, не то горный обвал, не то шквал аплодисментов (опять Ксении аплодируют?) разносится над площадью. Все исчезает. Я лежу в своей комнате. За окном по ночной улице прогромыхал тяжелый самосвал: в городе убирают снег.

Подымаюсь с постели, подхожу к столу, нащупываю коробок, зажигаю свечи и сажусь перед Ксюшиной фотографией. Сижу долго, пока свечи не сгорают.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

нварь.

Кладбище. Ксюшина часовня. Руками разгребаю снег и кладу на ее ступени букет белых хризантем, белых, как снег. За моей спиной шаги. Они приближаются, они затихают. Поворачиваю голову. Предо мною двое мальчишек (уж не те ли, что тогда, в феврале, бегали с портфелями по ту сторону речки?). Мальчишки с любопытством смотрят на меня и на часовню. Читают надпись.

— Дяденька, это ваша родственница?

— Да, родственница.

— Ваша бабушка?

— Да... почти бабушка.

— А красивая у вашей бабушки могила! Церковь целая!

Проваливаясь в сугробы, мальчишки бегут к речке. Хохочут. Снимаю перчатки — они совсем мокрые. Руки покраснели, замерзли. Бреду по тропинке обратно. Оглядываюсь. Цветы на ступенях едва заметны. Они совсем как снег. Подхожу к церкви. Службы нет. Церковь закрыта, и погреться негде. Медленно иду к кладбищенским воротам. У ворот меня поджидают знакомые мальчишки.

— Дяденька, а что, ваша бабушка была очень доброй? Вы ее очень любили?

— Да, я ее очень, очень любил. Она была удивительной женщиной. Ни у кого никогда не было такой хорошей бабушки, как у меня. Мне чертовски повезло.

— Только зря вы, дяденька, оставили на могиле цветы. Тут старушка одна есть. Она цветы на кладбище собирает и на рынке их продает.

— Ну что ж, я пойду на рынок, куплю у старушки свои цветы и снова положу их у часовни.

— А она их опять украдет и опять будет их продавать.

— А я их опять куплю.

— И вам не жалко денег, дяденька?

— Жалко. Но что делать? Моя бабушка страсть как любила цветы.

— А хотите, мы будем ваши цветы караулить? Мы тут рядом живем. Мы знаем, когда эта бабка приходит.

— Ну, если вам не трудно, я буду вам благодарен.

— Вы бы их в полиэтилен завернули, а то они быстро замерзнут.

— Нет, в полиэтилен нельзя. Бабушке не понравится полиэтилен. Пусть так лежат.

— А если пойдет снег, мы его разгребем.

— Вот за это спасибо!

Февраль.

Научный отдел Музыкального музея. Научный сотрудник Марианна Максимовна — темноглазая, темноволосая, энергичная и разговорчивая женщина. Ей лет сорок с совсем маленьким, еле заметным хвостиком. А может быть, и без хвостика.

— Трудно, знаете ли, работать. Помещений не хва-

тает. Средств — тоже. Вчера принесли два письма Собинова. Интересные письма, а купить не можем. Деньги будут только во втором полугодии. А письма-то уйдут, письма не дождутся второго полугодия, письма перехватит какой-нибудь частник. А они интереснейшие. Давайте я вам одно прочитаю. Оно недлинное. Что же касается Брянской, то есть у нас, конечно, кое-что, немного, но есть. Жалко ее, голубушку. Такая была слава! Такое было сияние! А после — темный омут забвения, почти полнейшего забвения. Несправедливо, конечно. Это же наше, русское, неповторимое, невосполнимое, бесценное. Вся Россия по ней с ума сходила. Теперь даже трудно вообразить. Подождите минутку, сейчас принесу.

Марианна Максимовна удаляется в соседнюю комнату. Я подхожу к окну. Музей располагается на одной из центральных площадей рядом с одним из знаменитейших театров. Из боковых дверей театра рабочие вытаскивают декорации и расставляют их на снегу,— видимо, ждут машину, чтобы отвезти декорации на склад. Выносят стену с окном. Стена оклеена полосатыми розовыми обоями, на окне болтается голубенькая занавеска. Выносят пару колченогих стульев. Выносят статую обнаженной девы, стыдливо прикрывающейся ладонью. Ее тащат без особой натуги. Наверное, она сделана из папье-маше. Проходящий мимо дядька с большим пакетом под мышкой замедляет шаг и глядит на девичьи прелести, но тут же, застыдясь, отворачивается и, переложив пакет под другую руку, топает дальше. Выносят фикус в кадке. Его тоже несут легко, он тоже ненастоящий. Выносят плоский, фанерный, куст цветущей белой сирени...

Дрожащими руками развязываю тесемки серой старенькой папки. Сверху лежит большой, пожелтевший, сложенный несколько раз бумажный лист. Осторожно его разворачиваю.

16 ДЕКАБРЯ
в зале Дворянского собрания
состоится сольный концерт
певицы

. . . .

— Это афиша ее последнего концерта,— говорит Марианна Максимовна.— На этом концерте она и погибла. Ее убили.

— Убили? — говорю я с притворным изумлением.— То есть как это убили? Кто убил? За что? Почему?

— О, тут, знаете ли, очень романтическая история. Мы еще специально этим не занимались. Она ведь была очаровательнейшей женщиной. К тому же и слава неслыханная. Короче говоря, мужчины вокруг нее гудели, как шмели вокруг жасминового куста. Один поэт, ныне тоже забытый, был влюблен в нее безумно и ходил за нею по пятам. Видимо, от любви он и в самом деле помешался. Шестнадцатого декабря тысяча девятьсот восьмого года на концерте в зале Дворянского собрания, в нынешней филармонии, на глазах у многочисленной публики он выстрелил в Брянскую из пистолета. Толпа, кажется, растерзала его. Вообще, жизнь этой певицы была на редкость красива, на редкость. А каков конец! Позавидуешь!

Я тихонько складываю афишу. Под нею лежат фотографии. Их довольно много. Марианна Максимовна комментирует:

— Вот здесь ей лет двадцать, не больше — это самое начало ее карьеры. Очень мила, не правда ли? Очень! А вот она на гастролях в Одессе. А это ее приезд в Варшаву. А вот эта фотография мне нравится больше прочих, здесь она чудо как хороша!

В моих руках та самая, знобишинская, а теперь уже и моя фотография. Мне неловко, мне кажется, что Марианна Максимовна замечает мое волнение и о чем-то догадывается. Хотя о чем же, собственно, она может догадаться?

— Скажите, пожалуйста,— обращаюсь я к ней и пугаюсь, услышав какой-то глухой, совсем не свой голос, и долго откашливаюсь, чтобы голос прочистился,— скажите, пожалуйста, а живы ли какие-нибудь родственники Брянской?

— О да! Жива ее племянница. Дряхлая старуха. В прошлом актриса оперетты. Ее зовут Алевтина Арсеньевна Скородумова. Она живет в Доме для актеров на пенсии. Мы обращались к ней однажды. К сожалению, от ветхости она уже плохо помнит те времена и часто путается, а иногда попросту придумывает то, чего явно не могло быть. Она, к примеру, упорно твердит, что Брянскую убил ее муж, подполковник Одинцов, что он был ужасный ревнивец и не мог простить ей того самого поэта, что Брянская собралась с ним расстаться, и тогда он...

— Но почему, собственно, всего этого не могло быть?

— Потому что, судя по всему, Одинцов был человеком нерешительным и слабовольным. Такие не убивают своих жен. Таких бросают, и они долго страдают, и упиваются своими страданиями, и начинают пить горькую, и пьют все усерднее и усерднее, и становятся пьяницами, и вконец спиваются.

— А знаете, Одинцов и на самом деле был таким человеком.

— Но вам-то откуда это известно?

Я спохватываюсь и, уткнувшись в папку, продолжаю изучать ее содержимое, силясь придумать приличный ответ.

— Мне это доподлинно не известно, но я почему-то в этом уверен. Совершенно уверен.

Подымаю глаза и встречаю недоуменный взгляд Марианны Максимовны, долгий недоуменный взгляд. Снова опускаю глаза и продолжаю копаться в папке. Читаю вырезки из газет и журналов.

«Концерты К. В. Брянской в Астрахани

Мы уже привыкли к триумфам госпожи Брянской, но то, что на прошлой неделе происходило в Астрахани, превзошло все мыслимые степени успеха. Публика безумствовала. На третьем концерте Брянской пришлось спеть на «бис» 21 романс. «О, можно ль позабыть!» певица по требованию публики спела три раза подряд. Концерт закончился после полуночи. Артистка еще раз продемонстрировала поразительное трудолюбие, творческую щедрость и редкую широту души. Днем певица старалась не выходить из гостиницы. При каждом появлении на улице ее мгновенно окружала толпа поклонников и поклонниц, которые буквально не давали ей прохода. В среду, подкараулив Брянскую у театра, почитатели едва не раздавили свою богиню, притиснув ее к стене. Вовремя подоспевшие чины полиции с большим трудом спасли певицу от грозивших ей увечий. Брянская скрылась в гостинице без шляпы и с порванным рукавом платья. Как говорят, астраханский градоначальник высказывал неудовольствие по поводу гастролей Брянской, заявив, что она превратила его город в сумасшедший дом и что для наведения порядка приходится прибегать к помощи пожарных».

«Театральная хроника

К. В. Брянская, помимо изумительного голоса, несравненного таланта в исполнении цыганских романсов и редкостного умения очаровывать слушателей, обладает и незаурядными коммерческими способностями. Недавно она заключила контракт с фирмой «Лира» на запись 20 граммофонных пластинок. Она потребовала за штуку по 600 рублей. С нею долго торговались, но она не уступила ни копейки. Фирме пришлось согласиться с требованиями непреклонной и знающей себе цену знаменитости».

«ТОЛЬКО ТАК ОНА И МОГЛА УМЕРЕТЬ

(на смерть К. В. Брянской)

Брянской больше нет. Россия оплакивает свою любимицу. Россия в трауре. Смерть великой певицы потрясла всех. Навеки умолк этот удивительный, томительно-волнующий, неземной голос. Никогда не увидим мы более ее изящную, тонкую фигуру, никогда не восхитимся ее обворожительной улыбкой. Но, да простят нам моралисты, смерть ее была столь же прекрасной, как и ее жизнь, как ее бесподобное искусство. Только так она и могла умереть. Тот, кто присутствовал в зале Дворянского собрания 16 декабря, никогда не забудет этот вечер, ибо Ксения Брянская пела воистину феноменально, будто предчувствуя свою гибель. Она была в экстазе, и ее экстаз передался публике. То, что происходило в зале в последние минуты жизни певицы, уже выходило за рамки искусства. Это было нечто непостижимое».

Опять фотографии. Ксюша в самом знаменитом своем платье. Ксюша в простой скромной кофточке. Ксюша в знакомой мне каракулевой шубке. Ксюша в маленькой меховой шапочке (кажется, это та, соболиная). Ксюша в огромной шляпе со страусовыми перьями (жаль, что я не видел ее в этой шляпе). Ксюша на Невском в своей коляске, и спина Дмитрия виднеется, и его шапка. Ксюша со своим аккомпаниатором у рояля. Ксюша в каком-то саду. Ксюша на каком-то банкете. Ксюша стоящая, Ксюша сидящая, Ксюша полулежащая на тахте — из-под края сверкающего, то ли серебристого, то ли золотистого, парчового платья

высовывается острый носок туфли. А вот и фотографии похорон. Этого я уже не видел. Время не пустило меня на ее похороны.

Необозримая толпа заполняет набережную у Николаевского моста. Над толпой там и сям возвышаются полицейские на лошадях. Толпу рассекает траурный кортеж. Впереди несут бесчисленные венки. Далее движется белый, украшенный цветочными гирляндами катафалк, запряженный шестеркой белых лошадей,— их ведут под уздцы похоронные служители в белых цилиндрах и длинных белых балахонах.

Заваленный цветами гроб. Вокруг него — люди. Повернув головы, они смотрят в объектив. Вглядываюсь в их лица...

— Нет ли у вас, Марианна Максимовна, лупы?

— Пожалуйста!

Разглядываю лицо человека, стоящего в глубине фотографии. Он один смотрит в сторону. Он бородат. Он поразительно похож на меня. И даже пальто на нем...

Кладу лупу. Откидываюсь на спинку стула. Гляжу на портрет Шаляпина, висящий на стене. Великий певец взирает на меня сверху вниз с нескрываемым пренебрежением.

— Простите меня, Марианна Максимовна, но я почему-то волнуюсь, очень волнуюсь. Меня волнует все, что связано с судьбой этой женщины. Мне безумно хочется написать о ней книгу, но я не уверен, что эту книгу все-таки напишу. Мне что-то мешает. Мне мешает мое загадочное волнение. Я его боюсь.

Встаю из-за стола, подхожу к окну. Декорации все еще стоят на снегу. Кое-что добавилось: кусок деревянной ограды с калиткой, большая китайская ваза с букетом роз, очень похожих на живые, и высокие напольные часы с маятником. Маятник, как ни странно, качается. Значит, часы настоящие. Только они настоящие, только время подлинно, все остальное бутафория, подделка, имитация, все остальное — только видимость. Стало быть, я присутствовал на похоронах и стоял у ее гроба. Но отчего-то не помню об этом, но отчего-то память у меня совсем отшибло. Или это мой двойник стоит там, у изголовья ее гроба, в декабре 1908-го? А может быть, я все же свихнулся и мне остается только отправиться в ближайший сумасшедший дом и чистосердечно в этом признаться, дабы не

причинять лишних хлопот родственникам и службе неотложной помощи?

— У нас есть пластинки Брянской,— слышу я голос Марианны Максимовны,— хотите, я вам что-нибудь поставлю?

— Нет, нет, не надо! А впрочем... впрочем, поставьте.

И снова, как тогда, в марте, у Ковыряхина, сквозь шипенье, сипенье, потрескиванье до меня доносится Ксюшин романс.

Не терзайте себя; не страдайте,
Не ломайте в отчаянье рук,
У цыганок вотще не гадайте —
Полюбите другую, мой друг.

Не ищите меня, не зовите.
Песня спета, угасла звезда.
Прокляните меня, прокляните!
Позабудьте меня навсегда!

Март.

Трамвай останавливается на кольце. Все выходят, и я тоже. Все идут направо, в парк и к ресторану. Я иду налево, к мосту.

Мост очень старый, деревянный. Перила его прогнулись, перекосились. Доски тротуара кое-где провалились. Изредка по мосту проезжают машины. Пешеходов не видно.

Останавливаюсь посреди моста (о, как я люблю торчать на всяческих мостах!). Под мостом большая полынья. В полынье плавают дикие утки. Их множество. Они сытые, гладкие, красивые. Они ничего не боятся и вполне довольны своим существованием. Они не улетают на юг, а проводят всю зиму в городе. Впрочем, и летом они не покидают город. Им здесь лучше, чем на лоне природы. Здесь есть вода и есть пища. Здесь никто не палит в них из двустволок, и зубастые собаки не хватают их, бьющихся в агонии, истекающих кровью, за крыло, чтобы положить к ногам кровожадного, пропахшего порохом охотника. Но как они догадались, что в городе их спасенье? Кто им намекнул? Кто их надоумил? Природа хитра. Она понимает, что человек — хищник, что если бежать от него, то он, как всякий хищник, непременно кинется вслед, и непременно догонит, и обязательно убьет. Или издалека выстрелит в спину и тоже убьет. Но если самой пойти

навстречу человеку, то он удивится, и слегка растеряется, и опустит ружье, и скажет: «Надо же!» Потому что он все-таки человек, и душу его навещают благородные чувства, и он бывает совестливым и даже милосердным. Вот он, этот человек, в детстве стрелявший в воробьев из рогатки и истреблявший лягушек просто от скуки,— вот он, этот человек, в юности с жадностью хватавший руками бьющуюся на крючке плотвичку и хладнокровно, когда его просили, отрубавший голову живому петуху,— вот он, этот человек, в зрелые годы почти спокойно топивший в ведре несчастных слепых котят,— вот он, этот страшный человек, это чудовище, стоит на мосту и с умилением глядит на диких уток, приютившихся под мостом. А раньше он видел диких уток только в зоопарке и как-то не обращал внимания на то, что они такие красивые, что у них такие отточенные, такие законченные формы и такая изысканная расцветка, что они так здорово плавают и ныряют, что их красные перепончатые лапы так ловко загребают воду и что они, почти как собаки и кошки, так забавно отряхиваются, когда выбираются на сушу.

Некоторые утки непрерывно плещутся в воде,— наверное, им так теплее, веселее. А другие неподвижно сидят на льду, поджав под себя лапы. Лед желтый и весь в трещинах. Год назад, в марте, я впервые ехал с Ксюшей в ее коляске. Но прошлогодний март был холодный, совсем зимний. А нынешний — вполне весенний, теплый. И утки небось радуются, что, слава богу, перезимовали и теперь им будет полегче.

Неподалеку от меня останавливается старушка, очень старенькая и очень интеллигентная старушка в очень старомодной, но не лишенной элегантности меховой шляпке и в столь же старомодном, но чистеньком пальтеце. В одной руке у нее палочка, в другой — продуктовая, довольно ветхая сумка из дерматина. Такие сумки предприятия легкой промышленности выпускали в пятидесятых годах. Старушка ставит палочку к ограде и долго что-то ищет в своей сумке. Наконец она извлекает из нее бумажный кулек, разворачивает его, достает из него несколько кусочков черствой булки и начинает крошить их в воду. Утки приходят в крайнее возбуждение. Спеша, толкаясь, они устремляются к лакомству. Те, что дремали на льду, тут же просыпаются. Вода под мостом кипит, и шум стоит изрядный:

всплески, кряканье, хлопанье крыльев. Откуда-то, видимо, от соседней полыньи, подлетают новые птицы и бросаются в общую свалку. Булка достается сильнейшим и наглейшим — отсюда, сверху, это отлично видно. Но и прочим кое-что перепадает. Счастливчики сразу выбираются из общей кучи, отплывают в сторону и здесь, в одиночестве, жадно глотают свою добычу. «Это и есть борьба за существование,— думаю я.— Здесь, на мосту, можно изучать нравы животных, да и не только их».

Подхожу к старушке.

— Простите, вы, случайно, не из Дома для актеров на пенсии?

Старушка глядит на меня настороженно.

— Да, я оттуда. А в чем дело?

— Вы не знакомы с Алевтиной Арсеньевной Скородумовой?

— Как же, как же — прекрасно знакома! Она моя соседка.

— О, какая удача! Я надеюсь, вас не затруднит показать мне дорогу к жилищу Алевтины Арсеньевны?

— Ну что вы, меня это нисколько не затруднит! Я вот только еще минутку покормлю уток. Вы не торопитесь?

— Нет, ничуть не тороплюсь. Кормите, пожалуйста. А я понаблюдаю за утками — это страсть как интересно.

Спустившись с моста, мы приближаемся к невысокому зданию за чугунной оградой, входим в ворота и вскоре оказываемся в тихом, но неуютном вестибюле с очень посредственными картинами на стенах и с мягкими, довольно потертыми креслами у стен.

— Подождите меня здесь, я предупрежу Алю,— говорит попечительница уток и, постукивая палочкой, подымается по широкой парадной лестнице на второй этаж. Через десять минут она появляется на верхней площадке.

— Молодой человек, пойдемте со мной! Вас ждут.

Волнение охватывает меня. Мне трудно подыматься, и пот выступает на лбу.

В маленькой комнатушке, сплошь заставленной старинной мебелью и напоминающей кладовую комиссионного мебельного магазина,— в тесной комнатушке со стенами, сплошь увешанными картинами, фотографиями актеров и старыми театральными афишами,— в душной, пропахшей лекарствами и духами комнатуш-

ке у круглого стола, застланного кружевной и тоже старинной скатертью, сидит вовсе еще не старая женщина. На вид ей лет пятьдесят. Волосы ее покрашены в рыжий цвет, брови по моде выщипаны, на губах яркая помада. Приподнявшись, она пожимает мне руку. Я представляюсь и объясняю причину своего визита.

— Как я рада! Наконец-то, наконец-то вспомнили о моей тетушке! О, как я рада! Вы представить себе не можете, как я рада! Давно бы уж пора! Давно бы! Это же была великая певица! Это же было такое чудо, такое диво! Как же можно забыть ее? Как же можно? Вы будете писать о ней книгу? Бог на помощь, как говорили когда-то, Бог на помощь! Поскорей бы, поскорей! Пусть прочтут и поразятся! О ней должны знать все! Все! Даже дети в школах! Ведь сохранились же пластинки. Их можно реставрировать. Сейчас такая техника, сейчас все возможно. И ее ошеломляющий голос снова будет звучать над Россией, над ее любимой Россией, и народ будет слушать ее и восторгаться. Я уверена, что ее поймут, что ее примут сейчас, как и раньше принимали. Я уверена!

— Алевтина Арсеньевна, вы хорошо помните свою тетушку?

— Разумеется! Она как живая стоит предо мною! Как живая! Будто вчера мы с нею расстались, всего лишь вчера.

— Скажите, у Ксении Владимировны действительно был очень сильный и очень чистый голос? Старые пластинки так шипят и трещат, что трудно понять.

— Да, да, голос был мощный, чистый и красивый до... до невероятности. Сказочно красивый был голос! Сказочно! И она так мило, так женственно и, знаете ли, как-то по-своему, но притом и очень по-русски произносила некоторые слова — ну просто прелесть, сплошное очарованье! Я была влюблена в свою тетю Ксану и ходила за ней хвостом. Она тоже любила меня и баловала ужасно. Помню, в Крыму не то в тысяча девятьсот седьмом, не то в девятьсот восьмом, в год ее гибели, она буквально завалила меня конфетами. Детям вредно есть столько конфет. Но я была жуткой сластеной, жуткой. У меня болели зубы от сладкого, но я все равно поедала всякие сласти в огромном количестве, и те, крымские, конфеты я тоже все проглотила — ха-ха-ха! — все до единой! Даже не понимаю, как они в меня влезли!

Со страхом смотрю в выцветшие, водянистые глаза Али — Алевтины Арсеньевны. Полгода тому назад я сделал ей из газеты кораблик, и мы пустили его в море. Всего лишь полгода прошло, но она не узнает меня, но она ничего не помнит... кроме конфет. Во мне вдруг просыпаются любознательность и азарт естествоиспытателя.

— А какие глаза были у тетушки, какого цвета?

— Глаза были голубые, совершенно голубые!

— То есть как голубые? А я... а мне говорили, что глаза у нее были серые.

— Ну что вы! Я же не могла это позабыть! Даже в газетах писали о ее небесно-голубых глазах. И поэты сравнивали ее глаза с утренним майским небом или с морем в чуть ветреную солнечную погоду. Был у нее один поклонник — поэт. Кажется, там пахло большим романом.

Я весь сжимаюсь. Правую ногу мою под столом сводит от волнения, а мой лоб снова увлажняется.

— Но случилось это несчастье...

— А кто же все-таки виновник? — спрашиваю я тихо.— Почему-то толком неизвестно, кто стрелял в Брянскую.

— Отчего же неизвестно? Очень даже хорошо известно! Стрелял Одинцов, ее законный муж. Это был мужчина заметный, статный, высокий. Это был блестящий гвардейский офицер, аристократ. Но, к несчастью, он был не слишком умен и слишком ревнив. Имея такую знаменитую и такую хорошенькую жену, следовало кое на что смотреть спокойнее, немножко сквозь пальцы. А он не мог. Он то и дело хватался за пистолет и стрелялся на дуэлях.

— Вот как? В начале века еще случались дуэли?

— Разумеется! Мужчины все драчуны и все любят стрелять. Теперь стреляют только в зайцев и уток, а тогда еще можно было пострелять друг в друга. Вот этот Одинцов, совсем одурев от ревности, и застрелил мою бедную тетушку прямо на концерте в Дворянском собрании. Вся Россия содрогнулась! Вы не представляете, что творилось в Петербурге, что писали газеты!

— А что же сделалось с Одинцовым? Он остался жив?

— Да, он остался жив. Его друзья наняли лучших адвокатов, и те доказали, что он был не в себе, а тетка и впрямь вела себя несколько предосудительно. Прав-

да, в Одинцова после тоже стреляли, и, кажется, он был тяжело ранен. Кто стрелял, я уж не знаю. Словом, веселенькая была история, очень веселенькая. Такие бурлили страсти, такие страсти! А тетку-то жалко. Молода ведь была совсем, и такой голос, такой талант.

— А скажите, тот поэт... куда он делся?

— Да бог его ведает. Может быть, застрелился с горя. А может статься, что он еще долго жил. Но, очевидно, он не был слишком известен. И знаете, вы чем-то на него похожи! Честное слово! Он тоже был бородат, и нос у него почти такой же, и глаза... Как забавно! Но вообще-то тетушку окружали офицеры, друзья Одинцова. Они никого к ней не подпускали и попросту таскали ее на руках. Выносили ее на руках из театра и тащили к коляске. А у дверей дома вынимали ее из коляски и несли в квартиру. Не верите? Честное слово актрисы! Так оно все и было!

Апрель.

Горят свечи. Ксюша глядит на меня с фотокарточки по-ангельски кротко. За окном по улице то и дело проезжают машины. Вот, легко шурша шинами, пронеслось такси. Вот басом прогудел большой автобус с прицепом. Вот продребезжал какой-то старенький, разбитый грузовичок — все в нем трясется и лязгает. Вот с тонким свистом промчался полупустой вечерний троллейбус (у наполненного троллейбуса другой звук, другой посвист). Вот легковая машина, наверное «Жигули», остановилась у нашего дома. Из нее выходят, слышны голоса: «Это же дом двадцать девять! Двадцать пятый мы прозевали!» Снова садятся. Стук захлопнувшейся дверцы, шум заводящегося мотора. Отъезжают.

Звонит телефон. Выхожу в прихожую, снимаю трубку. В трубке тихо.

— Алло!

Трубка молчит. Кладу ее на рычажки аппарата, возвращаюсь к столу. Ксюша будто бы сдерживает улыбку. Уголки ее губ явно подрагивают. Снова звонок. Снова снимаю трубку. Снова в трубке безмолвие. Но вроде бы кто-то дышит на другом конце провода, дышит затаившись, стараясь, чтобы дыхания не было слышно. Наконец робкий Настин голос.

— Это... я. Привет. Как поживаешь?

— Плохо поживаю.

— А что случилось?

— Случилось несчастье.

— Какое несчастье? Не пугай меня! Говори, говори, что случилось?

— Да сразу не расскажешь, не объяснишь. Впрочем, тебя это совсем не касается, и незачем тебе нервничать зря.

— Как ты жесток! Просто изверг! Немедленно отвечай, что произошло!

— Не пугайся. Ничего не произошло. Это я так. Валяю дурака. Ничего существенного решительным образом не произошло. Это я так.

Пауза. Я молчу. Настасья — тоже. Слышно, как она шмыгает носом. Потом она вздыхает. После опять шмыгает носом.

— У меня есть два билета на «Амаркорд». На среду, в «Титан». Сеанс в восемнадцать тридцать.

— Я уже видел «Амаркорд». Мы видели его с тобой вместе. Неужели ты позабыла?

— Ну посмотрим еще разок. Фильм-то отличный.

— Хорошо, посмотрим еще разок.

Настя оживляется. Голос ее веселеет.

— Я буду ждать тебя в вестибюле в четверть седьмого. Не опаздывай! Ты у меня любишь опаздывать.

Опять сажусь за стол. Ксения смотрит на меня сердито. Ксения недовольна мною. Зря я согласился на «Амаркорд».

Прихожу на пять минут позже. В вестибюле много народу, но я сразу замечаю Настасью. Она стоит у самого входа и нервно мнет в руках перчатки. Она не видит меня, и я спокойно наблюдаю за нею. На ней светло-серое пальто, черная вязаная шапочка и длинный, свисающий до самого полу, черный вязаный шарф. Она немножко похудела, немножко побледнела, под глазами у нее легкие тени — все это придает ее облику ту самую значительность, которой ей всегда чуточку недоставало. Хороша все же Настя!

Она поворачивает голову в мою сторону, и на ее лице вспыхивает счастливая улыбка. Она машет мне перчатками. Она идет ко мне, лавируя между стоящими в вестибюле людьми, выставляя вперед то одно, то другое плечо, по-прежнему сияя какой-то совсем девчоночьей улыбкой. Подойдя, она берет меня под руку и

слегка прижимается ко мне, и обдает меня ароматом «Шанели», и глядит мне в глаза своими синими глазищами, и почти упирается в меня своими длиннющими ресницами, и что-то говорит, что-то тараторит быстро-быстро, будто боится, что не успеет все сказать, что я вот-вот уйду, исчезну — и она останется одна в этом переполненном людьми вестибюле, одна с ненужными билетами в кармане и со слезами на своих фирменных ресницах.

— А я давно уж тут, думала, может ты тоже пораньше, встала на самом видном месте, привязался какой-то мерзкий тип, говорю: отойдите от меня! А ему хоть бы что, еле отбилась, потом страшно стало: вдруг не придешь? вдруг передумаешь? или дела срочные, как это шикарно, что ты все же пришел, как это божественно, как это мило с твоей стороны! А потом морячок какой-то, феноменально вежливый. «Не желаете ли,— говорит,— девушка, у меня есть лишний билет за семьдесят копеек, место хорошее, самая середина и к тому же у прохода, отлично будет видно». Ты знаешь, я даже с работы пораньше ушла, отпросилась — боялась опоздать, и надо было получше нарисовать лицо, чтобы тебе понравиться, а после пенсионер какой-то прилип, генерал небось в отставке, по крайней мере полковник, этот с юмором был, острил по-военному. «Девушка,— говорит,— вам бы в армию, на посту вы стоите, как образцовый солдат, отличник боевой и строевой подготовки». А потом какой-то интеллигентный мальчик стал знакомиться несмело. «У вас,— говорит,— лицо покинутой Ариадны, но Тезей к вам не вернется, не ждите, вы достанетесь Дионису, это тоже недурно, скажу я вам, ей-богу, недурно...»

— Господи! — изумляюсь я.— Сколько же ты тут простояла?

Настасья захлопывает глазищи и снова их распахивает.

— Ну... с полчасика, не больше. Или минут сорок. У меня ведь и часы к тому же спешат, все забываю отдать их в починку.

Мы поднимаемся по длинной лестнице и входим в длинный, неудобный зал. Отыскиваем свои места, садимся. Занавес медленно раздвигается. Свет гаснет. На экране появляется название фильма, звучит музыка, идут титры. Настя берет меня за руку и кладет голову мне на плечо.

— Как давно мы с тобою не были в кино, как давно не сидели рядышком в зрительном зале! — шепчет она и проводит своим острым ноготком по моей ладони.— А тебя волнует эта актриса? Нет? Почему? Она ничего себе, очень даже ничего. Ах, да! Ты же предпочитаешь блондинок! Я забыла совсем! Как это чудесно, что ты предпочитаешь блондинок! В брюнетках есть что-то вульгарное. Сейчас будет отличный кадр!

Настин ноготь вонзается в мою ладонь, и мне немножко больно. Больно, но приятно.

— Здорово! — шепчет Настасья.— Правда, здорово? Феллини, конечно, гений. По-моему, сейчас это режиссер номер один. В глобальном масштабе. А ты как думаешь?

Кто-то трогает Настю сзади за плечо.

— Девушка, нельзя ли немножко потише? Вы все время разговариваете. Поговорить можно и дома. Вы не одна в зале!

Настя резко оборачивается и глядит на обидчика уничтожающе. Но взгляд ее в темноте не виден, да и обидчик прав. Я и сам не терплю, когда болтают в кино.

На экране туман, серый непроглядный туман. Где-то вдалеке слышны невнятные голоса. В тумане возникает что-то светлое. Оно приближается, оно растет. Из тумана выходит огромный белый бык с длинными острыми рогами.

— Ой! — тихо вскрикивает Настя и крепко сжимает мою руку своей мягкой ладошкой.

Постояв как бы в нерешительности, бык поворачивается и снова уходит в туман, растворяется в нем.

В толпе зрителей мы спускаемся по лестнице к выходу. Вокруг нас разговаривают.

— Я заснула на том месте, когда они ждали пароход. Так и не поняла, к чему этот пароход и зачем они его ждали. Чушь какая-то.

— Эпизод с касторкой, на мой взгляд, чрезмерно натуралистичен. Вообще, Феллини злоупотребляет натурализмом.

— Ну и лопухи мы с тобой, Петюха! Можно было добавить полтора рублика и купить «малыша». Два часа угробили.

— Удивительно! Сюжета вроде бы нет, а все так цельно — ни убавить, ни прибавить.

— А мне больше всего понравился эпизод с сумасшедшим. Это сделано превосходно!

— Современному западному кинематографу свойственны тенденции дегуманизаций. Но Феллини верен гуманизму, и, видимо, он его не предаст.

Мы с Настей идем под ручку по Невскому. Начинает накрапывать дождичек. Настя останавливается, вынимает из сумочки складной зонтик, раскрывает его над моей головой.

— Ну что же ты,— говорю я,— меня от дождя спасаешь, а сама будешь мокрой!

Беру у нее зонтик и стараюсь держать его посередине — и над нею и над собой. Она идет, прижимаясь ко мне плечом. Она счастлива. Ей не терпится поделиться впечатлениями.

— Знаешь, этот бык из тумана — очень эффектно. Я всякий раз пугаюсь. Действительно страшно. Но, честно говоря, не понимаю, какой в нем смысл. Ну бык? Ну и что?

— Видишь ли, это символ и впрямь несколько неопределенный, расплывчатый. Но своей многозначностью он и волнует. Это как бы некая великая загадка, не дающая нам покоя,— это то, что всегда где-то рядом, но притом и невероятно далеко,— то, что всегда подразумевается, но никогда не высказывается вслух,— то, чего все ждут и все опасаются,— словом, нечто чрезвычайно важное, но не поддающееся осмыслению, то самое, что не с чем сравнить.

— До чего же ты умный! — умиляется Настя и целует меня в щеку.— Между прочим, Знобишина скоро выпишут. Он поправился. Все, слава богу, обошлось. Только я удивляюсь: такой спокойный, уравновешенный, тихий, в общем-то, человек. Никак не ожидала! Говорят, это у него от шока. Что-то его невероятно поразило, до крайности ошарашило. Как ты думаешь, что же это могло быть, что могло его так ужаснуть? В старые времена водились привидения. Покойники любили тогда бродить по ночам и причиняли живым массу неприятностей. Но сейчас о призраках ничего не слышно.

— Я рад, что Знобишин уже здоров,— бормочу я.— О причинах его болезни можно только догадываться, но никаких догадок у меня, к сожалению, нет. Все это выглядит весьма таинственно. А куда мы с тобою движемся?

— Ко мне,— отвечает Настасья спокойно.— Женька с бабушкой в Таллинн укатил, там у нас родственники.

— Ах, Настя, ты не можешь понять: это невозможно, это совершенно невозможно! Это уже не будет возможным никогда!

— Ну хорошо, хорошо, проводи меня только до дому. Не бросишь же ты меня здесь, посреди Невского, под дождем?

Листья на потолке в вестибюле Настиного дома только что покрашены. Теперь я вижу, что это листья водяных лилий,— раньше я почему-то не обращал на это внимания. Вдруг замечаю среди листьев притаившуюся лягушку. А вот и еще одна! Как интересно, однако! Сколько раз я стоял здесь с Настей и не замечал, что на потолке среди листьев — лягушки. Настя теребит пальцами рукав моего пальто.

— И очень смешно, конечно, Градиска соблазняет принца. Второй раз, а все равно смешно. Принц просто бесподобен! Что ты там, на потолке, рассматриваешь?

— Да вот лягушки. Они затаились среди листьев. Очень симпатичные.

— Где, где?

— А вон там, справа. И чуть подальше еще одна. И вон там, у карниза, в самом углу.

— Ой, и правда лягушки! Двенадцать лет живу в этом доме, а лягушек не разглядела. Все-то ты видишь! Все-то ты замечаешь! Очень ты зоркий.

Настя берет меня за палец.

— Ну зайдем хоть на минутку! У тебя ботинки, наверное, промокли. Высушишь носки.

Мне не очень хочется возвращаться на улицу под дождь, и я колеблюсь.

— Пошли, пошли! Угощу тебя коньячком. Выпьешь рюмку — согреешься.

Настя тащит меня за палец к лестнице. Поднимаемся. Мимо проплывает красная лодка. Парус ее все так же надут ветром. Ветер не стихает. И что-то милое, родное есть в этой лодке и в ее парусе, и в белых гребешках стеклянных волн, и в списке жильцов на дверях Настиной квартиры.

В комнате у Насти все по-прежнему. Только среди пейзажей Куинджи появился пейзаж Пуссена. Вспоминаю: когда-то в Настином присутствии хвалил пейзажи Пуссена.

— Вот тебе шлепанцы,— говорит Настя.

Сажусь у двери на стул, развязываю шнурки, сбрасываю мокрые ботинки, надеваю шлепанцы, те самые

коричневые кожаные шлепанцы, которые были куплены два года назад специально для меня.

Настасья перед зеркалом стягивает с головы шапочку. Замечаю, что у нее опять новая прическа,— волосы укорочены, концы их подвиты и свободно рассыпаются по плечам. Приблизив лицо к зеркалу и округлив раскрытый рот, она кончиком платка подтирает размытую дождем помаду. Потом она трогает пальцем ресницы и поворачивается ко мне. «Красотка! — думаю я.— Чего и говорить, конечно красотка. Красавица!»

Чувствуя, что я любуюсь ею, Настя с минуту стоит неподвижно. В ее взгляде гордость собою и затаенное торжество: «Полюбуйся, полюбуйся, с кем ты расстался, кого ты разлюбил, кого ты покинул, кого ты так жестоко бросил, дурачок! Полюбуйся и запомни мои прекрасные черты! Получше запомни!» После она подходит и кладет свою ладонь мне на плечо. Я тихонько снимаю ладонь. Настя снова кладет. Я опять осторожно сдвигаю ладонь в сторону.

— Уж и прикоснуться к тебе нельзя! — говорит Настя. Она направляется к серванту, извлекает из него непочатую бутылку мартеля и ставит ее на стол. Рядом с бутылкой появляются два знакомых бокальчика фиолетового стекла и блюдечко с жареным миндалем.

— Иди, иди сюда, что ты там сидишь, как бедный родственник? — произносит Настя с напускной небрежностью и усаживается у стола, закинув ногу на ногу, почти как Ксения.

Подхожу. Сажусь за стол.

— Ты, я вижу, разбогатела. Балуешься французскими коньяками.

— Премия! — отвечает Настасья.— Скромная премия за скромное перевыполнение плана. Сначала хотела купить туфли, но потом плюнула на них и решила — поживу-ка я красиво!

Гляжу, как мартель льется в бокалы. Гляжу на длинные, острые Настины ногти, покрытые перламутровым лаком.

— Рада снова видеть вас, дорогой друг, у себя, в этих добротных шлепанцах отечественного производства, за этим столом, под этим абажуром и с бокалом в руках! — произносит Настя, иронически улыбаясь и глядя на меня сквозь прищуренные ресницы, тоже почти как Ксения. Мы чокаемся. Настя тянет коньяк

маленькими глотками, время от времени облизывая верхнюю губу.

— Зря ты меня боишься. В конце концов, мы можем быть друзьями. Я по-прежнему нравлюсь тебе, это заметно. Я красивая женщина. Ты всегда твердил, что я очень красивая женщина. К тому же я еще вполне молодая женщина — мне всего лишь тридцать два. Я — как очень спелое, сочное яблоко или как чуть перезревший, сладкий, ароматный абрикос, ты мне сам это говорил. Я — как... Ну найди для меня еще какое-нибудь сравнение! Ты же у меня поэт! Вон что творилось сегодня в вестибюле «Титана»! Все мужчины, и стар и млад, рвались со мною познакомиться. Разве неприятно дружить с красоткой, которая к тому же к тебе немножко неравнодушна, которая в тебя чуть-чуть влюблена? По-моему, одно удовольствие.

Настасья встает из-за стола и с бокалом в руке устраивается на диване. Я продолжаю сидеть за столом. Настасья похлопывает рукой по сиденью дивана.

— Садись-ка сюда! Здесь удобнее, мягче.

Я послушно сажусь рядом с нею.

— Вот видишь, здесь действительно удобно. Посидим рядышком. И все же лучший фильм у Феллини — «Дорога». Ты со мною согласен? Я, когда его посмотрела, неделю в себя прийти не могла. Даже на работе это заметили. Начальница сказала: «У вас что, какие-нибудь неприятности дома? Если нужно, я могу вас отпустить». А Шурка моя все удивлялась: «До чего же ты впечатлительная, Настюха! Таких, как ты, нельзя пускать в кино и театры. Таким, как ты, это вредно для здоровья. Я уж и позабыла этот фильм, а ты все переживаешь. Нервы тебе, лапонька, надо бы подлечить!»

Настя подвигается ко мне поближе.

— Ну что же ты, дружочек мой, такой печальный? Ну обними же меня по-дружески! Ну приласкай же меня целомудренно, платонически, безо всяких дурных намерений! Неужели тебе совсем не хочется меня приласкать? Не может этого быть! Где твоя рука? Положи ее вот сюда, на мою талию. У меня же чудесная, тонкая талия, ты всегда ею восторгался. И бедра у меня недурные, очень даже недурные. Многие бабы смертельно завидуют моим бедрам. «Если бы нам такие бедра, мы бы и горя не знали! — говорят они мне.— Это же счастье иметь такие бедра — не широкие и не узкие, не

покатые и не крутые, не высокие и не низкие, а в самый раз, тютелька в тютельку!» Ну погладь, погладь мое бедро, друг мой единственный, друг мой бесценный!

Настя опускает мою руку с талии на бедро и придвигает свое лицо к моему. Совсем рядом синие озера ее глаз с зарослями черных камышей — ресниц — по краям. Мне даже чудится, что в озерной глубине мелькают, резвятся, поблескивают боками веселые серебристые рыбешки. «Сесть бы у камышей да забросить удочку,— думаю я,— ведь был же я в молодости рыболовом!»

Но озера уплывают куда-то вверх, и перед моими глазами уже Настин рот. Он влажен. Он полуоткрыт. Белеют смоченные слюною зубы. «Как у Ксюши! — думаю я.— Совсем как у Ксюши!» И я тихонько прикасаюсь губами к этому неотразимому, то ли Настиному, то ли Ксюшиному, рту, и она, эта женщина, эта Настя-Ксюша отвечает мне страстно, жарко, торопливо, и в горле у нее что-то клокочет, и пальцы ее рвут пуговицу на моем вороте, и что-то со звоном падает на пол...

Я отталкиваю от себя эту обезумевшую от страсти женщину и откидываюсь на подушку. Я вижу: это не Ксюша, это Настя.

— Сумасшедшая!

Она сидит, прижав ладони к лицу.

— Я люблю тебя,— говорит она тихо, и опять что-то булькает в ее горле.— Я люблю тебя! — кричит она.— Ты что, не знаешь? Я, идиотка несчастная, люблю тебя!

И потом она падает на диван как подкошенная, плашмя, лицом вниз, и лопатки ее ходят ходуном, и она рвет зубами подушку, и рыдания ее переходят в вой, в страшный, уже не женский, а какой-то звериный вой.

Переворачиваю ее на спину, приподымаю ей голову и вливаю в рот рюмку мартеля. Она затихает. Она лежит неподвижно. Ее глаза закрыты. Ее щеки в черных потеках от ресниц. Ее рот размазан, нос распух, волосы взлохмачены.

— Уходи! — шепчет она.— Убирайся! Я тебя умоляю!

Сбрасываю шлепанцы, вставляю ступни в не успевшие высохнуть ботинки, напяливаю на затылок кепку и надеваю пальто, долго не попадая руками в отверстия рукавов. Подхожу к Насте. Она лежит в той же позе — навзничь. Она не открывает глаз. Выхожу в коридор, тщательно закрыв за собою дверь. Стараясь не топать, иду по коридору. Кто-то выглядывает из комму-

нальной кухни — любопытствует. Не озираясь, иду мимо дверей с половичками. Выбираюсь на лестницу. Спускаюсь. У витража с лодкой обнимается парочка. Прохожу рядом с ними. Они меня не замечают.

Стою на улице, подняв воротник пальто. Дождь все моросит. В мокром асфальте отражается ярко освещенная витрина булочной с огромным кренделем и огонь светофора, стоящего у перекрестка. Вот он красный. Вот он желтый. Вот он зеленый. Вот он снова красный. Машин не видно. Светофор светит для собственного удовольствия.

Иду к площади, подхожу к собору. В полумраке поблескивают мокрые гранитные колонны. Лучи прожекторов упираются в тускло мерцающий золотой купол, будто поддерживая его, чтобы не упал. Промчавшееся мимо такси обдает меня брызгами. Отряхиваю брюки и пальто. Ботинки опять промокли. За собором на высоком пышном пьедестале ненастоящий, как манекен, бронзовый всадник поднял на дыбы нервную, тонконогую, совсем живую бронзовую лошадь. Дождевые струи текут по плечам всадника и по шее лошади. У монумента останавливается милицейская машина с синей мигалкой на крыше. Дверца машины открывается, милиционер в дождевике направляется ко мне. «Ну вот, опять! — думаю.— Чем я теперь провинился?» Милиционер подходит и спрашивает, нет ли спичек. Достаю из кармана спички. Прикрываясь полой дождевика, милиционер закуривает, благодарит и садится в машину. Машина медленно объезжает памятник и скрывается за углом. Дождь не унимается. Дождевая вода каплет с кепки мне за воротник. «Жалко Настю»,— думаю я.

Май.

Кафе-мороженое на Лиговке — бывший «Голубой жираф». Сижу за столиком в том самом углу, где впервые сидели мы с Ксенией. Напротив меня сидит белобрысая девица с «лошадиным хвостом» на макушке. Хвост длинный, тщательно расчесанный. Девица уплетает мороженое, запивая его яблочным соком.

Появляется А. Садится сбоку, между девицей и мною.

— Какие новости?

— Новости плохие. Ксения умерла.

Пауза. Ложка с мороженым, поднесенная девицей

ко рту, застывает в воздухе. Глаза девицы округляются — в них испуг и любопытство. Глаза А. тоже округляются — в них изумление и растерянность.

— Когда?

— Какое это теперь имеет значение? Вчера! Позавчера! Семьдесят пять лет тому назад — шестнадцатого декабря тысяча девятьсот восьмого года!

— Шестнадцатого декабря? Что же не позвонил, не сказал... Ну, брат...

— А зачем? На похороны мы с тобой все равно не попали бы. Не пустили бы нас на похороны.

Опять пауза. Девица, не поднимая головы, быстро доедает мороженое, допивает сок, поправляет рукою хвост, надевает на плечо ремешок сумочки и торопливо уходит. У дверей она оборачивается и бросает на меня последний взгляд. Но что в нем, издалека не разобрать.

А. встает, направляется к стойке и вскоре возвращается с бутылкой все того же гурджаани.

— Помянем Ксению Владимировну! — говорит он и наливает вино в стаканы.— Но как же это случилось?

— Убил один сумасшедший. В сердце попал. Точнехонько в сердце. Его, правда, тоже... Все на моих глазах.

— И ты не смог?..

— Нет, не смог. До эстрады было метров тридцать, а он, как видно, все рассчитал, хотя и был безумец.

Вино выпито. Теперь встаю я. Теперь я иду к стойке и возвращаюсь с бутылкой гурджаани.

— И все-таки, что же это было? — спрашиваю я, разглядывая дно стакана.— Затмение ума? Особая, редко встречающаяся форма безумия, в котором есть логика, есть система, есть гармония и красота? Уникальная, изумительная, прекраснейшая форма безумия, которая встречается раз в тысячелетие и потому неизвестна еще медицине? Или это были галлюцинации, это был сон наяву? Сон, в котором все так четко, так выпукло, так реально, до неестественности реально, реальнее, чем сама реальность? Долгий сон с продолжениями, с захватывающим сюжетом и с продуманной до мелочей композицией? Многосерийный цветной, широкоформатный, стереофонический и стереоскопический сон? Или это эксперимент неведомого гипнотизера, обладающего чудовищной силой внушения, от которой нет никакой защиты? Но почему именно я был избран объектом для гипнотических манипуля-

ций? Почему именно я погружен был в иную жизнь и обречен был наслаждаться в ней и страдать? Или со временем что-то стряслось? По какой-то таинственной причине оно вдруг расслоилось, перекосилось, пласты его сдвинулись, между ними образовались пустоты, и прошлое стало просвечивать сквозь настоящее? А если время — цепь, то оно, вероятно, запуталось, завязалось в узел, и далекие его звенья внезапно оказались рядом? Что же, что это было?

— Все очень просто,— говорит А.— Он и она были предназначены друг для друга. Но произошла ошибка — он опоздал родиться. И вот, прорывая толщу лет, она бросилась к нему, в его время. Она торопилась, боялась опоздать. И она успела. И ему повезло. И они были вместе почти год. Почти год — значит, почти вечность.

— Это то самое кафе,— говорю я.— Вон там висел жираф, большущий голубой жираф. Кисточка на его хвосте была черная. А вон там стоял граммофон с голубой трубой. А вон там...

И тут я увидел за столиком у окна... кучера Дмитрия. Он чаевничал. Он поедал свой калач. На нем была все та же линялая голубая косоворотка. Я потряс головой — кучер все чаевничал. Я еще раз потряс головой и протер кулаками глаза — Дмитрий не исчезал. Допив стакан и ощущая легкое головокружение, я поднялся и направился к кучеру. Подойдя, я увидел, что он пьет не чай, а яблочный сок, и на тарелке у него не сдобный калач, а фруктовые вафли, пачка которых стоит двадцать одну копейку. Я взял его за плечо. Он обернулся, оскалился. И опять от его улыбки спине моей стало прохладно.

— Дмитрий! — крикнул я, пронзенный невероятной надеждой.— Дмитрий, это ты? Но как же, как же так... Неужто это впрямь ты, Дмитрий?

— Натурально я, барин, а кому же еще быть-то? — ответствовал кучер своим загробным басом, продолжая улыбаться.— Барыня мне еще вот что повелела вам передать, да я запамятовал. Теперь вот вспомнил и прибежал. Может, это важное что, подумал.

Дмитрий сунул мне в руку небрежно сложенную записку, от которой исходил единственный в мире, мучительно-сладостный Ксюшин запах.

«Милый, если не послушаешься и все же придешь, то полицейский офицер, что будет стоять слева от

эстрады, носатый такой, проведет тебя в антракте в мою комнату. Но не смей приходить, не смей!»

Сводчатый потолок покачнулся. Я схватился за спинку стула, но стул тоже колебался и норовил вырваться из рук. Это напоминало землетрясение.

— Ах, Дмитрий, Дмитрий! Что ты натворил! Как же ты так? Как же тебя угораздило? Да ведь ты!.. Ох, Дмитрий!

Кучер вскочил, перепуганный насмерть, и стал пятиться от меня в сторону выхода. Из опрокинутого стакана вылились на стол остатки яблочного сока.

— Да ведь я... Да разве ж я знал? Бумаженция какая-то жалконькая, помятенькая... Думал — безделица, пустяк. Думал — и потерять не грех. Она и сунула мне ее как-то так, без внимания. Пусть, мол, на всякий случай и это еще прочтет, а не прочтет, так, мол, и ладно, и ничего, эка важность! Я потому и запамятовал, что она вот так, без внимания. Кабы я знал!

Дмитрий, все так же пятясь, поднялся по лестнице.

— Простите меня, барин! — крикнул он сверху.— Простите меня ради Христа и всех пресвятых угодников! — рявкнул он своим страшным голосом. В последний раз мелькнула его голубая рубаха, и он исчез.

Шатаясь, опираясь о стену, возвращаюсь к своему столику. А. глядит на меня с тревогой.

— Что-то быстро ты стал пьянеть! — говорит он.— А кто этот бородач, этот гангстер, этот Бармалей?

— Один знакомый скульптор,— отвечаю я.— Смешной тип. Обожает фруктовые вафли и яблочный сок. Поехали на кладбище. Две недели там не был. Поглядишь на ее часовню.

Июнь.

Телефонный звонок.

— С вами говорит Марианна Максимовна из Музыкального музея. Вы к нам приходили недавно, интересовались материалами о Брянской. У нас к вам просьба. Мы хотим устроить небольшой утренник, посвященный творчеству Ксении Владимировны. Не могли бы вы сделать сообщение о ней, краткое, минут на сорок? Ее жизнь, ее голос, ее репертуар, ее место в русском эстрадном искусстве. А после послушаем ее пластинки. Ну как, согласны?

— Да вообще-то... Я ведь не музыковед, и не знаток

эстрадного искусства, и, признаться, даже не любитель вокальной музыки — предпочитаю инструментальную. Но могу попробовать.

— Вот и чудесно! Мы уже устали от специалистов, от знатоков, от книжных людей. А вы будете говорить то, что думаете, и не станете никого цитировать. Гигантское вам спасибо!

Опять телефонный звонок. Знакомый, негромкий, спокойный голос:

— Здравствуйте! С вами говорит Евграф Петрович Обрезков. Помните, мы с вами встречались в Крыму?

— Помню! Отлично помню! Как же можно такое позабыть! Рад приветствовать вас, дорогой Евграф Петрович! Откуда звоните? Ах, вы здесь, у нас! Недолго, говорите? Сегодня уезжаете?.. Ах, как жаль!.. Так, значит, двадцать минут у вас найдется?.. Давайте у Казанского, у памятника Барклаю... В пять часов? Хорошо.

Я узнаю его сразу — он нисколько не изменился. Одет аккуратно, но не модно, по-стариковски. В руке тоже немодный, но чистенький портфель. Здороваемся, улыбаемся друг другу, глядим друг другу в лицо. Потом ходим взад и вперед между колоннами собора. Евграф Петрович говорит о моих стихах.

— Я, конечно, как и положено старику, консерватор, если желаете, даже ретроград. Понеже мое мнение вряд ли будет для вас интересным, а моя позиция, разумеется, вам чужда. Но иногда полезно послушать и ретрограда.

— Да, да, несомненно, полезно! — соглашаюсь я, стараясь сделать заинтересованный вид. Но мне уже хочется пожать своему бывшему секунданту руку и удалиться.

— ...Вы берете на себя тяжкую ответственность... есть ли у вас полная уверенность?.. разрушать старое всегда заманчиво... традиции — это не бремя, а сокровище, которое надо беречь... не стоит игнорировать то, что вас не понимают, и, тем паче, гордиться этим... дерзость не всегда благо... стихотворная форма оттачивается веками, а вы хотите... разумеется, в этом что-то есть — вы многое можете, вы чувствуете слово, ритм, интонацию... но не жалко ли вам свой талант?.. мне кажется, вы давно не перечитывали классиков: дабы прыгнуть далеко вперед, надо отойти сначала назад... и что такое современность?.. стоит ли быть рабом своего

времени?.. Пушкин современнее всех нынешних поэтов... Ну вот, наговорил я вам с три короба!

— Нет, нет, Евграф Петрович, мне действительно пойдет это на пользу. Я поразмыслю об этом на досуге. Спасибо вам за откровенность.

— А я тут вам кое-что привез,— говорит старик и вытаскивает из портфеля старинную открытку с изображением какой-то женщины.

Беру открытку, вглядываюсь в нее. Ксюша! Она сфотографирована в профиль. На ней то самое платье, в котором она погибла. У нее величественный и надменный вид.

— Вы знаете,— продолжает Евграф Петрович,— эта женщина не дает мне покоя. Ведь это же она была тогда! Это же она вбежала в гостиную, такая испуганная, непричесанная и вместе с тем такая прекрасная! Но как же?.. Каким образом? Вы сказали, что стрелялись из-за нее. Но ведь она умерла в девятьсот восьмом году! Я специально навел справки. Как же это...

— Ничего не могу вам объяснить, Евграф Петрович. Это необъяснимо. Но я стрелялся именно в девятьсот восьмом году, за полгода до ее смерти. И я был свидетелем ее гибели. И я был ее мужем.

— То есть как — мужем? — глаза у Евграфа Петровича останавливаются, и я опять вспоминаю прославленный репинский шедевр.

— Да вот так, обычно. Я обладал ею. Она со мною спала.

— Но получается, что я тоже очутился там, в Ялте, в девятьсот восьмом! — вскрикивает старик и вдруг начинает торопиться.— Простите, но я уже зело опаздываю. Меня давно ждут. Неловко, знаете ли... Простите!

Наскоро пожав мою руку, Евграф Петрович почти бегом покидает меня. Между колоннами мелькает его черный, плохо сшитый костюм. «Испугался,— думаю я.— Зря я сказал, что Ксюша со мною спала. Черт меня дернул!»

Июль.

У входа в Клуб писателей встречаю Еще одного знакомого литератора. Он радостно улыбается. Он заметно потолстел. Вообще-то, он всегда радостен, всегда улыбается, потому что он удачник, потому что он баловень

судьбы, потому что судьба таскает его на руках, как офицеры таскали Ксюшу. При этом судьба то и дело засовывает ему в рот мятные пряники — она знает, что он к ним неравнодушен. Я ему завидую. Не то чтобы очень, скорее слегка, но все же завидую. У него есть особый дар — он умеет писать мягко, так, чтобы ничего не торчало, чтобы не было никаких затвердений, никаких заостренных частей, чтобы все можно было прощупать и убедиться в том, что данный текст никого не уколет и ничего не поцарапает. Его творения очень удобны. Они сродни подушкам, которые обычно разбрасывают на тахте. При всем том он и сам очень мягкий, сговорчивый, покладистый, участливый, общительный, добрейший и обаятельнейший человек. Он ужасно похож на свои творения. Но нет худа без добра, и поэтому не бывает добра без худа. От своей чрезмерной удачливости Еще один знакомый литератор толстеет неудержимо. Вот поэтому-то я и завидую ему не зверски, не взахлеб, не отчаянно, а сдержанно, полегоньку. Мне все же хочется мало-мальски сохранить свою фигуру, оттого что я, как известно, неравнодушен к миловидным женщинам, а эти соблазнительные, но капризные созданья не очень-то любят гулять по улицам с заплывшими жиром толстяками.

Еще один копается в своем тоже упитанном, солидном, дорогом портфеле, извлекает из него новенькую, свеженькую, только что вышедшую из печати собственную книжку и, зажав портфель между ног, пишет на заглавном листе дарственные слова.

— Хорошо, что я тебя встретил! — говорит он мне, весь лучась и как бы немножко расплываясь, немножко подтаивая по краям от своей обильной и неизбывной радости.— Чудесно, что я на тебя наткнулся! Вот тебе мои новые тексты. Не все, конечно, вышло, но в целом я доволен. Прочти и скажи, какое впечатление. Твой сборничек я полистал с большим наслаждением. Ты растешь! Ты молодчина! Расти, расти дальше, не останавливайся! И не сворачивай со своего пути! И никого не слушайся! И не обращай внимания на хихиканье за спиной. Всегда ведь сзади кто-то хихикает, всегда находятся желающие похихикать. Знаю, тебе нелегко. Но тебя поджидают лавры. Музы уже сплели венок. Еще немного, и он украсит твою красивую умную голову. Главное — не сдаваться! Главное — не унывать! Главное — не предавать самого себя! Главное — быть

целеустремленным! Рецензий еще не было? Скоро появятся! Незамедлительно появятся! Приготовься к славословиям. Они неминуемы. Критикам уже пора разглядеть тебя как следует. А говорят, что ты намерен писать роман об этой, как ее... о Брянцевой?

— О Брянской,— поправляю я.

— Извини, о Брянской. Так это верно? Будет роман? Ты уже собрал материал? И есть какая-то затея? Это будет нечто документальное? Или историко-художественное? Или вольная поэтическая фантазия на тему о Брянской? Но учти: роман — штука серьезная. Для него требуется многое: усидчивость, терпение, трудолюбие, упорство, добросовестность, вера в успех, сосредоточенность, тихое местечко со столом и пишущей машинкой и чудовищное количество времени. Требуется также некоторое умение творить романы. Последнее качество встречается в двух разновидностях: как щедрый дар расточительной матушки-природы и как нечто благоприобретенное. Второе совершенно необходимо, если отсутствует первое. А вообще-то, ничего страшного. Я написал уже четыре романа, и все четыре, как ни удивительно, напечатаны. И вот я жив, и даже здоров, и даже слегка располнел (при этих словах Еще один похлопывает себя по брюшку). Не пытайся писать длинно, но излишняя краткость тоже вредна. Не следует также писать сложно, но и простота, хотя она свята, хотя о ней без конца твердят критики, хотя ее обожает широкая публика, хотя она сплошь и рядом присутствует в творениях классиков,— так вот, простота, скажу я тебе по секрету, довольно опасна. С нею надо поосторожнее. Можно так опроститься, что разучишься писать заявления о денежной ссуде и расширении жилплощади. Опасайся писать быстро, это приводит к двухмерности — исчезают объем, глубина. Но писать медленно и того хуже. Забудешь, о чем пишешь. Я уверен, что у тебе все пойдет как по маслу. Буду счастлив держать в руках пахнущий типографской краской пухленький, изящный томик. Название еще не придумал? Это очень важно — найти хорошее, точное, звонкое, броское, но не нахальное название для романа. Плохое название отпугнет читателя, учти. Желаю тебе успеха! Будь здрав и неутомим!

Еще один знакомый литератор убегает, вернее, укатывается, мелко-мелко перебирая ногами. Раскрываю подаренную книгу, читаю написанное на ней:

«С искренним удовольствием, по-дружески и с верой в тебя.

Твой коллега и почитатель...

26 июня 1984 года».

Август.

Стою на Садовой и гляжу на бывший отель «Дагмар». Теперь здесь какое-то учреждение. Но название отеля на металлическом козырьке входа, как ни странно, сохранилось. Никто, кроме меня, его не замечает, никто. Целый час стою на Садовой и гляжу на бывший отель «Дагмар», на четыре окна второго этажа, расположенные почти над козырьком. Перейдя улицу, открываю дверь учреждения и вхожу в вестибюль. Медведя, конечно, нет, и вообще — все здесь выглядит сейчас по-другому. Постояв минуты две, тихо ухожу и снова гляжу на окна с противоположной стороны улицы.

Отправляюсь на рынок. Брожу по рядам, любуюсь земными плодами. Вспоминаю Ялту, вспоминаю, как готовился к визиту Ксении. Время от времени прицениваюсь. Долго смотрю на крупный, бледно-розовый с матовым налетом виноград. Не могу оторваться от огромной, бугристой, полосатой тыквы — в ней есть что-то очень древнее и убедительное. Едва не покупаю длинную связку золотистого репчатого лука. С трудом увожу себя от зрелища крупных, щекастых, ослепительно красных помидоров, горой наваленных на прилавке перед мрачным черноусым человеком в стеганом халате и узбекской тюбетейке.

— Во! — говорит он, рассекая помидорину надвое кривым восточным ножом и демонстрируя мне ее аппетитные, сочные внутренности.

Смущенно отвожу взгляд и иду дальше. Проходя по огуречному ряду, не выдерживаю и приобретаю один-единственный свежепросольный, еще зеленый и чертовски вкусный огурец. Откусывая от него по кусочку, приближаюсь к цветочному ряду. Здесь немного народу, и владельцы всей этой красотищи явно заинтересованы мною.

— Молодой человек, вот гладиолусы! Чудный букет, и недорого!

— Возьмите эти лилии! Понюхайте, как они пахнут!

— Розы, розы! Поглядите, какие розы! Где вы еще найдете что-либо подобное? Божественные цветы!

— Ромашки, гражданин! Садовые ромашки! Совсем даром!

Останавливаюсь перед большим ведром с махровыми пурпурными гвоздиками.

— Сколько вам? — спрашивает хозяйка, немолодая женщина с одутловатым лицом серого, болезненного оттенка.

— Десять! — отвечаю я.— Десять штук, и самых красивых.

— Положено брать нечетное число,— замечает женщина,— четное только на похороны или на могилу.

— Мне как раз на могилу.

Женщина заворачивает цветы в целлофан. И как-то неловко мне совать ей в руку деньги, и букет брать тоже неловко. Но беру. И еду в метро, и все смотрят на мой букет, и я тоже на него смотрю — любуюсь. «Ксюше он должен понравиться,— думаю,— она любила гвоздики. И такой оттенок красного она тоже любила».

Стоя на трамвайной остановке, замечаю стройную женщину со светлыми волосами. Она стоит ко мне спиной и со спины очень похожа на Настасью. И кофточка белая с кружевами на рукавах совсем как у Насти, и брючки бежевые почти Настины, и белые туфли на тонком каблуке тоже вроде бы ее. Подъезжает трамвай, и я теряю женщину из виду.

Кладбище. Голуби сидят на площадке у церкви, втянув головы в перья. Сыты. Довольны жизнью. Довольны летом и пшеном, которое рассыпано по всей площадке. Однако старушек на скамейке, против обыкновения, не видно. Оглядываюсь по сторонам. Ба! — невдалеке, у какого-то памятника, та самая блондинка в брючках! Она наклонилась и с большим вниманием читает надгробную надпись. Волосы упали ей на щеку и закрыли от меня лицо. Постояв, еще раз оглядываюсь — женщина все читает. Сворачиваю за угол церкви. Подхожу к часовне.

На ступенях стеклянная банка с водой, в ней стоят лилии. Я их принес неделю тому назад. Банки у меня не было. Стало быть, это мои друзья-мальчишки. Выбрасываю из банки уже увядающие цветы, выливаю остатки пожелтевшей воды, подхожу к речке, становлюсь на торчащую из песка корягу, зачерпываю банкой речную воду, возвращаюсь к часовне. Перед нею стоит

Анастасия в своей светлой кофточке и бежевых брючках. Теперь-то я вижу, что это она.

— Ты прости меня,— говорит Настя, глядя под ноги и трогая носком туфли какой-то камешек,— я увидела тебя в метро. Ты был с цветами, и мне стало интересно... Ты прости меня, пожалуйста!

— Ладно уж,— говорю я,— выследила меня, хитруша. Вот, поставь-ка гвоздики в банку, а я свечки зажгу.

Настя шарит рукой в сумочке, достает маленький перочинный ножичек и начинает подрезать стебли цветов. Я лезу в карман за свечами. И вот гвоздики уже красуются в банке. А рядом с банкой горят свечи. Их пламя коптит, колеблется, наклоняется, ложится горизонтально, потом выпрямляется, потом вдруг исчезает и появляется вновь. Мы стоим с Настасьей рядом, почти касаясь друг друга локтями. Стоим, смотрим на цветы, на пламя свечей и на часовню. После все так же рядышком, почти касаясь друг друга локтями, покидаем кладбище и направляемся к трамвайной остановке. Когда подъезжает вагон, я говорю:

— Садись, я не поеду. Мне хочется прогуляться пешком.

И Настя, побледнев от неожиданности, глядит на меня влажными от подступающих слез глазами. И она спрашивает:

— Можно, я изредка... буду звонить тебе — как ты и что?

И я отвечаю:

— Звони.

И, повернувшись, иду прочь. Через десять шагов оборачиваюсь. Подымаясь по ступеням вагона, Настя не спускает с меня глаз. Глаза у нее огромные и совсем черные. У нее всегда такие глаза, когда она очень несчастна.

Сентябрь.

Небольшой и не слишком уютный зал. Посередине — рояль. Вокруг него полукольцом — стулья. На стенах портреты русских композиторов. На окнах заросли комнатных цветов. На пюпитре рояля несколько небольших Ксюшиных фотографий.

Зал наполняется публикой. В основном это люди преклонных лет. Среди них несколько совсем дряхлых,

сгорбленных старушек и старичков. Я сижу на отдельном стуле у стены. Из боковой двери появляется нарядная и симпатичная Марианна Максимовна. Она объявляет начало музыкального утренника.

Подхожу к роялю, кладу на него листок с подготовленным текстом, складываю руки на животе, опускаю голову, подымаю голову, гляжу на лица слушателей, снова опускаю голову и начинаю с хрипотцой в горле суховато:

— Ныне почти забытая Ксения Владимировна Брянская на заре нашего века была знаменитейшей женщиной России...

Вначале я не очень волнуюсь. Но где-то в середине моей речи волнение одолевает меня, и голос мой начинает вибрировать. Однако к концу выступления на меня нисходит спокойствие. Я чувствую, что говорю неплохо и что слушают меня со вниманием, даже увлеченно.

Я слышу тишину, царящую в зале, полнейшую тишину, которую рассекает, разрывает и наполняет мой голос. О подготовленном тексте я забываю.

Мне аплодируют, искренне аплодируют, не из вежливости — это несомненно. Я кланяюсь, как актер, и объявляю вторую часть программы — прослушивание пластинок. Их слушают тоже внимательно и уважительно, несмотря на весь этот шум, треск, скрип и дребезг. После мне задают вопросы.

— Как относилась к ее пению творческая интеллигенция? Восхищались ли ею писатели, художники, актеры, музыканты?

— Увы, они не ценили Брянскую. Ее репертуар и ее манера исполнения казались им пошлыми. Правда, были исключения.

Ко мне подходит старичок с седой бородкой клинышком, в круглых, старомодных, железных очках. «Уж не тот ли, с кладбища? — думаю я.— Нет, вроде бы тот был повыше ростом. А может быть, и тот. Нет, все же не тот».

— А знаете,— скрипит старик,— существует еще одна версия гибели Брянской. Говорят, что она страдала неизлечимой болезнью, и скрывала это, и знала, что конец ее близок. Она сама нашла и подкупила убийцу. Она сама хотела поставить в конце свой жизни такую сверкающую точку, чтобы ее помнили подольше, чтобы сочиняли о ней легенды. И все было предусмотрено.

Полиция тоже была подкуплена. Убийца без труда мог бы скрыться. Заграничный паспорт лежал у него в кармане, и в одном из парижских банков был приготовлен для него крупный счет. Но, выстрелив, он растерялся — нервы его не выдержали. Дальнейшее вам известно.

Я гляжу старикашке в глаза, но глаз нет. Очки пусты. «Тот, конечно тот старичок!» — думаю я и говорю:

— Эту версию я проверял. Она ложна. Ксюша... Ксения Владимировна была совершенно здорова. А убийца, действительно, был не в себе. Он пылал к Брянской безответной, совершенно безнадежной страстью. С отчаянья, мучимый любовью, ревностью, уязвленным самолюбием, он и решился на преступление, на непомерное это злодейство.

— Да? — недоверчиво произносит старичок, уставя на меня два пустых стеклянных кружка в железной оправе. И тут в очках его мелькает нечто похожее на глаза, и глаза эти необычны, но в чем, собственно, заключается необычность, я не успеваю понять. Глаза снова исчезают.

— Спасибо за содержательное сообщение,— верещит старик и пожимает костлявой, холодной ладонью мою руку.

Ночью мне снится, что куда-то меня все тащат, все уговаривают куда-то идти. «Там тебе будет хорошо,— говорят,— там тебе будет лучше, чем здесь, там тебя давно уже ждут, там тебе будут рады». И я пытаюсь идти с ними туда, где мне будет хорошо, но у меня ноги какие-то тяжелые — я не могу ими пошевелить. Будто гири у меня на ногах. А они настаивают, а они удивляются, что я не иду, и даже возмущаются, и даже угрожают. «Если не пойдешь,— говорят,— пожалеешь, худо тебе будет, учти!» И страшно мне делается. «Сейчас бить будут,— думаю,— наверняка!» Силюсь приподнять левую ногу, но она не отрывается от земли. Тужусь подвинуть правую, но тщетно. И просыпаюсь весь в поту. На постели, у меня в ногах, сидит Ксюша. На ней неизвестное мне платье странного фасона. На груди неизвестная мне брошь странной формы. И пахнет от Ксюши незнакомыми странными духами. Она сердита. Она надулась и на меня не глядит. «Ах, вот,— думаю,— отчего мне ногами не пошевелить!»

— Ты чего дуешься? — спрашиваю.— Кто тебя обидел?

— Хороши же вы, сударь! — говорит она.— Я тут полночи просидела, как дура, а вы дрыхнете себе пресладко! Как вы смеете спокойно спать рядом с такой женщиной! И к тому же вы, кажется, поэт? А поэты по ночам вообще не спят — по ночам они сочиняют стихи и ласкают своих возлюбленных.

— Ты права, Ксюша! — кричу я и бросаюсь ее целовать, обнимать и тормошить.— Ты у меня умница, Ксюша! Ты у меня прелесть, Ксюша! Как хорошо, что ты пришла! Целую вечность тебя не видел! Где ты была? Где пропадала?

Ксения отбивается от меня, отпихивается,— она еще злится. Но вот она уже улыбнулась, вот она уже смеется, вот уже хохочет. Мы барахтаемся с нею на постели, и я целую ее волосы, ее шею, ее затылок. И я никак не могу найти пуговицы на ее платье неведомого фасона.

— Что вы делаете, сударь! — шепчет Ксюша.— Как вам не совестно, сударь! Разве можно так обращаться с такими женщинами?

Но вот пуговицы найдены, и я целую Ксюшины плечи, Ксюшины ключицы, и я... просыпаюсь.

За окном утро. Постель в полном беспорядке. Одеяло сбилось в ком. Подушка валяется на полу.

Октябрь.

Скверы и парки снова полыхают осенними пожарами. Желто-красное хищное пламя клубится, опадает, взмывает к вершинам деревьев и ползет по кустам у самой земли. Дорожки завалены медью, латунью и золотом. Золота очень много. Им усыпаны все скамейки. Оно падает на плечи прохожих. Дети роются в золоте — ищут желуди. Дворники сгребают золото в кучи.

Каменный остров. Где-то здесь была Ксюшина дача, на которой я так и не успел побывать. Как она выглядит, я не знаю. Цела ли она, мне тоже неизвестно.

Приятно шататься по осеннему Каменному острову и, уповая на одну лишь интуицию, искать то ли существующую, то ли исчезнувшую дачу неопределенной внешности и неопределенных размеров. Приятно, что все так неопределенно. Приятно загребать ногами эти бесчисленные тонкие слитки цветных металлов, которые,

как ни печально, никому не нужны. Разве что вот этой девчонке они требуются — у нее на голове большой венок из листьев, или вон той старушке, которая всматривается в лиственный ковер, ища нечто редкостное, уникальное, необыкновенное. Вот она нагибается. В ее руке огромный кленовый лист и впрямь редкостной красоты. Он лимонно-желт. По лимонному расползлись пунцовые полосы. А концы листа столь тонки и остры, что о них можно уколоться.

Останавливаюсь у живописного особняка с башней средневековых очертаний, с фахверковыми стенами, с черепичной кровлей и с довольно эксцентричным порталом в духе раннего модерна. Ксения вполне могла бы в нем жить, он обязательно бы ей понравился, он даже был бы ей к лицу. Но она в нем не жила, я хорошо это знаю.

Предо мной белый многоколонный дворец. Строгая, даже строжайшая классика. Величие, холодность, рассудочность, законченность, совершенство. Архитектор был оригинал. Он терпеть не мог то время, в котором жил, его мутило от едва начавшегося двадцатого века. И он сбежал в восемнадцатый, одним прыжком преодолев девятнадцатое столетие. Впрочем, со мною, кажется, случилось то же самое — я отскочил назад на семьдесят пять лет. Правда, не совсем по своей воле, да к тому же ненадолго. Этот дворец, вероятно, тоже устроил бы Ксюшу, но он был ей не по карману.

А вот в этой большой деревянной даче с резными наличниками Ксюша, может быть, и ютилась. На этой веранде по вечерам она пила чай. Рядом с нею за столом сидел Одинцов в белом кителе с расстегнутым воротом и серебряной ложечкой размешивал сахар в стакане. А подстаканник был тоже серебряный, литой, тяжелый. А на скатерти синели васильки, вышитые самой Ксюшей. И ложечка позвякивала. И о стекло бился шмель, залетевший на веранду еще днем. И тикали висевшие на стене большие часы.

Впереди меня идет мальчик лет восьми с большим, черным, лохматым ньюфаундлендом. Несмотря на внушительные размеры, пес необычайно пластичен. При ходьбе его тело змееобразно извивается. Такая походка бывает у чрезмерно кокетливых, сексуально неуравновешенных женщин. Порыв ветра. Шурша, задевая друг друга, кружась волчком, листья сыплются с деревьев. Оранжевый дубовый лист падает на широкую

спину ньюфаундленда. Так он и идет с дубовым листом на спине.

Обойдя весь остров и вдоволь насладившись зрелищем торжествующей осени, сажусь на автобус и еду к ближайшей станции метро. Там, на маленьком цветочном рынке, покупаю массивные, темно-лиловые, бархатистые георгины и отправляюсь на кладбище.

Около часовни полный порядок. Листья убраны, земля подметена. На чистых, будто бы вымытых ступенях в двух банках из-под зеленого горошка стоят букеты цветов. Один, уже немножко увядший, из белых астр. Другой, совсем свежий, из желтых игольчатых хризантем. Гляжу и недоумеваю.

Откуда ни возьмись появляются мои мальчишки.

— Ой, дяденька, сюда одна тетенька стала приходить! Красивая такая. Глаза синие-синие. Она приносит букеты и всегда подметает. Она и сегодня была. Принесла вон тот, желтый, и ступени вытерла тряпкой. А нам дала по жевательной резинке.

Ноябрь.

Тихий, теплый, сухой, но пасмурный ноябрь. Задумчивый, сосредоточенный, меланхоличный ноябрь. Сады и скверы обрели прозрачность. Деревья обнажились до неприличия. Всюду жгут листья. Голубой дым тянется к плотному, низкому, серому небу. Вороны летают стаями. Рассевшись по деревьям, они подолгу, без устали каркают. Они озадачены теплой осенью.

Вхожу в полуоткрытые ворота Летнего сада и медленно иду по аллее.

Ряды белых статуй и черных стволов деревьев. Стволы бугристые, корявые, морщинистые, но живые. Статуи гладкие, точеные, округлые, но мертвые. Плохие статуи. Шаблонные позы, слащавый пафос, натужная вычурность. Заурядное барокко. Еле слышные отзвуки берниниевского великолепия. Но без них Летний — не Летний. Прижились, пригрелись. Впрочем, после Италии им здесь прохладно. До сих пор, наверное, не привыкли к морозам. Зимние дощатые футляры не спасают. Промерзают небось до костей все эти Помоны, Дианы и Немезиды.

Пруд. Два белых лебедя на пруду. Картинно изогнув шеи и положив голову на грудь, они дремлют на дремлющей, неподвижной воде среди дремлющих ста-

рых деревьев. Можно написать пейзаж в стиле Знобишина и назвать его тоже по-знобишински — «Осенняя дрема», или «Осенняя тишь», или «Последние дни осени». Давно уж не писал я печальных осенних пейзажей. Один из лебедей подымает шею, потом снова наклоняет ее и ворошит клювом перья у себя на крыле. Маленькое перышко падает на воду и застывает на ней, белое, невесомое и пушистое. Лебедь величественно разворачивается и плывет к берегу. Теперь у него типично лебединый облик, классически лебединый облик: шея его изображает латинскую букву S, крылья плотно прижаты к бокам, из-под них торчит кончик хвоста. Красив, подлец! Эталон земного совершенства. Еще роза. Еще соловей. И еще Ксюша, когда она на сцене, когда она поет. Тогда она одновременно и лебедь, и роза, и соловей.

Стою на набережной Мойки. Слева от меня мост, справа — тоже мост. Предо мной Михайловский замок — последнее прибежище курносого императора. Откуда выносили его тело? Вероятно, из тех парадных, гранитных ворот. Мне жалко российского Гамлета. Он был упрям. Он лез на рожон. Ему не хватало хитрости. Он всех подозревал, но был недальновиден. Он всех опасался, но был беззащитен. Он был одинок и несчастен.

Замок нелеп, как сам Павел, как все его безумные затеи. Попытка совместить приветливость классики с угрюмостью средневековья породила архитектурный курьез, смешную театральную декорацию. Жаль, однако, что не сохранились каналы, и подъемные мосты, и полосатые будки, и часовые в киверах.

Широкая, чрезмерно широкая лестница со статуями по краям. Она никуда не ведет. Она только для величия. Внизу у лестницы бегают чистокровные собаки разных пород, собаки-аристократки, псы-аристократы. Их здесь выгуливают, они здесь общаются. Здесь собачье место, собачий клуб, собачье Благородное собрание. Тут и маленькие собачонки — болонки, шпицы, скотч-терьеры, тут и собаки средней величины — пудели, эрдельтерьеры, колли, доберман-пинчеры, тут и гиганты — английские доги, сенбернары, ньюфаундленды, а также какие-то слоноподобные твари неведомой породы. Все эти представители собачьего мира резвятся, прыгают, носятся друг за другом, обнюхиваются, визжат, лают,— словом, чувствуют себя превосходно.

В окне второго этажа кто-то стоит. Стоит и смотрит на собак. Кажется, он курнос. Но любил ли собак покойный император?

Раздается пушечный выстрел. Полдень. На верхней площадке лестницы появляется маленькая фигурка в большой плоской шляпе с плюмажем, в ботфортах и с тростью в руке. Она застывает в горделивой позе — одна нога отставлена, подбородок задран, рука за отворотом сюртука. Собаки, как по команде, сбегаются к лестнице и садятся полукругом. Около меня собирается небольшая толпа зевак.

— Странно,— говорю я, ни к кому не обращаясь,— собак выгуливают вечером или ранним утром, а сейчас полдень.

— Ничего странного,— отвечает мне кто-то, стоящий рядом,— в городе полно пенсионеров, и они могут выгуливать собак, когда им заблагорассудится.

Император быстро-быстро сбегает по лестнице, останавливается перед собаками, запускает руку за широкий обшлаг, что-то вытаскивает оттуда, наклоняется и сует это что-то каждой собаке под нос. Все собаки сидят смирно, и только хвосты у них вертятся и бьют о песок от возбуждения.

— Очень странно,— продолжаю я.— Много лет живу в городе и не знаю, что Павел Первый у Михайловского замка кормит собак.

— Это действительно очень странно,— удивляется стоящий рядом.— Всем ведь известно, что каждую пятницу с двенадцати ноль-ноль до двенадцати двадцати Павел собственноручно кормит собак. Он делает это много лет со свойственной ему аккуратностью.

Самодержец между тем распрямляется, делает несколько шагов назад, поправляет рукою шляпу и снова задирает подбородок. Растроганные собаки бросаются его благодарить. Они прыгают коронованной особе на грудь, кладут ей на плечи лапы, тянутся к лицу, дабы его лизнуть.

— Трогательное зрелище! — произносит стоящий рядом.— Как они его любят!

— Да, весьма трогательное,— соглашаюсь я.

Павел поворачивается к собакам спиной. Павел покидает собак. Павел взбегает по лестнице и исчезает. Толпа начинает расходиться. Я гляжу на свои часы — сейчас двенадцать часов двадцать одна минута.

Двигаюсь по Мойке вдоль Михайловского сада. Из-за деревьев торчат главы той самой, причудливой, церкви. На этом месте убили еще одного императора. Он тоже был недальновидным. Частенько, однако, царствовавшие особы лишались жизни насильственным путем! Опасное это дело — быть властителем: повелевать, издавать законы, затевать войны, казнить и миловать, кого-то притеснять, к кому-то благоволить, заботиться о народе и улыбаться ликующей толпе. Мудреное это дело, хотя и заманчивое. Тут надо быть начеку, надо держать ухо востро, тут нельзя считать ворон и распускать слюни. Чуть зазевался — и пиши пропало. Хорошо, если воздвигнут церковь на месте убиения. Хорошо, если потом эту церковь не снесут, а превратят в склад для театральных декораций.

Иду дальше. По обыкновению своему, разглядываю попадающиеся на пути дома. Они мне рассказывают о своей судьбе, они со мною откровенны.

Вот этот, розовый, четырехэтажный, построили в конце восемнадцатого века — тогда он был трехэтажный. В начале девятнадцатого его надстроили и частично изменили фасад — окна сделали побольше. А в конце девятнадцатого к фасаду пристроили крыльцо в ренессансном духе. В начале же двадцатого был переделан весь карниз в соответствии с увлечениями тех лет. В сороковых годах дом сгорел и его восстановили, но, как водится, не полностью — кое-что исчезло безвозвратно. И уже совсем недавно на фасаде отвалился большой кусок штукатурки. Штукатурка, быть может, на кого-то упала, кого-то, быть может, увезли в больницу или в крематорий. Так и стоит этот дом обезображенным, поджидая ремонта.

А этот был сооружен лет восемьдесят тому назад, когда Ксюша была еще жива. И она, возможно, видела, как его строили, а после, проезжая мимо в своей коляске, разглядывала его и думала: «Какой чудесный дом! И как скоро он построен! Совсем недавно его еще не было!» И с тех самых Ксюшиных времен ни разу его не перестраивали, не надстраивали, не расширяли. Война его не тронула. Никогда он не горел, и нет в нем трещин от неравномерной осадки. Фасад выглядит почти безукоризненно: все лепные украшения целы, все балконные решетки сохранились, все кронштейны под карнизом тоже в сохранности, а зеленый майоликовый фриз кажется совсем новеньким. Этому

дому можно позавидовать. Он устоял, выжил и ухитрился за восемьдесят лет почти не измениться. Время было к нему благосклонно? Или оно прозевало его? Или некая таинственная сила защищает его от времени? Узнать бы, какая? Нет, нет, никакая сила не защитит от времени! Просто дом счастливчик и все.

По другому берегу Мойки чуть впереди меня идет женщина. Стройна и, видимо, молода. Длинное черное пальто в талию. Маленький стоячий воротник из коричневого меха — вроде бы из соболя. Из такого же меха манжеты, таким же мехом оторочен подол, из него же и маленькая шапочка на пышных темно-русых волосах... Сердце мое екает. Да полно! Сколько таких стройных с темно-русыми волосами в гигантском городе! Сколько таких черных пальто с соболиным мехом! Сколько таких собольих «таблеток»! Шкурки соболя продаются в меховом отделе любого универмага. Они, конечно, недешевы, но не так уж и дороги — вполне доступны для средней покупательницы, которая замужем, у которой муж прилично зарабатывает и умеренно пьет. А если к тому же она и сама имеет денежную профессию, а если к тому же она бережлива и знает счет деньгам, не швыряет их на ветер... Но почему же я прибавляю шаг? Глупость! Ребячество! Сумасбродство! Отныне в каждой привлекательной женщине я буду видеть ее! Она будет мерещиться мне на каждом шагу! Не будет мне от нее покоя!

Женщина тоже идет быстрее. Что это она вдруг заторопилась? Идет, наклонив голову и будто бы отвернув от меня лицо. Вот мост. Перехожу на другой берег, теряю на этом время и отстаю. Незнакомка в соболях уже далеко впереди. Еще прибавляю шаг, почти бегу. Догоняю. Запыхавшись, иду за ней на расстоянии нескольких метров. Предо мною любимый Ксюшин затылок, любимые Ксюшины волосы. Из-под волос выглядывают мучительно знакомые, множество раз целованные, нежные мочки ушей. Сережек, правда, нет. Не надела почему-то сережки. И плечи покатые — Ксюшины, и локти острые — Ксюшины, и бедра неширокие, девичьи — тоже Ксюшины! Остается подбежать, взять за локоть... Нет, лучше подождать, пусть лучше так, пока только так. Вдруг все же ошибка? Конечно, конечно, ошибка, совпадение, недоразумение! Не может этого быть, не может! Нет, лучше идти сзади и воображать, что это и впрямь она, и любоваться ее затылком,

и замирать от изумления, и быть счастливым хотя бы в эти минуты, эти короткие минуты здесь, на набережной Мойки в этот серый, безветренный, теплый, притихший ноябрьский день! Нет, лучше так!

Женщина идет не оглядываясь, не поворачивая головы. Руки спрятаны в муфту. Локти прижаты к бокам. Из-под края пальто по очереди показываются каблучки ее черных туфель: левый, правый, левый, снова правый. Каблучки стучат по граниту тротуара. Вот она слегка замедляет шаг и обходит оставленную собакой коричневую кучку. Вот снова идет быстрее. Она, несомненно, заметила меня. Она, разумеется, чувствует меня у себя за спиной. Но идет спокойно и упорно не оборачивается. Видимо, ее не тревожит, что я ее преследую, видимо, ей это даже нравится, видимо, она не намерена прерывать нашу совместную прогулку по набережной. Но сколько же может длиться эта сладкая мука? Сию минуту догоню, дотронусь до нее, и тогда она оглянется!

Женщина сворачивает в переулок и скрывается за углом. Поспешно поворачиваю следом за ней. Ищу ее глазами, но ее нет.

Где же она? Куда она делась?

Замечаю крошечный бакалейный магазинчик в подвальном этаже — его вывеска у самого асфальта. Подбегаю. Подошвы мои шлепают по ступеням. Дверь на тугой пружине с грохотом захлопывается за мною. Магазин почти пуст. В его глубине спиною ко мне стоит моя незнакомка и разглядывает какие-то пакеты на полке. Тихонько проскальзываю мимо кассирши (магазин самообслуживания). Не торопясь, делая заинтересованный вид и исподтишка поглядывая на свою жертву, иду вдоль полок и стоящих на полу пластмассовых ящиков с не слишком разнообразной бакалеей.

Незнакомка подходит к кассирше, показывает ей какой-то небольшой пакетик, вынимает из муфты деньги, расплачивается. И опять лица ее не видно, черт побери! И опять она исчезает!

Хватаю с полки плитку шоколада, пробегаю мимо кассирши, на ходу швыряю ей трешку, выскакиваю на улицу. У ближайшей подворотни мелькнуло что-то черное с коричневым. Кидаюсь туда. Оказываюсь в длинном, совершенно пустом, очень чистом и каком-то совсем нежилом дворе. В дальнем его углу виднеется арка

проезда. В ней — силуэт тонкой женской фигуры. Бегу к арке, но фигуры уже нет. Выбегаю из-под арки. Предо мною второй двор. Он грязен. Он завален старыми почерневшими досками, заставлен ржавыми железными бочками, засыпан мусором, который вывалился из опрокинутого мусорного бака.

Пробираясь между бочками, моя беглянка торопится к следующему проезду и пропадает в нем. Взмокший от быстрой ходьбы, недоумения, надежды и нетерпения, врываюсь в следующий двор. Он широкий, светлый. Посередине его — скверик. Кустики. Тонкие, недавно посаженные деревца. Голубые (голубые!) недавно покрашенные скамейки. Дети, похожие на гномов, возятся в песке. Но где же она? Где?

На противоположной стороне двора в стене зияет отверстие. Это не проезд, а скорее проход, полутемный неширокий коридор. В конце коридора тусклый свет. Вхожу в коридор, иду по нему. Вот он кончается. Предо мною кирпичный, совершенно глухой, без единого окошка брандмауэр. Он уходит куда-то вверх. По бокам такие же глухие стены. Подымаю голову и вижу узкий бесцветный прямоугольник пасмурного неба. Откуда-то издалека доносится уличный шум. В углу двора-колодца стоит старая, рыжая от ржавчины железная кровать с шарами на спинках и со вспоротым грязным матрацем. Из чрева матраца торчат пружины. Рядом у стены стоит картина в перекосившейся самодельной раме. Она написана маслом. Краска кое-где отвалилась. Изображены репинские запорожцы. Издевка? Хулиганство? Нет, конечно. Просто донельзя неумелая копия. Но запорожцев все же можно узнать. И они все же хохочут, им все же весело. Под кроватью стоит эмалированный чайник с погнутым горлышком и без крышки. Тут же лежит продавленный резиновый детский мячик. На стене большие черные кривые буквы: ЗДЕСЬ Я ЦЕЛОВАЛСЯ С ЛЮДКОЙ. У кровати, по-прежнему спиной ко мне, стоит женщина в длинном пальто с собольим мехом. Подхожу к ней, беру ее за плечи и поворачиваю. Она спокойно глядит на меня, не вынимая рук из собольей муфты.

Возвращаюсь на улицу. Иду дальше.

Мимо проезжает троллейбус. Из его полуоткрытой двери торчит человек. Ему очень неудобно. Он еле

держится, судорожно вцепившись в поручень одной рукой. В другой руке — небольшой портативный магнитофон. Человек может упасть и разбиться или угодить под заднее колесо троллейбуса. Человеку угрожает смертельная опасность, он рискует жизнью. Наверное, он страшно торопится, наверное, он не может опоздать, наверное, его опоздание равносильно гибели, равносильно полнейшему жизненному краху. Решается его судьба — все повисло на волоске. И сам человек повис в двери троллейбуса. Сочувственно провожаю взглядом его спину в светло-сером пальто и его изящный, блестящий, кажется, японский магнитофон.

Два огромных, плечистых, мускулистых атланта, скорчившись от напряжения, держат на плечах тяжеленный, толстый, высокий — на четыре этажа — эркер. Судя по выражению их лиц, держат они его давно. Они чертовски устали, они теряют последние силы. И никто не хочет им помочь, никто не собирается их сменить. А если они плюнут и уйдут, эркер тут же рухнет и увлечет за собой дом, который тоже рухнет, увлекая за собой соседние дома. Словом, если атланты не выдержат, случится ужасающая катастрофа. Но никто, никто не желает им помочь. И я — тоже. Постояв около них, иду дальше. Дойдя до перекрестка, оглядываюсь: дом еще стоит, атланты не уходят. Кто оценит их подвиг?

Сквер. На одной из скамеек парочка. Сидят рядышком. Он пытается поцеловать ее в губы, но она стесняется, она отворачивает голову, и ему приходится целовать ее в щеку. А ей, конечно, тоже хочется, чтобы он поцеловал ее в губы, но она скромная, стыдливая, хорошо воспитанная девушка, и ей приходится подставлять ему щеку. Он упорствует, берет ее за подбородок и пытается повернуть к себе ее лицо. А она сопротивляется, она отталкивает его руку, она отклоняет голову, но при этом не отодвигается от него, не отстраняется. Он, видимо обидевшись, убирает руку, оставляет ее в покое и сидит, глядя в сторону. Она, видимо испугавшись, заглядывает ему в глаза и что-то ему говорит. Тут он снова поворачивается к ней, хватает ее голову обеими руками и впивается ртом в ее губы. Она уже не сопротивляется.

С витрины кинотеатра на меня смотрит самодовольный красавчик с прилизанными, прилипшими к черепу

волосами и с пижонской трубкой в углу рта. Он похож на Одинцова. Если бы Одинцов вышел в отставку и сбрил свои гвардейские усы, он вполне сошел бы за киноактера в амплуа супермена и счастливого любовника. Но подполковник Одинцов никогда не подаст в отставку, во всяком случае по доброй воле, и ни за что на свете не сбреет свои роскошные усы, разве что на пари. Нет, даже на пари он не лишится усов! Но что ждет его теперь, после гибели Ксении, что с ним теперь станет? И быть может, он не случайно, а нарочно тогда промазал? Быть может, он только припугнуть меня хотел? А я разозлился и прострелил ему колено. И ведь я действительно оскорбил его офицерскую честь, стал виновником его несчастья.

Детская коляска у входа в магазин. В коляске возлежит щекастый, румяный, тепло укутанный младенец. У него скорбное выражение лица. Кажется, он недоволен тем, что появился на свет. Кажется, бытие ему не по душе и земной мир ему не по вкусу. Привередливый младенец. Все живут с удовольствием, все радуются жизни, все цепляются за жизнь изо всех сил, а ему, видите ли, не нравится! Только что родился и уже во всем разочарован, и уже мрачен, и все ему не так. Я ему подмигиваю, и вдруг он начинает улыбаться, и смотрит на меня приветливо, и шевелится под своими бесчисленными одеждами, и вроде бы хочет мне что-то сказать, да не может — он еще очень мал, очень.

Человек валяется под машиной. Ноги его торчат наружу. Стою и смотрю на эти ноги. Они неподвижны. Может быть, человек мертв? Может быть, его переехала машина? Переехала и встала над ним, распростершимся на асфальте, раздавленным, расплющенным, изуродованным, а все думают, что он сам улегся по какой-то надобности. Стою и боюсь нагнуться. Собравшись с духом, все же нагибаюсь и заглядываю под брюхо машины. Слава богу, человек жив! Он отвинчивает ключом какую-то гайку. У него очень сердитое лицо. Он недоволен машиной, потому что она испортилась.

Магазин грампластинок. В отделе эстрадной музыки толпится народ. Ксюшин жанр процветает. Его популярность разрослась неимоверно и растет далее. Сотни, тысячи, десятки тысяч певцов и певиц, притоптывая, приплясывая, подпрыгивая, извиваясь всем телом, бегая по эстраде и даже делая акробатические прыжки

с микрофоном в руках (бедная Ксюша, тебе приходилось петь без микрофона), выпевают, или выговаривают, или вышептывают, или выкрикивают разнообразные, а точнее — весьма однообразные и вполне доходчивые по содержанию куплеты. Частенько они пляшут не в одиночку, а группами по пять, шесть и более человек. Пляшут и вопят, и стонут, и рычат, и визжат, и завывают, и при этом лихо играют на всевозможных музыкальных инструментах (о, как сдержанно, почти застенчиво держалась ты, Ксюша, перед публикой!). А как они одеты! Их наряды фантастичны и не поддаются описанию (о, как благородно и, в сущности, просто одевалась ты, Ксюша!). А их поклонники в гигантских многотысячных залах (такие залы тебе, Ксюша, и не снились!) тоже вопят, стонут и при этом безжалостно ломают мебель (представь себе, Ксюша, это модно и поныне). Ах, Ксюша, милая Ксюша! Зачем сбивал я тебя с толку, зачем морочил тебе голову, зачем уговаривал бросить эстраду? Кто ходит сейчас в оперу? Разве что иностранцы, которые упиваются русской экзотикой в «Борисе Годунове» и «Граде Китеже». У тебя был дар предвидения, ты, наверное, чувствовала, как будут развиваться события. И ведь с тебя-то все и началось. Ты была первой богиней на Олимпе неотразимого «легкого жанра». Все эти худосочные, бледнолицые интеллигенты, все эти нудные эстеты, все эти надменные снобы, называвшие твое искусство вульгарным, были смехотворно недальновидны. Ты открывала новую эпоху мировой цивилизации — эпоху массовой культуры. О, как незаслуженно ты забыта! В отделе симфонической и оперной музыки совсем пусто. Очень юная, очень хорошенькая и очень ухоженная продавщица, скучая, подчищает густо-красные длинные ноготки маленькой маникюрной пилочкой. Выхожу из магазина и следую дальше.

Аптека. У входа обычная вывеска.

Городское аптечное управление
АПТЕКА № 31
работает с 9 до 20 часов.
Выходной — воскресенье

А повыше, над входом, сквозь тонкий слой краски проступают крупные буквы:

АПТЕКА
ПРОФ. ДРЕЕРЪ И СЫНОВЬЯ

Останавливаюсь. Смотрю на буквы. Выжидаю. Проходит несколько минут. Буквы не становятся ярче, увы, не становятся ярче. Проходит еще минут десять — буквы все те же. И я иду дальше.

Огромный дом с бесчисленными дворами. Все они чистые, опрятные, тщательно асфальтированные и пустые. Людей нигде не видно. Полутемными туннелями проездов перехожу из одного двора в другой. Они не кончаются. Их несметное количество. Я попал в лабиринт. Мне не выбраться из него, не выбраться! В следующем дворе меня поджидает чудовище с головой быка! Оно сожрет меня! Я обречен! Надо было захватить с собой катушку ниток. Надо всегда, всегда носить в кармане катушку ниток! Какое непростительное легкомыслие, какая бравада — хожу по городу, не запасшись катушкой ниток! Из дверей выходит женщина с сумкой для провизии. Бросаюсь к ней.

— Спасите! Я заблудился в лабиринте ваших дворов!

— Идите за мной,— говорит женщина.— И не отставайте! Минотавр сейчас спит, но все равно не отставайте.

Надо мной занесены копыта бронзового коня. У него на спине восседает некто величественный, простерший руку на северо-запад. Гляжу снизу вверх на угрожающе вознесшиеся копыта, на бронзовый неподвижный лик седока. Еще мгновение, и я брошусь наутек, как герой известной поэмы, сочиненной известным стихотворцем, и буду долго-долго бежать по городу, то и дело оглядываясь — не скачет ли за мною кто-нибудь? Но я мужаюсь, но я не подаю виду, что робею, но я не пускаюсь все же в бегство. К монументу подъезжает несколько легковых машин, украшенных лентами и цветами. Из первой машины выходят жених и невеста. Они молоды. У них счастливый вид. Жених в черном, невеста в белом. В руках у невесты букет белых хризантем. Ее длинная белая фата волочится по тротуару. Из других машин вылезают остальные участники свадебного ритуала. Они выстраиваются в затылок друг другу. Процессия приближается к памятнику. Невеста наклоняется и кладет хризантемы на каменный выступ пьедестала. Появляется шустрый, верткий фотограф. Он бегает вокруг, приседает, щелкает аппаратом. Все возвращаются к машинам и усаживаются в них. Машины

отъезжают. Из дверцы первой машины торчит кончик фаты. Он трепещет на ветру.

По каналу мчится катер, распарывая темную воду, в которой плавают опавшие листья. Две высокие волны ударяют в гранитные берега, перехлестывают через парапет и перебрасывают через него листья. Катер исчезает, но вода в канале еще долго плещется и бьется о гранит, а легкая лодчонка, привязанная цепью к чугунному кольцу, еще долго раскачивается, долго пляшет, опуская то нос, то корму и поводя крутыми боками.

Два гранитных льва лежат у подъезда. Головы их опущены на скрещенные лапы, глаза закрыты. Они спят. Подбегают двое мальчишек, взбираются на спины львов, бьют их пятками в бока, хлопают их ладонями по голове, хохочут. Львы не просыпаются. Львы и ухом не ведут. Они спят очень крепко. Впрочем, у одного кисточка на хвосте чуть-чуть подрагивает. Или мне чудится? Мальчишки слезают со львов и убегают. Иду дальше. Оглядываюсь. Тот лев, у которого шевелился хвост, встает на передние лапы, широко разевает пасть и потягивается, как кошка. После он снова ложится, складывает лапы крест-накрест, опускает голову и опять засыпает.

Иду дальше. Прихожу на вокзал. Стою на перроне и наблюдаю, как провожающие прощаются с отъезжающими, как они их обнимают, целуют и похлопывают по плечам, как они идут рядом с уже движущимися вагонами и долго машут руками, шапками, платками. Потом я слежу, как встречающие приветствуют приехавших, как они подносят им цветы, радостно улыбаются и тоже обнимают, и тоже целуют, и тоже хлопают по плечам.

Беру билет, сажусь в электричку и еду чуть больше часа. Покидаю вагон, прохожу мимо невзрачных станционных киосков (все они почему-то голубые — Ксюша захлопала бы в ладоши), миную небольшой чахлый скверик, иду дальше и вскоре оказываюсь на берегу не очень широкой речки, струящейся между высокими, живописными, зелеными берегами. Несмотря на ноябрь, трава не пожухла. Чудесная стоит осень.

На камне у воды сидит мальчишка с удочкой. Подхожу.

— Вредно сидеть на холодном камне, дружище! Простудишься!

— Да ничего!

— А клюет?
— Клюет помаленьку.
— А далеко ли течет эта речка?
— Нет, недалеко. Еще километра полтора, и конец.
— А что же там, в конце?
— А вот увидите!

ЭПИЛОГ

оя смерть была загадочной и произвела сильное впечатление на всех, кто меня знал.

В декабре 1984 года я внезапно исчез. Через две недели мое тело было найдено на С...ком кладбище, в часовне над могилой Ксении Брянской. Я лежал в странной позе, скорчившись и обхватив голову руками. На лице еще можно было различить подобие улыбки. Вход в часовню, как известно, давно уже замурован, а окна забраны массивными железными решетками. Каким образом мне удалось пробраться внутрь, осталось тайной.

О том, что стряслось со мною в предпоследний год моей жизни, знал только А. Известие о моей кончине чрезвычайно взволновало и опечалило его, хотя он, наверное, предчувствовал этот трагический финал. На похороны он приехал с букетом красных роз, раздобытых с большим трудом. В букете было восемнадцать цветков. Девять роз он положил на свежий холмик из смерзшейся, комковатой глины, а остальные продолжал держать в руке. Постояв у могилы, он тихонько ушел и тотчас же направился на С...кое кладбище. Он торопился, не зная почему.

Почти бегом он обогнул церковь и бросился по протоптанной в снегу тропинке к знакомой ему часовне. Но... часовни не было. Оцепенев от ужаса, он стоял перед некрашеным дощатым забором, сжимая цветы в закоченевших пальцах. К нему подошла немолодая женщина в пуховом платке.

— Тут авария произошла,— сказала она.— Земля

провалилась. Под кладбищем-то метро проходит, вот земля и провалилась. Даже покойникам покою нет. О господи!

В ящике моего письменного стола была найдена фотография Ксюши с краткой дарственной надписью:

«Нет, ты не сможешь позабыть меня!

20 ноября 1908 г.».

И еще в ящике лежала старинная золотая булавка с крупным, великолепно ограненным алмазом.

Январь 1983— сентябрь 1984

Алексеев Г.

А47 Зеленые берега: Роман.— Л.: Сов. писатель, 1990.— 336 с.

ISBN 5-265-01036-X

Роман «Зеленые берега» — первое и единственное прозаическое произведение рано ушедшего из жизни ленинградского поэта. Это роман необычный по стилистике, сюжету, реальность в нем перемежается с фантастикой, события происходят в Петербурге — Ленинграде то в наши дни, то в начале века.

Герой романа — художник, поэт, мечтатель, жаждущий любви, счастья и красоты. Случайная встреча в поздней электричке с поразившей его женщиной становится источником для рождения фантастической легенды, странным образом реализующейся в самой жизни героя.

А $\frac{4702010201-049}{083(02)-90}$ 5—90 **ББК84.Р7**

Геннадий Иванович Алексеев

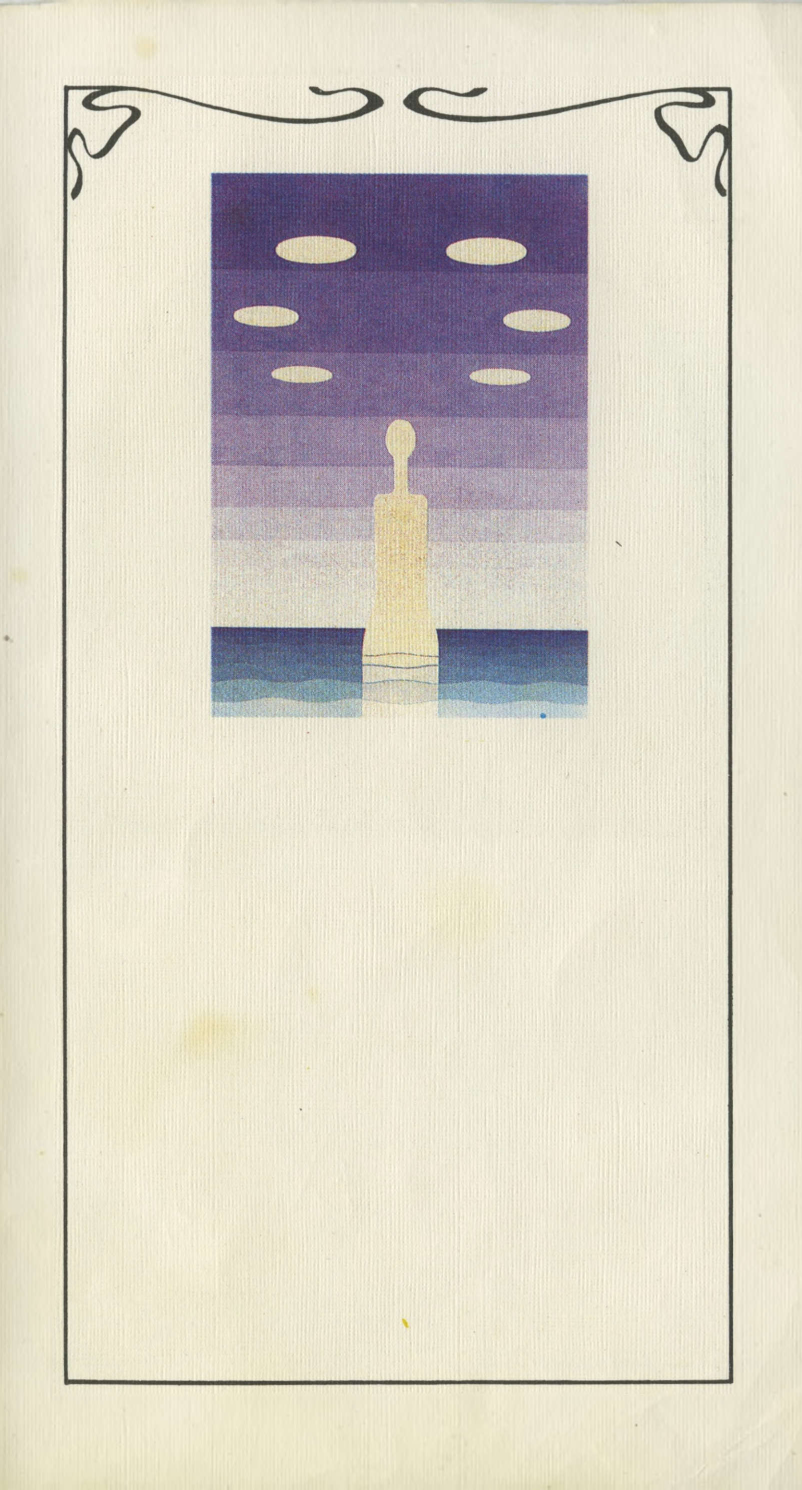
ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕГА

Худож. редактор *Б. А. Комаров*
Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

ИБ № 7550

Сдано в набор 3.10.89. Подписано к печати 12.03.90. Формат 84 × 108[1]/32. Бумага кн. для мас. изд. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,50. Тираж 30 000 экз. Заказ № 339. Цена 1 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136 , Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



1 р. 20 к.